

Соединенных Штатах тоже почти все дети успешно проходят вакцинацию. Так что и Вашему ребенку стоило бы ее пройти.

Теперь что касается вопроса, можно ли применять вакцину, произведенную вне пределов Эрец-Исраэль, или же лучше использовать израильскую.

Ясно, что все зависит от надежности фармацевтической продукции, – в Соединенных Штатах много надежных компаний. Уверен, то же можно сказать и об Эрец-Исраэль.

Поэтому примите окончательное решение после того, как разузнаете обо всех деталях, и найдите вакцину самого лучшего качества.

Кстати, вакцину эту используют в Соединенных Штатах в том числе и те, кто принадлежит к наиболее Б-гобоязненному и благочестивому сегменту общины. Это к тому, что по поводу кошерности вакцины вопросов не возникает.

О прививках от болезней

<...> Вы спрашиваете, разрешено ли врачу давать лекарства и лечить человека, когда он уже болен, или он вправе использовать лекарства только для предотвращения болезни, то есть делать прививки против болезней и применять другие средства превентивной медицины.

Превентивную медицину регулярно практиковали выдающиеся еврейские авторитеты. См., например, у Рамбама: «Ни одной из болезней не наведу на тебя, ибо Я – Г-сподь, целитель твой» (Шмот, 15:26), – то есть превентивная медицина – вполне законный род лечения».

<...> Вы также спрашиваете, можно ли использовать лекарства в виде инъекций. Кажется, Вас беспокоит, что в таких лекарствах могут содержаться некошерные ингредиенты.

Так вот, Б-гобоязненные и благочестивые люди регулярно используют такие инъекции без малейших опасений. Ведь можно получить пользу от веществ, запрещенных в пищу, но разрешенных для получения удовольствия.

<...> Относительно Вашего вопроса о прививках против болезней. Если надежность вакцины точно установлена, можно без колебаний пользоваться вакцинацией. Более того, вакцинацию нужно только приветствовать.



Об отправке лекарств за границу

<...> Вы пишете, что в письме из России Вас просят прислать лекарства, но эти лекарства нельзя принимать, если пациента предварительно не осмотрел врач.

Подобных случаев было много: обычно вместе с лекарством посылают инструкцию, объясняющую, как его принимать.

Такие инструкции знакомый врач может получить от фабрики-производителя, где изготавливают это лекарство, прочитать в медицинских журналах и т. д. Вы наверняка знаете много местных врачей; через них можно получить необходимую информацию и отправить инструкцию с лекарством.

Кроме того, в Россию поступают многие медицинские журналы. Если вместе с лекарством Вы отправите ссылку на журнал с описанием лекарства, то врач в России прочитает его. Но конечно, еще лучше послать журнал...

Об использовании гидрокортизона

<...> Вы пишете, что Ваша жена, возможно, будет принимать новое лекарство митикортин – и Вы сомневаетесь в этом лекарстве. По-моему, Вам следовало бы узнать мнение врача об использовании популярного лекарства гидрокортизон, которое относится к семейству кортизонов, но превосходит другие средства этого ряда. При использовании кортизона у Вас останется гораздо меньше сомнений; в подобных случаях его употребляли много месяцев, – хотя я не знаю, имеет ли все сказанное какое-то отношение к здоровью Вашей жены и ее лечению.

Прежде чем прийти к решению, следует ли продолжать прием новых лекарств, учитывайте результаты лечения, достигнутые в первые дни.

О побочных эффектах при приеме лекарств

Я только что получил Ваше письмо о здоровье Вашей жены, крайне эмоциональное и взволнованное.

Хотя Ваше волнение вполне понятно, оно немного удивляет меня: трудности с речью и т. д., нередко возникающие при приеме больным лекарств, – это побочный и временный эффект, который вскоре исчезает. Поэтому, когда доза лекарств уменьшится, а потом Ваша жена и вовсе перестанет принимать их, проблемы с речью исчезнут. Соответственно, у Вас нет оснований для беспокойства.

Ясно, что врачи учитывают побочные эффекты воздействия лекарств, но обычно позитивные результаты преобладают над негативными. Мало того, не всегда возможно точно определить воздействие тех или иных лекарств на больного – особенно таких препаратов, к которым он не привык.

Но все это лишь прилагается к главному: каждый человек – мир сам по себе, и общие принципы лечения и применения лекарств, как гласит известное выражение, «отвечают большей части случаев».

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР – ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ааде Ёааид

Воспитание детей – одна из главных задач для верующего еврея. Недаром об этом говорится в нашей молитве «Шма Исраэль»: «Примите эти мои слова сердцем вашим и душою вашей <...> и научите им сыновей ваших, чтобы все вы произносили их, сидя в доме, находясь в дороге, ложась и вставая».

Из самого этого текста ясно, что обучение и воспитание должно быть непрерывным. Ребенок встал утром – родители должны с ним заниматься. Вечером ложитесь спать – все равно надо позаниматься с ребенком, хотя и он устал, и вы тоже. Гуляете с ребенком – и этот момент надо использовать для воспитания, хотя вроде бы прогулка – время отдыха.

Но в «Шма Исраэль» заложена еще одна идея, может быть даже более важная: воспитание будет иметь нужный результат, только если основано на личном примере. В самом начале молитвы говорится: «Люби Б-га своего всем сердцем и душой, и пусть эти слова будут в сердце твоём, и повторяй их детям своим, и произноси их, сидя в доме, находясь в дороге, ложась и вставая». То есть ты должен сначала сам возлюбить Б-га и только тогда сможешь научить своего ребенка любить Б-га. Ты должен сам выполнять заповеди, и только тогда сможешь воспитать детей в духе Торы и заповедей. Если дети не видят, что ты сам делаешь то, что требуешь от них, все твои увещания и приказания не будут ими восприняты.

Есть история о цадики, который каждый день принимал десятки хасидов и разъяснял им самые разные вопросы. Как-то раз пришел к нему один еврей, который был убежден, что его вопрос – самый важный и самый срочный, не терпящий отлагательств. Увидев несколько десятков человек, ожидающих в приемной, он решил не ждать и ворвался кабинет сразу же, как вышел очередной посетитель. Цадику это не понравилось, он потребовал, чтобы посетитель вышел и дождался своей очереди. «Но у меня очень важное и срочное дело!» – взмолился еврей. «Послушай, – сказал ему цадик, – я твой учитель и сейчас преподам тебе важный урок: не всегда человек получает то, что ему хочется». Понурившись, еврей направился к выходу. Но у самых дверей кабинета цадик его остановил: «Знаешь, у меня есть еще один урок для тебя: я тоже не всегда получаю то, что мне хочется, – так что оставайся, разберем твой срочный вопрос...»

Эта история содержит урок не только для того хасида, но и для всех нас. Особенно для родителей, сталкивающихся с проблемами в воспитании детей. Ведь на самом деле цадик для всех его хасидов был как отец, а сами хасиды считали себя его духовными детьми.

Сперва цадик демонстрирует жесткий подход. Ты нарушил правила – ты ничего не получишь. Это типичная ситуация в отношениях между родителями и ребенком. Ребенок, если он чего-нибудь хочет, часто пытается получить желаемое «явочным порядком». Это естественно: ведь он с младенчества знает, что родители удовлетворяют его потребности. Долг родителей – поставить преграду, объяснить, что в жизни существуют правила, которые надо соблюдать. Если ты их не соблюдаешь, ты ничего не

получишь. Но даже если ты их соблюдаешь, ты вовсе не обязательно получишь все, чего хочешь.

Многие родители идут у детей на поводу. Дети маленькие, объясняют они, их жалко, мы же их так любим! На самом деле не знаю, чего здесь больше – жалости или просто желания, чтобы ребенок оставил родителей в покое. Вот он чего-то хочет, капризничает, плачет – легче дать ему, чтобы отвязался... Это не любовь к ребенку, а любовь к себе. Такие родители просто не думают о том, что вскоре у ребенка начнется самостоятельная жизнь, и с некоторыми привычками его в этой жизни будут ждать одни разочарования. Лучше с детства убедить маленького человека, что не все его желания будут выполняться, и к этому нужно относиться нормально.

Тогда возникает вопрос: почему цадик в конце концов оставил того еврея в своем кабинете? Неужели он пошел на попятный? Конечно, нет: здесь преподан совсем другой урок воспитания – именно тот урок, о котором идет речь в «Шма Исраэль»!

Цадик смоделировал еще одну классическую ситуацию во взаимоотношениях учителя и ученика, отца и сына. Да, родители должны ставить ограничения детям, чтобы те жили правильно и не требовали для себя каких-то особых привилегий. Но ограничения будут действенными только в том случае, если родители распространяют их на самих себя. Отец обязан требовать от сына, чтобы тот соблюдал правила, – но сын его слушает, только если сам отец эти правила соблюдает! Вот он, главный принцип воспитания – на личном примере.

Вроде бы это знают все родители, но обычно ограничиваются несколькими достаточно плоскими увещаниями: «Я работаю – значит, ты должен хорошо учиться, потому что учение – твоя работа», «я делаю уборку в доме – значит, ты должен держать в порядке свои игрушки и не разбрасывать их где придется»... По существу, взрослые требуют, чтобы ребенок их слушался, на том только основании, что на них лежат определенные обязанности.

Это необходимая часть воспитания личным примером – но далеко не достаточная. На самом деле личный пример – это требовать от детей только то, что требуешь от себя самого. Если ставишь ребенку ограничения – должен и сам подчиняться этим ограничениям. Сказать ему: «Я работаю – значит, ты должен хорошо учиться» вовсе не достаточно, чтобы ребенок понял, почему он действительно должен хорошо учиться. Если родители хотят, чтобы их ребенок хорошо учился, – они сами должны все время учиться, читать, набираться знаний.

Точно так же с нарушением запретов. Большинство родителей требуют от детей, чтобы те не смотрели сериалы и всякие пошлые программы по телевизору. И это правильно: с телеэкрана несетя масса информации, от которой любые нормальные родители должны своих детей ограждать. Но если мы хотим, чтобы дети нас послушались, необходимо начать с себя, самим не смотреть подобные программы.

Воспитание словом всегда будет только производным от воспитания делом. А воспитание делом – это воспитание, начинающееся с себя: с требовательности к себе, а если нужно, и с самоограничения.

ТУ БИ-ШВАТ – НЕ ТОЛЬКО ЛЕСОПОСАДКИ

Ī ādēī ā Ēādī Īāā

Пятнадцатый день еврейского месяца шват, знаменующего конец зимы и начало весны, – особый. В Мишне он называется Рош а-Шана ле-иланот, Новый год деревьев (Рош а-Шана, 1:1). В это время корни начинают снабжать деревья новыми соками, наступает пора цветения, затем появляется завязь, и, наконец, развивается плод. Фрукты, собранные после этой даты, считаются плодами нового урожая. В соответствии с еврейским законодательством, от них следовало отделять десятину (маасер) – десятую часть урожая, которую крестьянин отдавал бедным или левитам.



В наши дни Ту би-шват, как называют этот день на иврите, ассоциируется, прежде всего, с лесопосадками в Земле Израиля, в которых ежегодно участвуют тысячи людей. Несомненно, этот обычай, возникший в 1884 году, в начале массовой еврейской колонизации Эрец-Исраэль (по еврейским меркам – «вчера»), в полной мере соответствует букве и духу еврейской традиции. Как сказано в мидраше Танхума (Кдошим): «“Когда придете в эту страну – насадите в ней плодовых деревьев” (Ваикра, 19:23). Сказал Всевышний сынам народа Израиля: Хотя вы обнаружите, что страна эта полна всевозможных благ, не говорите, что раз так, мы можем спокойно сидеть и не заниматься посадкой деревьев. Вы найдете в ней деревья, которые другие посадили для вас, – так и вы сажайте деревья для ваших потомков. Пусть никто не говорит: Я уже стар – сколько лет я еще проживу на свете? Зачем мне трудиться для других, если, может быть, уже завтра я умру... Нет, пусть никто, даже старик, не уклоняется от посадки деревьев: сколько ни нашел, пусть прибавит к ним еще».

Однако сажать деревья в месяце шват – то есть посреди зимы – в странах диаспоры, как правило, невозможно. Так что в этой статье мы поговорим о других традициях этого праздника. Хотя им можно следовать, не выходя из дома, они позволяют почувствовать дух праздника, где бы человек ни находился.

Вполне понятно, почему для Нового года деревьев был выбран именно зимний месяц шват – в Израиле в это время выпадали самые обильные дожди, поэтому все деревья вскоре покрывались свежей зеленью. Правда, по поводу точной даты праздника возник спор: ученики Шама и Гилеля разошлись в вопросе о том, на какую дату выпадает Новый год деревьев. Первые предлагали 1 швата, вторые – 15 швата. Как это обычно случалось, последователи Гилеля одержали верх в этом споре.

Заповедь, предписывающую отделять десятину от фруктов, исполняют только земледельцы Земли Израиля. С течением времени все больше евреев переселялось в страны с холодным, суровым климатом, и там, при виде голых, безжизненных деревьев, зачастую покрытых снегом, было трудно ощутить праздничную атмосферу. Поэтому неудивительно, что, когда почти весь еврейский народ оказался в диаспоре, о празднике Ту би-шват забыли на много столетий. Только в XVI веке о нем вспомнили цфатские каббалисты, и для них этот день стал праздником, напоминающим о мистической связи еврейского народа с Землей Израиля. В этих же кругах возник обычай устраивать в этот день специальную праздничную трапезу – Седер Ту би-шват, по аналогии с пасхальным седером.

Одно из первых описаний такого седера мы находим в книге «Хемдат а-ямим»: «В ночь на Ту би-шват собираются в доме учения, в доме одного из ученых или уважаемых людей общины... Горят свечи, столы накрыты белыми скатертями и украшены цветами, растениями, ветками мирты, а также пряностями и благовониями. А на них – кувшины красного и белого вина. После чтения Торы наливают первый из четырех бокалов – положено начинать с белого вина. Участникам седера подают изделия из пшеницы (пироги), оливки, финики и виноград, произносят благословление над фруктами и вином и наслаждаются ими... Наливают второй из четырех бокалов – много белого и немного красного вина. С каждым разом вино все более краснеет, до тех пор, пока в четвертом бокале оно не становится абсолютно красным. На стол подают финики, гранаты, этроги и яблоки... Наливают третий бокал – наполовину белое и красное вино. На стол подают орехи, миндаль, плоды рожкового дерева и груши. Участники седера учат Тору, а потом поднимают третий бокал и пьют за хороший, благословенный и плодородный год. Наливают четвертый бокал – много красного и немного белого вина. На стол подают десерт, присутствующие поют и танцуют...»

Каждый элемент здесь не случаен. Пшеничные пироги, гранаты, оливки, финики и виноград напоминают о семи плодах, которыми, согласно Торе, славится Земля Израиля. Другие плоды, а также орехи символизируют различные духовные миры, существование которых постулируется лурианской каббалой. «Изучение Торы», о котором упомянул рав Натан, – это чтение отрывков из Танаха, Талмуда и Зоара о плодах земли Израиля и т. д.

В начале трапезы один из участников задавал вопрос: почему 15 швата мы празднуем Новый год деревьев? На это остальные хором отвечали: потому что, когда существовал Храм, евреи ежегодно приносили туда приношение от первых плодов каждого урожая – бикурим. Сегодня же, когда Храма нет, мы приносим вместо этого «приношение наших уст», благодаря Всевышнего за то, что Он создал множество различных фруктовых деревьев.

Каббалисты придавали огромное значение праздничной трапезе Ту би-швата. Как писал рав Элияу де-Видаш (Решит Хохма), каждый участник этой трапезы должен был чувствовать себя так, будто он пирует в райском саду перед лицом Самого Всевышнего. А по мнению рава Хаима Виталя, ученика и преемника Аризаля, Седер Ту

би-шват служит исправлением греха Адама и Хавы, вкусивших запретный плод и изгнанных за это из Ган Эдена.

Впрочем, думая о духовном, не забывали и о земном – во время Седера Ту би-шват произносили специальную молитву о плодоносящих деревьях:

Да будет воля Твоя, Г-сподь, Б-г наш и Б-г отцов наших, чтобы то, что мы едим эти плоды, благословляем за них Всевышнего и наслаждаемся ими, оказало чудесное воздействие в духовном мире и привлекло на деревья, рождающие эти плоды, изобилие блага и щедрые благословения свыше; чтобы деревья эти росли и цвели от начала года и до конца года для блага, благословения, счастливой жизни и мира.

Кроме того, во время трапезы звучало, пожалуй, одно из самых антиаскетических высказываний в еврейской традиции (Иерусалимский Талмуд, трактат Кидушин, 4:12): «В мире грядущем человеку предстоит дать ответ за каждый <разрешенный> плод, который видел его глаз и от которого он отказался».

В отличие от многих других обычаев цфатских каббалистов, Седер Ту би-шват не получил всеобщего распространения, так что праздничную трапезу «по всем правилам» устраивали в этот день очень немногие. Тем не менее по мере распространения луринской каббалы во многих общинах возникли праздничные обычаи, напоминающие о Земле Израиля и ее плодах.

В ашкеназских общинах 15 швата на стол подавали фрукты, причем особое предпочтение отдавали плодам, которыми славилась Земля Израиля. Правда, сделать это было непросто, поскольку Ту би-шват приходится на середину зимы – не самое фруктовое время в Восточной Европе. Поэтому нередко обходились сушеными плодами или же подавали на стол стручки рожкового дерева, многократно упоминавшегося в Писании и Талмуде (например, в легенде о пещере, где прятался Шимон бар Йохай, которому традиция приписывает авторство книги Зоар). Фруктовая трапеза сопровождалась чтением псалмов (104, 105), а также Песней восхождения (120–134).

В соответствии с обычаем Хабада, 15 швата надо постараться отведать какой-нибудь фрукт, который в этом году еще не ели, чтобы иметь возможность произнести благословение Шегехияну («Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной, Который дал нам жизнь, и поддерживал нас, и привел нас к этому дню»).

По преданию, именно в Ту би-шват в Земле Израиля завязываются этроги – цитрусовые плоды, необходимые для исполнения заповеди о «четырёх растениях» праздника Суккот. Поэтому существует хасидский обычай молиться в этот день о том, чтобы удостоиться чести приобрести на будущий год хороший, красивый этрог. Впервые об этом обычае упоминает галицийский каббалист ребе Цви-Элимелех Шапиро из Дивова (Пней Иссахар): «Мы получили от наших отцов традицию молиться в Ту би-шват, чтобы Б-г подготовил для нас кошерный и особенно прекрасный этрог, с которым мы могли бы исполнить заповедь – ибо этот день является временем, когда в деревьях поднимается живительный сок, а этрог, который мы должны получить, зависит от заслуг всех и каждого». В некоторых общинах также было принято есть 15 швата варенье, сваренное из этрогов.

Согласно одному из мнений, Ту би-шват – не просто «Новый год», но и «судный день» деревьев. В этот день Всевышний решает, каков будет урожай фруктов на будущий год. И поскольку «благодарность отменяет суровый приговор», в этот

день принято делать пожертвование. Некоторые стараются при этом дать сумму, кратную 91, в соответствии с гематрией слова «илан» («дерево»).

В заключение скажем несколько слов о молитве. На Ту би-шват не читают каких-либо специальных вставок или добавок. Однако, поскольку этому дню присуща некая праздничная атмосфера, это нашло отражение в литургии. В частности, во время утренней и дневной молитв предшествующего дня (14 швата) не читают таханун, не произносят молитвы об умерших.

ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2010 ТЕВЕТ 5770 – 1(213)

ТУ БИ-ШВАТ – НОВЫЙ ГОД ДЕРЕВЬЕВ

עֲצֵי הָאֲרָצָה

עֲלֵי אֲרָצֵנוּ – אֲדֹמָיִם.

Дварим, 20:19.

Что, в сущности, особенно замечательного в деревьях?

Скажем правду: обычное дерево в обычное время не вызывает у обычного человека особого восхищения. «Виновата» в этом человеческая натура: ей чужд интерес к привычному, не выходящему за рамки будничной рутины. Все, с чем соприкасается человек изо дня в день, теряет для него очарование. Все, что привычно, для человека «слишком просто», чтобы возбудить его любопытство.

Однако мы, евреи, люди отнюдь не «обычные» и вспоминаем о деревьях, наших верных друзьях, довольно часто. Например, каждый раз, собираясь съесть фрукт, мы произносим благословение: «Благословен... творящий плод дерева». Тем самым мы не просто вспоминаем о дереве, а устаиваем его чести принять вместе с нами участие в исполнении заповеди: поблагодарить Всевышнего за то, что Он создал плодовые деревья и снабдил нас такой прекрасной пищей, как фрукты. Наверное, само дерево тоже хотело бы вслух благословить своего Творца за свои плоды. Ведь известно из каббалы, что все создания по-своему славят Творца, только каждое – на своем языке. Но для нас дерево немо: мы не понимаем его язык, а оно не в состоянии сказать хоть что-нибудь на нашем языке. Однако дерево, без сомнений, радо тому благословию, которое мы произносим над его плодами, и в благодарность старается принести более обильный урожай.



НАШИ ДРУЗЬЯ – ДЕРЕВЬЯ

Что общего между человеком и деревом, если Тора приравнивает их друг к другу?

Прежде всего, заметим, что не только тогда, когда нам хочется съесть плод дерева, мы вспоминаем, откуда он взялся, где вырос. Есть в году особый день: пятнадцатый день месяца шват (сокращенно – Ту^[1] би-шват), Новый год, Рош а-Шана деревьев. То, что у деревьев, как и у людей, есть Рош а-Шана, еще более укрепляет их дружбу.

Так почему же все-таки Тора говорит, что «человек – это дерево»?

Даже чисто внешне дерево похоже на человека. Крона – это его голова, ствол – тело, ветви – руки, корни – ноги. Тело, как и человек, дышит (посредством листьев), внутри тела-ствола циркулируют соки, обеспечивающие его жизнь так же, как кровь в человеческом организме. Наконец, ствол защищен снаружи корой – так же, как наше тело кожей.

А чем человек похож на дерево?

Прежде всего, своей «кроной» – тем, что он обладает своей «коронай», то есть разумом, освещающим ему его путь. Человек, как и дерево, приносит благословенные «плоды»: заповеди, которые он исполняет, и добрые дела, которые он совершает в течение

всей своей жизни. У человека, как и у дерева, тоже есть «корни»: в его семье, в его роде, в его народе. Как и для дерева, для человека чрезвычайно важна атмосфера, в которой он живет, – его окружение, духовная среда. Корни еврея – в Б-жественной Торе, и так же, как дерево не может существовать без корней, еврей духовно гибнет, если, не дай Б-г, он оторван от Торы и заповедей.

«ОРГАНИЗМ» ДЕРЕВА

Каждый вид деревьев отличается как по внешнему виду, так и своим предназначением, и веществом, из которого состоит. Самая заметная часть, «краса дерева», – его крона образована ветвями и их зеленым одеянием – листьями. У каждого вида деревьев своя крона: определенной формы и величины. Есть деревья с круглой кроной, напоминающей по форме шар, есть с пирамидальной, есть с овальной. И уж нечего упоминать о том, что у каждого вида деревьев своя форма листьев: об этом знают все. Каждый, увидев пучок листьев, напоминающих иголки, скажет, что они наверняка с хвойного дерева – ели, сосны или кедра. И также очень легко отличить листья клена от листьев дуба, а их – от листьев осины.

Листья – это очень тонкие и сложные «аппараты»; их функция не сводится только к тому, чтобы обеспечивать дерево воздухом, нужным ему ничуть не меньше, чем человеку. Кроме того, листья улавливают солнечную энергию и преобразуют ее в жизненно необходимое дереву «питание».

Есть также исключения: деревья совершенно необычной формы. Как правило, родина этих деревьев – края с особым климатом: тропики, или, напротив, Крайний Север, или знойная пустыня. К таким деревьям причисляются различные кактусы с колючками вместо листьев; и они тоже деревья, причем некоторые из них, несмотря на свой грозный, прямо-таки угрожающий вид, приносят вкусные, сочные плоды.

В США, в штате Калифорния, растут уникальные деревья, достигающие в высоту 13 метров; их листья, напоминающие по форме язык, образуют огромные пучки.

В маленьком государстве Белиз в Центральной Америке сохранились древние деревья гуанакасте. Во всем мире известно, что у них исключительно твердая древесина.

Ствол дерева – «тело» – главная его часть. Поскольку ствол выдерживает весь груз ветвей, листьев и плодов, его материал должен быть очень твердым – как состав костей в теле человека. Но вместе с тем, подобно человеческому телу, в стволе дерева есть и более мягкие ткани – его «плоть», – и аналоги кровеносных сосудов: по одним из них поднимаются вверх, к ветвям, листьям и плодам, соки и растворы минералов, которые корни высасывают из почвы, по другим – наоборот, спускается вниз от листьев вырабатываемое ими особое «питание» и распространяется по всему «организму» дерева. Уже упоминалось, что ствол дерева покрыт корой – как человеческое тело «одето» в кожу. Кора также разнообразна и соответствует видам деревьев, которым служит защитой. Есть деревья с тонкой, как бумага, корой, а есть такие, чья кора достигает нескольких сантиметров в толщину.

Различаются виды деревьев и цветом коры. У одних белая кора, у других – коричневая, зеленоватая, серая... Кора вишни, самшита и некоторых других деревьев отличается исключительной гибкостью, а есть деревья с очень твердой и ломкой корой. Или, например, у эвкалипта кора не растет вместе с деревом, а по мере роста ствола

трескается и отваливается от него. А иные деревья имеют два вида коры: морщинистую на стволе и гладкую, даже скользкую, на ветвях.

ЛИСТЬЯ ВСЕГДА ХОТЯТ ПИТЬ

Корни растут гораздо быстрее, чем другие части дерева. Скрытые землей, они очень часто длиннее, чем ветви его кроны. Кроме того, что корни, как уже упоминалось, всасывают из земли воду и различные минералы, они служат для дерева чем-то вроде якоря, так крепко удерживая его на месте, что никаким ветрам не под силу повалить и унести его.

Между корнями и листьями дерева существует замечательное «сотрудничество»; его задача – обеспечить дерево всеми видами питания, необходимыми ему. Вода, которую корни всасывают из почвы, поступает ко всем частям дерева, в том числе к листьям – даже на самой вершине кроны. В организме человека функцию «насоса», втягивающего в себя кровь и затем распространяющего ее по всем частям тела, выполняет сердце. Именно благодаря его непрерывной работе поддерживается кровообращение. У дерева нет сердца, однако Творец снабдил его иным средством, выполняющим сходную функцию. Поскольку из листьев постоянно испаряется жидкость, содержащаяся внутри дерева, для ее восполнения листья вытягивают ее из ветвей, а через них – из ствола, а через него – из корней. Это настоящее чудо: ведь иногда листья находятся на очень большом расстоянии от корней! Можно сказать, что листья постоянно испытывают жажду и потому с силой тянут воду изнутри дерева к себе, вверх. Например, яблоня средних размеров нуждается в 18 литрах воды в час – что составляет 432 литра в сутки! А когда через листья жидкость, всосанная корнями из почвы, испаряется, все соли и минералы, содержащиеся в ней, остаются в дереве. При помощи особого вещества, хлорофилла, листья поглощают солнечную энергию и преобразуют ее в энергию химических связей органических соединений. Эти соединения образуются из солей и минералов, задержавшихся внутри дерева. Так что жизнь всего дерева зависит от листьев, пожалуй, не меньше, чем жизнь человеческого организма – от сердца.



ЧТО ВАЖНЕЕ ЧЕГО?

Прочитав это, читатель вправе задать вопрос: что важнее – крона дерева или его корни?

Очевидно, корни. Ведь, кажется, ясно, что, если дерево обладает развитой корневой системой, его существование надежно обеспечено, и со временем у него обязательно вырастет и красивая крона. Вообще, может ли жить дерево без корней или со слабыми корнями, неспособными обеспечить его необходимой ему водой?

Выше уже говорилось, что аналог кроны дерева у человека – разум, и его мы назвали «короной» человека. Однако корона, в сущности, лишь украшение. Для жизни человека она не так уж необходима. Помните сказку о голом короле? Он вышел на улицу, увенчанный, правда, своей королевской короной, однако совсем без одежды – и как смеялись над ним! Человек, прежде всего, нуждается в одежде, а уж потом – в украшениях. Так и в духовном плане: самое главное, чтобы человек был «одет» в исполненные им заповеди и совершенные им добрые дела; они-то и есть его «корни», основы основ его жизни. Древесные корни, можно сказать, «неразумны»: они знают себе трудятся, прилежно исполняя свою работу во мраке, в толще земли, без всякого шума, не выставляя себя напоказ. Однако именно они обеспечивают существование и жизнь дерева – и его ствола, и его кроны, и его листьев, и его плодов. Так что результат работы корней возникает далеко не сразу, лишь спустя какое-то время, и, наверное, тогда корни сами гордятся тем, что они создали.

Вот так же должен вести себя человек: ему очень неплохо поучиться у корней. И следует знать, что прежде всего – дело. Его работа – служить Всевышнему, исполняя заповеди Торы, изучая ее и совершая добрые дела ради других людей. Самый лучший способ исполнения заповедей и совершения добрых дел – творить их втихомолку, без всякого шума, не привлекая к себе внимания. То, что делается во имя Небес, не нуждается в рекламе и не может быть поводом для гордости. А результат этих дел – то, что они поднимаются высоко-высоко в Небеса и вызывают ответный поток Б-жественного света вниз, в этот мир, на всех людей и, в частности, на душу того, кто эти дела совершил.

В свете всего сказанного мы можем лучше и глубже понять слова великого таная (мудреца Мишны), рабби Эльазара, сына Азарьи: «Всякий, у которого проявления мудрости более многочисленны, чем деяния, – на что он похож? На дерево, у которого много ветвей, но мало корней: ветер подует и вырвет его с корнями и перевернет его кроной вниз. <...> Однако всякий, у которого деяния более многочисленны, нежели проявления его мудрости, – на что он похож? На дерево, у которого ветвей немного, зато корни – большие и многочисленные: так что пусть дуют на него все ветры в мире – не сдвинут его с места. О нем-то сказано: “И будет он словно дерево, посаженное у обилия вод, и к потоку пошлет свои корни; и не заметит, как придет зной, и лист его будет всегда свеж и зелен, а в год засухи не встревожится и не перестанет производить свой плод!” (Ирмеяу, 17:8)» (Мишна, Авот, 3:17).

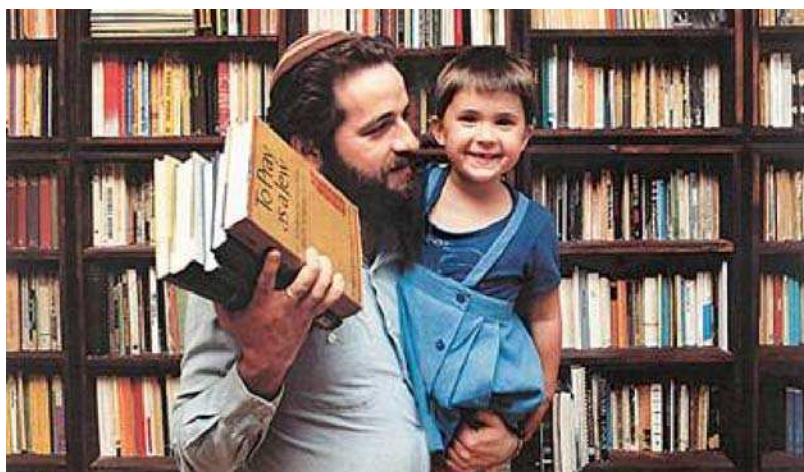
ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2010 ТЕВЕТ 5770 – 1(213)

СВОБОДА ВЫБОРА И СВОБОДА ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Óðè Ááððîíáè÷

Переводя лекцию рава Штейнзальца о свободе выбора, я все время невольно отвлекался, раздумывая о свободе выбора переводчика. В самом деле, есть ли у переводчика свобода выбора?

Итальянцы говорят: «traduttore – traditore» («переводчик – предатель»). Что подразумевает эта поговорка? То, что переводчик, сколько бы ни старался, не предаст подлинный смысл? И стало быть, он фактически лишен свободы выбора в этом плане. Или имеется в виду, что переводчик склонен к искажению смысла, то есть, располагая свободой выбора, пользуется ею во вред переводимому Слову?



Мудрецы Талмуда говорили иначе: «Тот, кто переводит стих Писания как он есть, – выдумщик, а тот, кто что-то добавляет, – совершает надругательство и осквернение» (Тосефта, Мегила, 3:21). Значит, как ни крути, ты либо лжец, либо богохульник. Выбирать приходится из двух зол. Либо – не переводить...

Задумаемся над различием двух ситуаций: 1) выбор: «переводить – не переводить»; 2) выбор подходящих слов переводчиком. Первая ситуация, казалось бы, лучше иллюстрирует проблематику, обычно называемую «свободой выбора». Но, думается, в сущности, вторая ближе к реальному положению дел, точнее отражает экзистенциальную дилемму, перед которой стоит человек, размышляющий о соотношении собственной свободы и Б-жественного предопределения: многое предопределено, но есть какой-то элемент свободы...

Скорее всего, размышляя об этом во время лекции, я совершал тем самым определенный выбор, подтверждающий итальянскую игру слов.

Итак, предлагаю заметки о свободе выбора...

Однажды, перечитывая трактат «Йома», я остановился на следующем фрагменте:

Придут на Б-жий суд бедняк, богач и развратник.

У бедняка спросят: «Почему не занимался Торой?»

Если скажет: «Беден я был, и забота о хлебе изнуряла меня», – ответят ему: «Не беднее Гилеля!»...

У богача спросят: «Почему не занимался Торой?»

Если скажет: «Богат я был, и забота об имуществе изнуряла меня», – ответят ему: «Не богаче рабби Эльазара»...

У развратника спросят: «Почему не занимался Торой?»

*Если скажет: «Прекрасен я был и изнурен страстями», –
ответят ему: «Не прекраснее Йосефа»...*

Так окажется Гилель обвинителем бедняков, рав Эльазар бен Харсом – богачей, Йосеф – развратников.

Что говорит по этому поводу рав Штейнзальц? Включив магнитофонную запись и тяжело потрудившись над переводом на русский язык, я получил следующее:

...Исполнение заповеди изучения Торы по минимуму не является тяжелой и трудновыполнимой задачей. На самом деле, достаточно прочесть утром или вечером небольшой фрагмент Торы, как, например, Шма. Вместе с тем изучение Торы в более широком объеме является сущностным приобщением к иудаизму. Ибо даже если человек в той или иной степени соблюдает заповеди, избегая совершать запрещенные действия и выполняя предписанные, – что было бы вполне достаточно для большинства религий, – он не считается исполнившим свой долг, с точки зрения иудаизма. Иудаизм требует от человека вовлеченности не только практической и душевной, но и интеллектуальной, а именно познания сущности иудаизма, определяемой наиболее общим образом как Тора. Это познание есть часть универсального требования иудаизма, которое не является эксклюзивным для отдельных индивидуумов или для определенной выделенной группы (будь то мудрецы или люди, облеченные религиозным саном), – это общее требование, предъявляемое каждому еврею. Очевидно, что поверхностное знакомство с источниками не может удовлетворить этому требованию, здесь взыскуется знание и понимание. Для этого необходимо заниматься Торой...

Ну, хорошо... А что же стоит за требованием «интеллектуальной вовлеченности»? Почему иудаизм требует от человека познания своей сущности? И в чем, собственно, состоит эта сущность?

О свободе выбора

Вполне очевидно, что в подтексте нашего фрагмента лежит предположение о том, что человек обладает свободой выбора. Об этом свидетельствует само понятие Б-жьего суда. Действительно, не обладая свободой выбора, человек не несет ответственности за свои поступки, и судить его не за что. Несмотря на простоту приведенного рассуждения, вопрос о свободе выбора человека в связи с вопросом о Провидении представляет собой довольно серьезную проблему. Эта проблема была одной

из центральных в средневековой философии[1]. Вкратце проблема состоит в том, что, если человек свободен в выборе поступка, то его поступок следует считать «возможным», поскольку он ничем не предопределен, не известен заранее, – в том числе и Творцу, и, значит, Он не всеведущ. С другой стороны, если все действия человека Ему заранее известны, предопределены причинно-следственными связями, неясно, в чем состоит свобода выбора человека. И мы уже заметили, что в таком случае непонятно, каким образом Творец может судить человека за его поступки.

Свидетельства обсуждений вопроса о свободе выбора человека (пусть не таких подробных и проработанных, как в Средние века) мы находим и в античной философии: эту проблему затрагивали и пифагорейцы, и стоики. Каково же отношение к этому вопросу мудрецов Талмуда?

Вот что говорит Иосиф Флавий о различных точках зрения на эту проблему в эпоху Второго Храма:

Фарисеи ставят все в зависимость от Всевышнего и судьбы, но учат, что человеку предоставлена свобода в выборе между праведными поступками (добром) и бесчестными (злом), хотя в этом участвует предопределение... Саддукеи – вторая секта – совершенно отрицают судьбу и утверждают, что Всевышний не оказывает влияния на человеческие деяния, ни на злые, ни на добрые. Выбор между добром и злом предоставлен вполне свободной воле человека, и каждый по своему усмотрению занимает ту или другую сторону... [2] Секта ессеев учит, что во всем проявляется сила предопределения, поэтому все, постигающее людей, не может случиться без этого предопределения и помимо него [3].

Не вызывает сомнений, что мудрецам Талмуда были одинаково чужды взгляды, приписываемые Флавием саддукеям и ессеям. Более того, по-видимому, сказанное Флавием о фарисеях довольно верно характеризует позицию таннаев и амораев. И хотя в талмудической литературе содержатся различные, часто противоречивые высказывания на эту тему, кажется, все они, за редкими исключениями, сводятся к тому, что человек свободен в своих поступках. Однако этот подход в какой-то мере допускает и предопределение, и Б-жественное вмешательство. Именно сложностью и диалектическим напряжением такой позиции (в отличие от последовательных, однолинейных подходов саддукеев и ессеев) предопределено многообразие оттенков в высказываниях мудрецов Талмуда по этому поводу, а существование противоречивых высказываний часто связано с желанием их авторов подчеркнуть различные аспекты указанной позиции.

Классический пример подхода таннаев к вопросу о свободе выбора – это высказывание рава Акивы: «Все видно [4] [Всевышнему], но свобода дана [человеку]» (Авот, 3:15). Здесь лаконично подмечено, как сочетается наблюдение Свыше со свободой выбора человека.

Ответственность человека за свои поступки не исключает вмешательства Творца, чему посвящено и знакомое нам высказывание амораев Равы: «Если видит человек, что страдания выпадают на его долю, пусть тщательно исследует свои поступки... Исследовал поступки свои и не нашел греха – пусть свяжет страдания с пренебрежением к Учению... А если и этого не нашел в себе, значит, страдания вызваны любовью, ведь сказано: “Ибо кого любит Г-сподь, того наказывает...” (Мишлей, 3:12)» (Вавилонский Талмуд, Брахот, 5а). С одной стороны, то, что случается с человеком, определяют его собственные поступки, с другой – не исключено, что происходящее – следствие Б-жественной воли.

В связи с этим вспоминается и другое толкование рава Акивы: «Милостыня спасает от смерти...» (Мишлей, 10:2), и не только от безвременной смерти, но и от смерти вообще» (Вавилонский Талмуд, Шабат, 156). Это толкование Талмуд приводит в контексте рассказов о предсказании судьбы, предначертанной человеку звездами, и ее преодолении («Нет созвездия для Израиля»...). Подчеркнем: хотя человек своими добрыми делами может преодолеть судьбу, ее существование не отрицается, более того, отчасти предначертанное исполняется (см. там же рассказ о раве Нахмане бен Ицхаке). Это еще один пример того, как совмещается предопределение со свободой выбора.

Ограничимся приведенными примерами (хотя их можно продолжить) и вернемся к фрагменту, который заставил нас пуститься в пространные рассуждения по этому поводу. Итак, сам рассказ о Небесном суде над теми, кто не изучал Тору, предполагает существование свободы выбора. Но проблема, затронутая в этом фрагменте, иная – это вопрос о мере зависимости человека от жизненных обстоятельств, о мере его свободы в решениях и поступках в конкретных ситуациях. Причем этот вопрос поднимается именно в плане изучения Торы. Вспомним, рав Штейнзальц настаивал на том, что требование изучать Тору, исключительное для иудаизма, есть требование интеллектуального постижения сути самой религии. И мы остановились перед вопросом: в чем же эта суть состоит?



О мере свободы в решениях и поступках

Во-первых, отметим различие между свободой выбора и свободой от обстоятельств. Свобода выбора – это принципиальная недетерминированность человеческого волеизъявления. А именно: Б-жественное управление миром таково, что выбор человека не предначертан заранее: человек волен выбирать между добром и злом, и этот выбор не продиктован ему ни законами природы, ни волей Творца; он осуществляет его сам. Однако эта свобода выбора не отменяет того факта, что человек, как любое земное существо, подчинен законам природы, а как существо социальное – общественно-историческим законам, то есть над многими обстоятельствами собственной жизни он не властен. Именно напряжение, существующее между духовной свободой выбора и

материальной, природно-социальной несвободой и делает выбор человека между добром и злом столь сложным, превращает его в космическую драму. В этой драме человеку так трудно выдержать свою роль, что Всевышний счел нужным прийти к нему на помощь и даровать Тору – систему заповедей, помогающую сделать правильный выбор в тех или иных жизненных обстоятельствах. Итак, человек должен совершить свой свободный выбор, исходя из обстоятельств (соотносясь с обстоятельствами), в которых он находится. Эти жизненные обстоятельства естественным образом ограничивают человека. Так вот, вопрос о том, насколько человек может быть независим от этих обстоятельств, насколько он может «не обращать на них внимания», совершая свой свободный выбор между добром и злом, – этот вопрос (отличный от вопроса о свободе выбора) и есть главная тема нашего фрагмента. Еще раз заметим: не предположив, что у человека есть свобода выбора, этот вопрос невозможно поставить. В самом деле, если все действия человека предопределены, то не о чем говорить [5]. Именно поэтому мы уделили столько внимания рассмотрению вопроса о свободе выбора прежде, чем перейти к вопросу о мере свободы от обстоятельств.

Есть ситуации, когда этот вопрос решается просто. Это безвыходные ситуации, когда от человека объективно ничего не зависит, когда обстоятельства объективно «выше нас». К примеру, если человек оказался на необитаемом острове, то ему трудно сделать добро ближнему, как бы он к этому ни стремился.

Есть более сложные случаи, когда человек должен тщательно проанализировать ситуацию, прежде чем решить, насколько поступок, который он собирается совершить из самых добрых побуждений, будет уместен, правилен, принесет благо или может повлечь за собой нежелательные последствия. Здесь Тора приходит на помощь человеку. Она, как правило, подсказывает верное решение. Хороший пример – отношение к вопросу о жертвованиях. Казалось бы, жертвования для бедных – исключительно благое дело, предписанное самой Торой, и, стало быть, чем больше человек жертвует в помощь неимущим, тем лучше. Однако еврейский закон накладывает определенные ограничения, ибо тот, кто тратит на жертвования больше, чем позволяют его доходы, может довести до разорения семью, и сам станет обузой для общины (Мишне Тора, Законы матанот аниим, гл. 7–10; Законы деот, гл. 5).

Итак, помимо свободного выбора между добром и злом человек должен осуществлять выбор конкретных действий. Мало выбрать добро, необходим взвешенный подход к его реализации. Тора, как уже было сказано, помогает человеку выработать этот подход. В каком-то смысле можно сказать, что, исполняя предписания Торы, следуя Алахе, человек и обретает независимость от обстоятельств; в этом и состоит его свобода по отношению к конкретным жизненным ситуациям, ибо он подчиняется не их диктату, а взвешенному решению Алахи. Однако в полной мере эта свобода осуществляется лишь в том случае, если человек не просто как робот следует законодательному установлению, а осознает правомерность этого решения, познает его продуманность, другими словами – изучает Тору. (Нелишне вспомнить здесь известный спор о том, что важнее: учение – «талмуд» или действие – «маасе», который разрешается утверждением, что учение важнее, ибо оно ведет к действию!)



Итак, если мы попробуем предельно просто определить иудаизм как систему, позволяющую человеку не только выбрать добро, но и реализовать его с учетом обстоятельств, станет ясно, что изучение Торы – это и есть залог реализации назначения системы. Более того, если понять задачу, возложенную на человека Творцом, как освобождение от детерминирующих условий земного мира (в котором зло конкурирует с добром), то изучение Торы будет осмыслено как своего рода залог максимальной свободы от обстоятельств. Ибо, следуя указаниям Торы, я выхожу из-под диктата обстоятельств и одновременно из-под диктата существующих во мне дурных устремлений.

Святой, благословен Он, сказал Израилю: «Сыны Мои, создал Я Злое побуждение и создал Я Тору – лекарство от него. И пока вы занимаетесь Торой, Злое побуждение не властно над вами... Если же вы не станете заниматься Торой, то отданы будете в руки Злого побуждения...» (Кидушин, 30а).

Однако может ли человек посвятить все свое время изучению Торы? По-видимому, нет. И хотя сказано: «...и размышляй о ней днем и ночью» (Нав, 1:8), – Алаха не устанавливает, сколько времени еврей должен посвящать изучению Торы. Каждому приходится решать это самому, исходя из своих жизненных обстоятельств. Именно это решение и есть своего рода квинтэссенция вопроса о мере свободы человека от обстоятельств. Принимая это решение, человек как бы определяет степень своей независимости от обстоятельств, этим решением он закладывает фундамент своего жизненного выбора в целом. Обстоятельства, мешающие изучению Торы, в каком-то смысле концентрируют в себе всю «сложность жизни». Находя возможность противостоять им и, несмотря ни на что, занимаясь Торой, человек прокладывает себе путь к освобождению от гнета тягот дольнего мира. Возможно, в этом смысл знаменитого высказывания рава Нехунии бен а-Кана: «Тот, кто принимает на себя иго Торы, освобождается от ига власти и от ига земных дел, а тот, кто сбрасывает с себя иго Торы, подпадает под иго власти и под иго земных дел» (Авот, 3:5).

[1] Особенно бурно эта проблема обсуждалась в XIV веке, после того как выкrest Авнер из Бургоса выступил со своей теорией абсолютного детерминизма, призванной не только оправдать его переход в христианство, но и доказать преимущество христианской религии над иудаизмом. Тем самым Авнер навязал своим бывшим братьям философскую дискуссию, начало которой Моше Нарбони, один из его оппонентов, описывает так: «Был некий ученый, мой старший современник, один из выдающихся людей своего времени, который написал трактат о детерминизме, в коем заявил, что “возможного” не существует, а все является необходимым и предопределено... Этот человек, по имени Авнер, обладал богатыми знаниями, а посему я не думаю, что он сам впал в заблуждение, – скорее намеренно вводил в заблуждение других. Ибо для него пришли трудные времена, и он понимал, что не может ждать никакой помощи и вообще ничего, кроме вражды, от своих единоверцев, которые сами, будучи чуждыми мудрости [философии], ненавидели ее приверженцев, – потому он и стал апостатом... Ибо он был не из тех благочестивых людей, чья вера остается непоколебимой даже при крайней материальной нужде... Позже, когда он увидел, что совершенное им неправильно даже с точки зрения философии – ибо даже философ не должен отречься от Торы, на которой был воспитан... – он попытался

оправдать себя, проповедуя всеохватывающий детерминизм и утверждая, что все предопределено» (Моше Нарбони, Трактат о свободе выбора).

[2] Иосиф Флавий. Иудейская война. Кн. 2, гл. 8, разд. 14.

[3] Иосиф Флавий. Иудейские древности. Кн. 13, гл. 5, разд. 9.

[4] Цафуй – от глагола «лицпот», значение которого в языке Мишны – «видеть, наблюдать». Более позднее значение этого глагола – «предвидеть» – повлекло за собой более «философское» прочтение этого высказывания в Средние века: «Все предопределено, но свобода дана». Это высказывание, в частности, использовалось в философских дискуссиях Средневековья по вопросу о Б-жественном Провидении.

[5] Так, например, Авнер из Бургоса даже свой переход в христианство объяснял предопределением (см. выше).

ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТОРЫ

Аדיא ל'עיי א'י

Государство Израиль достигло высокого уровня развития науки и технологии. В частности, «еврейские головы» успешно разрабатывают новые виды оружия. Во всем мире известны танки «Меркава», автоматы «Узи» и беспилотные самолеты израильского производства. А так ли это хорошо? Стоит ли Израилю продавать оружие? Нет ли на это какого-либо запрета? Достойно ли это еврейского государства?



Продажа оружия – причина запрета

Начнем с Мишны.

Не продают [иноверцам] медведей, львов и все, что может нанести людям ущерб.

(Мишна, Авода зара, 1:7.)

Тосефта расширяет этот закон:

Не продают им оружие, не точат им оружие, не продают им ни колодки, ни цепи.

(Тосефта, Авода зара, 2:1.)

Итак, продавать оружие неевреям нельзя. Рамбам в «Законах об убийцах» (12:14) видит причину этого запрета в заповеди «Пред слепым не ставь препятствия» (см. Ваикра, 19:14).

Всякий поддерживающий преступника нарушает «пред слепым», поскольку преступник как бы слеп и не видит правильного пути из-за своих страстей... Все, что

запрещено продавать неевреям, запрещено продавать и еврею-разбойнику, потому что этим мы поддерживаем преступников. Получается, что запрет продавать неевреям вредные вещи – следствие прямого запрета Торы. Нельзя продавать оружие тому, кто жаждет убивать и только и ждет, пока к нему в руки попадет меч или копьё. Так пишет и автор «Сефер а-хинух»[1]. Кстати, из этого следует, что заповедь «пред слепым не ставь препятствия» применима к неевреям тоже (исходя из этой заповеди, запрещено продавать неевреям предметы идолослужения[2]). Ритва[3] (Авода зара, 16а) и Меири[4] (Авода зара, 15б) полагают, что запрет действительно вызван заповедью «пред слепым», но он – постановление мудрецов, ведь нет уверенности, что купивший оружие тут же начнет посредством него наносить вред! А может быть, он использует оружие для самообороны?

Как же применить этот закон к сегодняшней ситуации? В мире множество производителей оружия, конкурирующих друг с другом, и оружие, подобное тому, что продает Израиль, можно купить и в других местах. В этом случае заповедь «пред слепым» не действует: мы видим, что «препятствий», о которые могут споткнуться эти «слепые», достаточно и без нас. Но действует другой запрет: нельзя помогать нарушителю заповеди! Так видит причину запрета Ритва (в его объяснении Мишны, Авода зара, 1:7): «Так как они подозреваются в кровопролитии и нанесении ущерба, запрещено этому способствовать».

Вопрос состоит в следующем: когда именно запрещено помогать нарушителю-нееврею? И нарушает ли воюющий нееврей вообще какую-либо заповедь? На второй вопрос мы постараемся ответить в конце обзора, а о первом много спорили еврейские мудрецы. Рама[5] (Йоре деа, 151:1) пишет:

...А если неевреи могут купить [опасные вещи] и в других местах, можно им продавать их. Некоторые же устраиваются, и так стоит поступать Б-гобоязненному, но принято облегчать.

Шах[6] выводит из этого, что запрет помощи нарушителю не действует в отношении нееврея. Но Виленский гаон в своих замечаниях на Талмуд отверг это мнение:

Получается, что Мишна и Гемара, запрещающие продавать нееврею оружие, кандалы и другие опасные вещи, говорят только о случае, когда вокруг нет других производителей этих вещей? Это большая натяжка! Поэтому следует запретить такую продажу в любом случае.

Так или иначе, Гемара разрешает продавать неевреям сырье – если оно предназначено не только для войны:

Сказал рав Ада, сын Агавы: «Не продают им слитки железа. Почему? Потому что из них делают оружие. Если так, то даже мотыги и тесла нельзя им продавать! Сказал рав Звид: “Речь идет об индийском железе (из которого делают только оружие – булатная сталь)”» (Авода зара, 15б-16а).

Рав Яков Эпштейн видит доказательство этого закона в другом отрывке из Гемары:

Учили мудрецы: не продают им щиты. Почему? Если потому, что они защищают и помогают им, – даже пшеницу и ячмень нельзя им продавать! Сказал Рав: «Если можно, так и следует поступать. А причина запрета продаже щитов в том, что, когда у них кончается оружие, они могут убивать и щитами». А некоторые говорят:

«Продают им щиты, потому что, когда у них кончается оружие, они убегают». Сказал рав Нахман, сказал Раба, сын Абуги: «Закон – согласно мнению “некоторых”».

(Авода зара, 15б–16а.)

Таким образом, вещи, предназначенные не только для войны – или не для нападения, – можно продавать. Еврею разрешено торговать как щитами, так и железными слитками.

Из-за евреев или из-за неевреев?

Рамбан[7] (Милхамот а-Шем, Авода зара, 4б) считает, что причина запрета на продажу оружия такова: это запрет мудрецов «из-за возможного вреда» – причем, судя по выражениям, употребленным Рамбаном, вреда не только для евреев. А Риаз[8] в своем комментарии на трактат Авода зара[9] утверждает, что, если от продажи оружия пострадают лишь неевреи, мы можем не обращать на это внимания. Из этого следует, что еврей даже косвенным образом нельзя (по постановлению мудрецов) приводить к смерти другого еврея.

Вместе с тем Рамбам в своем комментарии к Мишне аргументирует запрет продажи оружия так: «Чтобы не помогать губителям губить». Обратите внимание: просто «губителям», а не «губителям евреев». В «Законах об убийцах», 12:12-13, и «Законах об идолопоклонстве», 9:8, Рамбам тоже не ограничивает круг возможных потерпевших только евреями. Так же считают Ран[10] и Меири.

В любом случае, даже по мнению Раши и Риаса, запрещено продавать оружие стране, способной применить его против другой страны, в которой живут евреи – ведь евреи могут пострадать! Однако рав Яков Эпштейн вносит поправку. Место еврея – земля Израиля, и каждый еврей в любой момент может репатрироваться в Израиль, который его защитит. Поэтому, если еврей остается в диаспоре, зная об опасностях, подстерегающих его там, он подобен тому, кто продает себя в рабство неевреям в надежде на то, что еврейская община выкупит его. Такого еврея Гемара (Гитин, 46б) запрещает выкупать после того, как он продает себя третий раз. Так и Государство Израиль не обязано в ущерб себе заботиться о евреях диаспоры, которые могли бы репатрироваться, но не хотят. Значит, можно продавать оружие даже врагам их государства, а если это оружие обратится против этих упрямых евреев – что ж, сами виноваты. Впрочем, д-р Итамар Варгафтиг, редактор ежегодника «Тхумин», категорически не согласен с этим выводом: «Лучше бы этим словам не быть произнесенными». Он вообще выступает против продажи оружия, считает это недостойным способом получения доходов и полагает, что Государство Израиль, таким образом, проявляет несамостоятельность по отношению к международному рынку и сверхдержавам, теряя национальную независимость. Но это уже не совсем алахический вопрос.



«Они нас защищают»

Теперь введем еще одно ограничение. Оно тоже основано на Гемаре:

Но ведь сейчас мы продаем [оружие и сталь]! Сказал рав Аши: «Продаем персам, которые нас защищают».

(Авода зара, 15б–16а.)

Риаз приводит мнение рава Аши как окончательный алахический вывод:

Можно продавать оружие неевреям, среди которых евреи живут, потому что эти неевреи защищают нас и воюют с нашими врагами. Запрет продажи оружия неевреям существует, только если эти неевреи воюют с евреями <...> А в целом все зависит от условий в каждой стране.

Рамбам («Законы об убийцах», 12:13, и «Законы об идолопоклонстве», 9:8) поддерживает это мнение и пишет, что, если евреи живут среди неевреев и заключили с ними договор о защите, можно продавать им оружие. Более того, Меири пишет: «Если человек находится под чьей-либо защитой, ему надлежит помогать своему покровителю». Возможно, продажа оружия государствам, защищающим Израиль, даже должна поощряться.

Меири идет и дальше. Он вводит дополнительную подробность:

Запрещено продавать оружие неевреям, у которых вообще нет религии, которые не боятся высших сил, но воскуряют воинству небесному и идолам и не остерегаются никакого преступления.

Из этих слов следует, что, если некое государство «боится высших сил» и «остерегается преступлений» – то есть если это правовое государство, контролирующее исполнение законов своими гражданами и оборот оружия в своих пределах, – ему можно продавать оружие, даже если оно не является союзником Израиля. Бесспорно, нельзя продавать оружие в Ливан или Сомали. Но в Индию или Китай – почему нет?

«Не поднимет народ на народ меча»

Стоит задать такой вопрос из области морали: а разве сама война не то «преступление», которому нельзя содействовать? На войне убивают и калечат людей, разрушают их дома. Не лучше ли вечный мир? И не наш ли еврейский долг способствовать идее мира и разоружения посредством отказа от экспорта оружия вообще?

Вот как отвечает на этот вопрос Нацив^[11] в своем комментарии «Гаамек давар» на книгу Берешит, 9:5:

«Но кровь человека, пролитую братом его, Я взыщу» – когда Всевышний наказывает за пролитую кровь? Когда людям надлежит относиться друг к другу по-братски. А во время войны приходит «пора ненавидеть и пора убивать» (Коелет, 3:3, 3:8), и за это нет наказания, ибо так устроен мир. И так написано в трактате Шавуот, 35: «Царство, которое убивает каждого шестого, не наказывается. И даже царь Израиля имеет право выводить народ на дозволенную войну ради добычи, хотя при этом могут погибнуть его подданные-евреи.

Кроме того, государства покупают оружие не только и не столько для того, чтобы убивать. В современном мире оружие – прежде всего инструмент сдерживания, запугивания. Его хранят в арсеналах именно для того, чтобы оно не стреляло.

Однако следует помнить, что Талмуд называет оружие «не украшением, но позором» (Шабат, 63а), и пророки обещали нам, что в будущем «перекуют мечи на лопаты и копья – на садовые ножи; не поднимет народ на народ меча и не будут учиться воевать» (Йешаяу, 2:4). Поэтому не стоит строить внешнюю торговлю исключительно на продаже оружия. Хороши мы будем, когда оно перестанет быть нужным...

[1] Аарон а-Леви из Барселоны, XIII век.

[2] Раши на трактат Авода зара.

[3] Рав Йом-Тов из Севильи (1250–1330) – один из основных комментаторов Талмуда.

[4] Рав Менахем а-Меири (1249–1315), Каталония. Известный комментатор Талмуда.

[5] Рав Моше Иссерлес (1520–1572), Краков. Известнейший интерпретатор «Шульхан аруха» применительно к ашкеназской традиции.

[6] Рав Шабтай Коен (1621–1662), Польша. Комментатор «Шульхан аруха».

[7] Рав Моше бен Нахман (1194–1270) – испанский талмудист, комментатор Танаха, каббалист и философ.

[8] Рав Йешаяу бен Элия. Последний из Трани, умер в 1280-х годах.

[9] Приведено в «Шилтей гиборим», лист 5 в Рифе на Авода зара.

[10] Рабейну Нисим (1320–1380) – испанский комментатор Талмуда и проповедник.

[11] Рав Нафтали-Цви-Йеуда Берлин (1817–1893) – глава Воложинской ешивы, комментатор Талмуда и Пятикнижия.

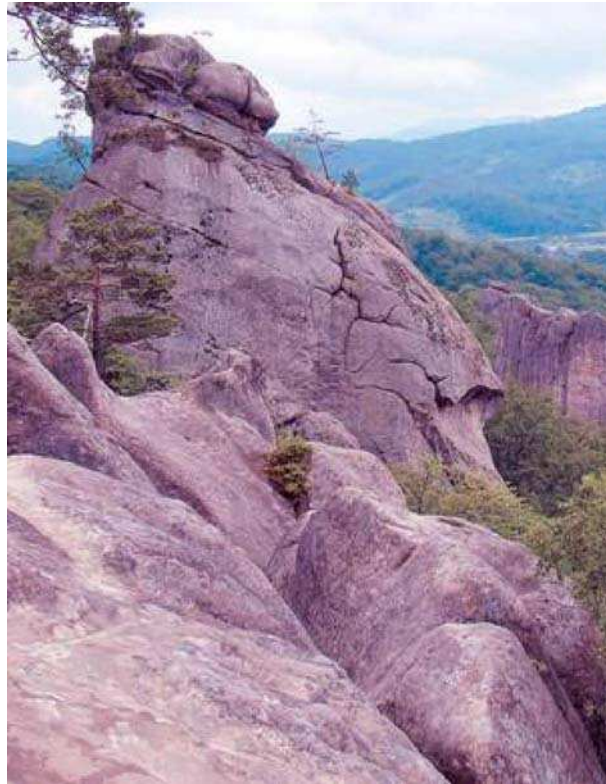
ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2010 ТЕВЕТ 5770 – 1(213)

СКАЗ О ТОМ, КАК БЕШТ С РАЗБОЙНИКАМИ ВСТРЕЧАЛСЯ

È áíí ðííó î áóóóéííééó éí ðí ýó ðáíéáíééó ðáííéáíá

Í ááíé Áóðááéíí

В 1814–1815 годах в городе Копысь Могилевской губернии в типографии Исраэля Яффе впервые был издан сборник «Шивхей Бешт» («Восхваления Бешта»), посвященный основателю хасидизма рабби Исраэлю бен Элиэзеру Бааль-Шем-Тову (Бешту). Эта книга представляет собой корпус текстов о жизни и деяниях Бешта и его учеников, к тому же она является источником большей части дошедших до нас сведений о Беште.



Скала и пещера Довбуша в Карпатах

Бааль-Шем-Тов (1700–1760) родился в селе Окуп в Карпатах в бедной семье, рано осиротел и в молодости перепробовал целый ряд занятий. Он приобрел известность в своем кругу как целитель, лечивший с помощью магических заклинаний и амулетов. Отсюда его имя – Бааль-Шем-Тов – «обладатель доброго имени [Всевышнего]». Посредством произнесения тайного Б-жьего имени, молитвами, заговорами и амулетами Бешт, по преданию, творил всевозможные чудеса: боролся с нечистой силой во всех ее проявлениях, оживлял мертвых, лечил неизлечимые болезни, мог находиться в нескольких местах сразу, за короткое время перемещался на большие расстояния, боролся с врагами еврейского народа. Практикуя врачевание и изгнание злых духов, Бешт разъезжал по еврейским местечкам Подолии и Восточной Галиции, и постепенно вокруг него образовалось товарищество хасидов. Они занимались изучением Торы и каббалы и

напоминали другие группы каббалистов, существовавшие в то время во многих больших еврейских общинах.

Более полувека до публикации «Восхвалений Бешта» (книга была издана через 55 лет после его смерти), да, вероятно, и после рассказы о Беште бытовали устно. Реальные истории обрастали массой подробностей и попутно впитывали в себя фольклорные сюжеты народов, среди которых жили евреи.

Исследователи предлагали разные версии генезиса «Шивхей Бешт». Йосеф Дан в работе «А-сипур а-хасиди»^[1] говорит о том, что сюжеты о Беште десятками заимствовались из «Шивхей Ари» – рассказах о деяниях и чудесах знаменитого каббалиста Ицхака Лурии Ашкенази, который жил в Цфате в XVI веке. Один из первых собирателей еврейского фольклора, этнограф и литератор С.А. Ан-ский в начале XX века, говоря о хасидском народном творчестве, сравнивал его с рыцарскими романами, а хасидских цадииков – с рыцарями, защищающими свой народ: странствуя от местечка к местечку, цадиики именем Б-жым спасали евреев от всяких напастей^[2]. Израильский фольклорист профессор Дов Ной посвятил работу «Агадот а-Бешт бе-арей а-Карпатим» («Предания о Беште в Карпатских горах»)^[3] анализу карпатских легенд о Беште в их связи с гуцульским фольклором. Дов Ной обратил внимание на широкое распространение легенд о Беште в собственно гуцульском фольклоре и выделил характерные особенности гуцульских легенд, жанрово и композиционно очень похожих на хасидский фольклор.

Галиция XVIII–XIX веков – это глухая провинция двух империй, Австро-Венгерской и Российской, с ее густыми лесами, высокими горами, разбойниками и нечистой силой. Богатая почва для героизма и воображения. В горах Галиции – начало биографии Исраэля бен Элизера, там он набирается сил, чтобы явить себя ученикам и миру. Чтобы прокормить семью, Бешт становится угольщиком в Карпатских горах; там, в уединении, посредством экстатической молитвы, Бешт обретает состояние двекут (слияние со Всевышним).

Время пребывания Бааль-Шем-Това в горах выпало на расцвет движения опрышков, именно в это время там разбойничал самый знаменитый из опрышков – Довбуш (1700–1745). Гуцулы называли опрышками тех, кто бросал крестьянский и пастуший хлеб и уходил в леса разбойничать. Этимология слова «опрышок» точно не известна; возможно, оно происходит от старорусского слова «опричь» – особо, отдельно, в стороне. Опрышки не трогали земляков, а большими ватагами спускались в долины и совершали разбойные нападения на еврейские местечки и помещичьи хозяйства. Для гуцулов опрышек – пример героя-разбойника. Движение опрышков пришлось на начало XVI века и длилось до середины XIX-го. В опрышки уходили люди, недовольные своим социальным статусом и материальным положением. Отряды опрышков пополнялись за счет дезертиров из армии, пастухов, местных крестьян, днем работавших в полях, а ночью ходивших «на шлях». Похождения опрышков – излюбленная тема в фольклоре гуцулов. И эта тема нашла свое место в биографии Бешта и в рассказах о нем.

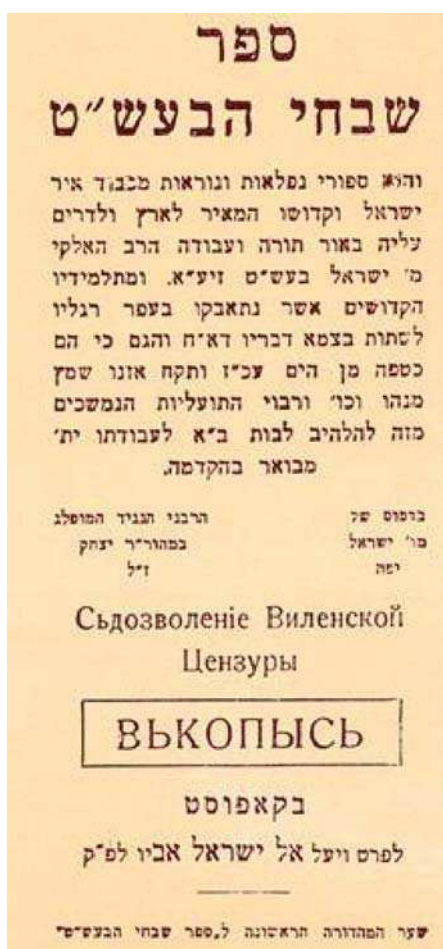
Одиночество в горах

Была в высоких горах одна труднодоступная долина. Бешт в этой долине созерцал природу. Однажды Бешт поднимался в горы, и увидели его разбойники, которые стояли на соседней горе. Бешт же в задумчивости шел к краю горы, и разбойники подумали, что вот сейчас он упадет и разобьется. Но когда он подступил к краю горы, соседняя гора приблизилась к первой и стала как равнина. Бешт, не обратив на это внимания, пошел дальше. А горы сделались как прежде. Когда он возвращался, горы

опять сомкнулись. И так несколько раз. И разбойники прониклись к нему уважением и сказали: «Чудо, которое мы увидели, означает, что это человек Б-жий». И решили они заключить с ним мир. И сказали: «Мы видели, что ты человек Б-жий, поэтому просим тебя: молись за нас, чтобы Г-сподь был к нам добр, так как путь нашей жизни усеян опасностями». И сказал им Бешт: «Поклянитесь, что не будете трогать евреев, тогда сделаю, как вы просите». Они поклялись, и уважение к Бешту было так велико, что разбойники приходили к нему, чтобы он судил их. Однажды пришли судиться к нему двое воров, и одному из них не понравился приговор, и он замыслил убить Бешта, пока тот спит, так как боялся приближаться к нему днем. Пришел ночью разбойник к Бешту, чтобы убить его, и тотчас что-то схватило его, стало бить, терзать и мучить. И только под утро эта сила оставила его, а он остался едва живой. Бешт проснулся утром, увидел, что рядом с ним лежит побитый человек, и спросил его: «Кто ты?» А тот не ответил, поскольку не мог разговаривать – так сильно был побит...[4]

В другом рассказе Бешт непосредственно вступает в противоборство с разбойниками: спасая купца-еврея, он побеждает разбойников при помощи своей чудодейственной силы. Бешт и купец едут через лес, на них нападают разбойники, Бешт заколдовывает их, и они убегают, думая, что за ними гонятся чудовища[5]. В рассказе «Короткая дорога в Эрец-Исраэль» разбойники ведут себя как закадычные друзья, предлагая Бешту провести его подземными ходами из Карпатских гор в землю Израиля[6].

Эти истории не были бы ничем примечательны – в фольклорных произведениях антагонистами героя нередко выступают разбойники, – если бы не общее с гуцульским фольклором место действия – Карпатские горы, а главное – зеркальные упоминания Бешта в гуцульских рассказах о разбойнике Довбуше.



Титул издания «Шивхей Бешт»

(«Восхваления Бешта»)

Робин Гуд по-карпатски

Героев-разбойников в карпатском фольклоре немало, однако первейшим из всех считается Довбуш, и большинство гуцульских историй посвящено именно ему. Олекса Довбуш был из безземельных крестьян и большую часть жизни пас овец у панов. В 1738 году он с братом Иваном ушел в опрышки и через семь лет погиб при романтических обстоятельствах: у него была любовница, замужняя дама, которая при посредстве супруга сдала Довбуша полиции.

Эти семь лет гуцулы считают звездным часом всего бандитского движения в Карпатских горах. Восторженные впечатления от геройств Довбуша составляют большую часть из всего корпуса рассказов и песен об опрышках. Есть среди рассказов, посвященных Довбушу, так называемый «еврейский» цикл из трех-четырёх десятков историй, в котором Довбуш «спасает» земляков от евреев-корчмарей и арендаторов.

Как правило, все они начинаются с фраз типа: «Опрышки на дорогах грабят панов и жидов» или «Опрышки никогда своих не грабили, только чужих, панов и жидов»^[7]. Подавляющее большинство историй, в которых Довбуш сталкивается с евреями, заканчивается для последних плохо. Приведем некоторые из них.

Рассказ «Как Довбуш заплатил корчмарю» – один из самых «безобидных»:

В Зеленьи была корчма, в которой Жид гнал горилку.

Раз зашел туда Олекса со своими легинями [молодцами] и начал пить и отдыхать.

Но Жид есть Жид, поэтому возьми пархатый да и скажи Олексе: Ой, а ведь конечно же Олексичка и заплатит мне.

Ой, лучше бы молчал.

А Олекса как разозлится, как хряснет топориком по одной бочке, потом по второй, третьей... А бочки большие, а горилка вся на землю.

А после Олекса заплатил Жиду, но только за то, что пили ^[8].

ПРО БОГАЧА ЖИДА ГЕНРИХА И ДОВБУША

В Солотвине был богач Жид Генрих, которому все были должны.

Узнал про это Довбуш, взял да и забрал у него все долговые расписки.

А Жиду было очень обидно отдавать их. Увязался он за Олексой и просит: Олексичка-господинчик, отдайте, говорит, мои расписочки.

Верни все Жидку, верни...

Ему бы вернуться, ан нет, идет, просит.

Уже под Монастырскую гору забрались, а она повыше Скита будет, а этот все просит. Верни все Жидку, верни...

Развернулся круто Олекса и говорит своим легиням: А дайте ему, хлопцы, расписки, пусть не плачет.

И легинь один в Жида и выстрелил. Легины побросали на него плиты, целую кучу, да и пошли дальше.

Та куча и поныне стоит [\[9\]](#).

Дань для Довбуша

Довбуш всюду ходил. К баронам приходил, графьям и другим панам, но бедняков не трогал, только денег им давал.

Говорят, бывало, придет Довбуш со своими легинями в Кутив, и только в звоночек звякнет, а жида уже знают, чего он звонит. И сразу же ему денег, и только золотом, а нет – беда будет.

Довбуш мог сжечь город.

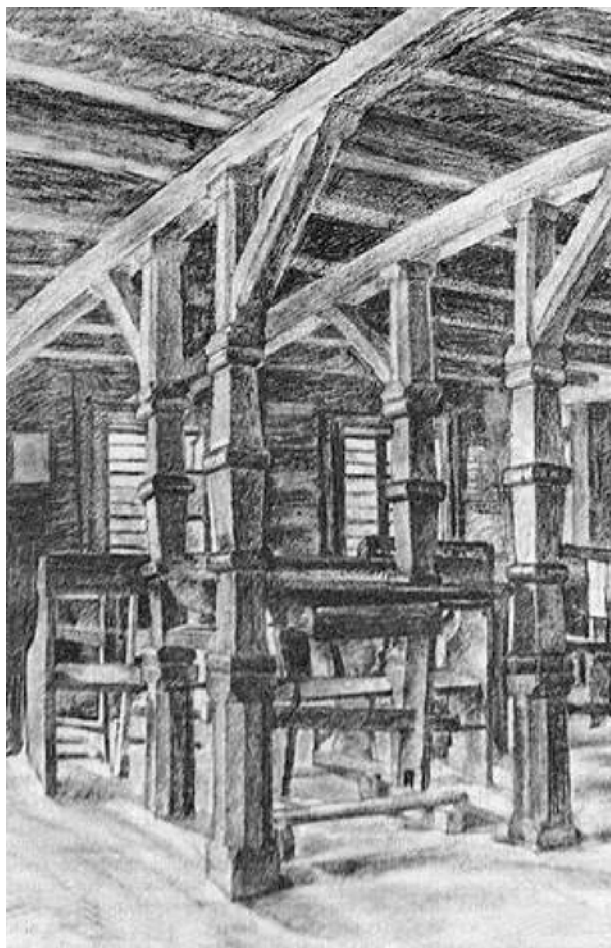
Но жида уже это знали, поэтому приносили деньги одному из своих, а тот отдавал Довбушу.

Да, Довбуш имел право брать, ведь он был защитником всех гор и людей, что там жили [\[10\]](#).

Есть и более кровавые рассказы, например о погроме в местечке Ивановцы, где Довбуш со своей ватагой вырезал всех евреев за то, что они «чинят добрым людям» [\[11\]](#).

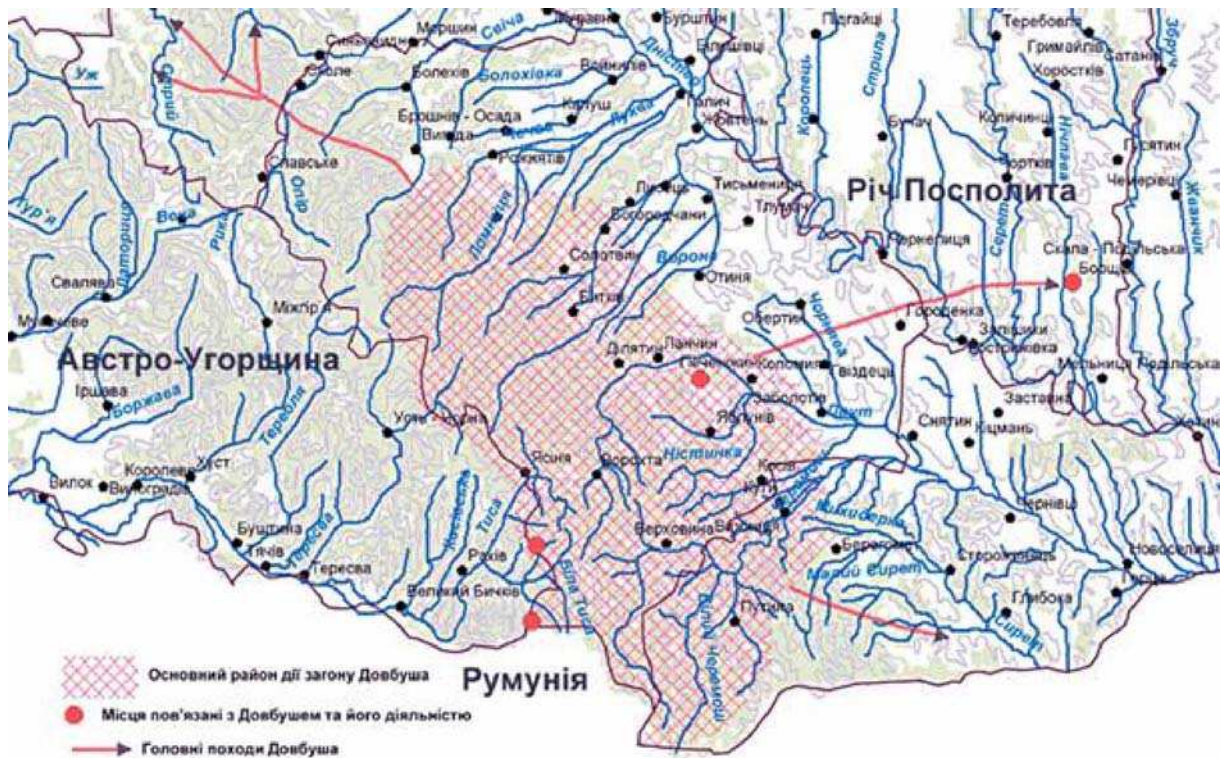
И на фоне всего этого появляется рассказ «Чудо Бааль-Шема над Довбушем»:

По дороге на Тулуков завернул Довбуш с товарищами в Тростинец к арендатору Бааль-Шему перекусить, а тот торговлю свернул, говорит, что ему нечего им дать. «Значит, все здесь будем разбивать», – говорят опрышки, но как только Довбуш топор поднял, рука его так онемела, что он не мог ни Жида ударить, ни чего другого сделать. Тогда начал Довбуш просить, чтобы освободили его, а он за это заплатит. Жид освободил руку, а Довбуш ему денег дал. А кушать пошли к старому Понуру [\[12\]](#)...



Интерьер бейт мидраша Бааль-Шем-Това в Меджибоже. Рисунок XVIII века

Предания о Довбуше имели хождение и в еврейской среде. Израильский фольклорист Лариса Фиалкова в работе «Олекса Довбуш и еврейская культура» приводит рассказ, записанный со слов одного галицийского еврея, о чудесном рождении Довбуша. Отец Довбуша умер еще до рождения ребенка, и мать жила в страшной нищете. Единственный, кто помогал ей, был старый еврей-корчмарь, который приносил ей хлеб. Как-то раз женщина, будучи уже на последнем месяце беременности, пошла в лес собирать дрова. В лесу у нее внезапно начались схватки, и через некоторое время она родила ребенка. Отдохнув и уже было собравшись с ребенком домой, женщина услышала звуки охотничьего рога и лай собак – то была панская охота. Испугавшись, что их могут порвать собаки или затоптать лошади, она спрятала ребенка в дупло дерева, а сама побежала домой. Все время, пока шла охота, мать не находила себе места и через некоторое время, когда охота закончилась, пошла искать ребенка в лес, но на прежнем месте его не обнаружила. Спустя три дня, уже обессиленная, она вышла на полянку, где увидела лежащего ребенка и склонившуюся над ним собаку. Женщина подумала, что собака собирается съесть ребенка, и бросилась на нее, но та, жалобно заскулив, отошла в сторону. Ребенок был живой, а собака, видимо, кормила и обогревала его. Мальчик был крупный, вполне здоровый и весь покрыт густой бурой шерстью. Мать забрала ребенка и понесла его домой, а собака бежала за ней. Соседи этой женщины очень удивились, увидев ребенка живым, а корчмарь-еврей, когда принес им в очередной раз поесть, посмотрел на ребенка и сказал, что он «как добуш» (ивр. «медвежонок»)[13].



Карта території, контролююваної опришками, і їх походів

* * *

Сопоставление хасидских и гуцульских преданий оказывается весьма плодотворным. Вот лишь некоторые пункты этого сравнения. Расскажем об опришках, как и хасидским рассказам, свойственна форма эпического повествования о достоверном, где всегда есть ссылка на источник, например: «Вот что рассказал нам старый еврей из Николаевки...»[\[14\]](#) Сходные зачины мы обнаруживаем и в «Шивхей Бешт»: «Рассказал мне тесть мой, которому рассказал рав Авраам Подолискер, который был равом нашей общины за несколько лет до того, как случилась с Бештом эта история»[\[15\]](#). Карпатские и хасидские рассказы роднит также наличие конкретных топографических указаний: «Как-то раз пришел Довбуш в село Венгры»[\[16\]](#), «Как-то раз прибыл Бешт в святую общину Белополя»[\[17\]](#).

При сравнении двух «героических» биографий – Бешта и Довбуша – между ними обнаруживается определенное сходство, обусловленное «житийной моделью», а также общей социальной функцией – защитников простого народа. Например, рождение героев предваряется или сопровождается чудом. «Как-то к раву Элизеру во сне пришел Илья-пророк и сказал, что скоро у рава Элизера родится сын, благодаря которому весь Израиль восстанет и упадет пелена с его глаз»[\[18\]](#). Рождение Довбуша также необычно. По одной версии, как уже говорилось, мать прячет маленького Довбуша в дупле, и его спасает собака, а сам ребенок весь покрыт густой шерстью. Согласно другому преданию, Довбуш не рождался и не умирал, а был взят из чрева мертвой матери[\[19\]](#).

Оба героя от рождения талантами не отличались, даже наоборот. Довбуш, по одним источникам, был до 12 лет немым, по другим – слабым или умственно отсталым. Только в пору юности он получает необычную физическую силу, причем чудесным образом. Предания о Беште тоже изображают его в начале жизни парнем туповатым и со странностями; в частности, его даже выгоняют из школы из-за отсутствия способностей к учебе[\[20\]](#).



Разбойник Довбуш. Миниатюра

Оба героя вступают в первое сражение с нечистой силой и побеждают ее: Бешт борется с Сатаной в облике волколака, а Довбуш дерется с «черным чоловіком» (чертом) или «Бідой» (нечистой силой), которая глумится над Б-гом, после чего ангел одаривает Довбуша неуязвимостью и огромной силой[21]. И Бешту, и Довбушу сообщается свыше о грядущем предназначении. Так, Бешту, оказавшемуся в трудном положении, во сне является старик, который потом оказывается Элияу-пророком; он помогает Бешту выпутаться и сообщает о его миссии[22]. Про Довбуша есть несколько рассказов, в которых герою сообщается о том, кем он станет в будущем, и параллельно даруется магическая сила. В одном из рассказов Довбуш, побитый паном, идет в горы и «так горько плачет, что нет сил это слышать»[23]. На этот плач приходит святой Петр и одаривает разбойника небывалой силой. В другом рассказе Довбуш по дороге в село Веньгры встречает старого разбойника, который сообщает ему, кем он будет, и дарит волшебное средство, дарующее неуязвимость и удачу: «От этого зелья пуля тебя никакая не возьмет, а любой закрытый замок откроется, лишь до него дотронешься»[24].

Оба героя творят добро: Бешт излечивает больных, борется с притеснителями евреев; Довбуш отбирает у богачей богатство и раздает его беднякам, уничтожает долговые расписки и т. п. В наказании плохих и помощи хорошим основная функция как опрышков («Довбуш только жидов и панов бил, а людей не трогал»[25]), так и цадиков («Бешт при жизни, а также и после смерти является защитником праведных»[26]).



Еврейское кладбище в Меджибоже, местечке, где был похоронен Бешт

Возможно, хасидские рассказы о встречах Бешта с разбойниками и гуцульские рассказы о столкновениях Довбуша с евреями относятся к единому мифологическому циклу о Праведнике и Разбойнике. И вполне вероятно, что рассказы о Беште, чудотворце, спасающем евреев и побеждающем инородцев, появились как фольклорно-литературная реакция на реальное противостояние евреев окружающему миру, а также как еврейский ответ на карпатский бандитский фольклор. Бешт – это культурный герой, превосходящий трикстера Довбуша силой духа и чародейством. Если герой гуцульского фольклора – сильный, неуязвимый, благородный, справедливый, но все-таки разбойник, то герой фольклора еврейского, как писал С. Ан-ский^[27], это человек, на котором лежит Б-жья печать, он силен не телом, но духом. Главное его орудие – молитва, а цель – не убить врага, а обезвредить, так как наказание и награда – в руке Б-жьей.

Бешт и Довбуш – ровесники, жили практически по соседству, и даже если они и не встречались в реальности, то рассказы о них друг с другом хорошо знакомы и почти родственники, поскольку сочинялись в одно время, на одной территории и в одном жанре.

[1] Дан Й. А-сипур а-хасиди. Иерусалим, 1996 (иврит).

[2] Ан-ский С.А. Еврейское народное творчество // Евреи в Российской империи XVIII–XIX вв. М., 1995.

[3] Иерусалим, 1960.

[4] Шивхей Бешт. Иерусалим, 1994 (иврит). С. 51–52.

[5] Там же. С. 168.

[6] Там же. С. 52.

[7] Гнатюк В. Народні оповідання про опришків // Етнографічний збірник. Т. 26. Львів, 1910. С. 6, 3.

[8] Там же. С. 112.

[9] Там же. С. 114–115.

[10] Там же. С. 111.

[11] Там же. С. 117.

[12] Там же. С. 57.

[13] Фіалкова Л. Олекса Довбуш і єврейська культура // Сучасність. 1996. № 10. С. 69–70.

[14] Гнатюк В. С. 5.

[15] Шивхей Бешт. С. 73.

[16] Гнатюк В. С. 87.

[17] Шивхей Бешт. С. 71.

[18] Там же. С. 39.

[19] «Так Добуш не родиў і быў не ўмираў, бо йак му умерла маты, а він сьа рушаў учереві. І выпороли го і він сьа подорваў коло віт цьа» (Гнатюк В. Указ. соч. С. 54).

[20] Шивхей Бешт. С. 39.

[21] Гнатюк В. С. 63.

[22] Шивхей Бешт. С. 53.

[23] Гнатюк В. С. 83.

[24] Там же. С. 87.

[25] Там же. С. 93.

[26] Шивхей Бешт. С. 115.

[27] Ан-ский С.А. С. 641–686.

«ГОСПОДИН РАБИНКОВ»

Īāēē Īīḏōīīāā

Обращались к нему не «учитель» или «ребё», а просто: «г-н Рабинков». Ученый и философ, создавший гейдельбергскую талмудическую школу, он был свободным человеком, не признавал никакого особого статуса учителя и был с учениками на равных. Необычность этого человека была прямо пропорциональна его известности среди ассимилирующейся еврейской молодежи Европы. Опубликовав только одно небольшое сочинение, он целиком вложился в своих учеников. Видимо поэтому, за исключением вышедшего при его жизни Ju..disches Lexicon (1930), в еврейских энциклопедиях и справочниках имя Рабинкова отсутствует.

Хочу учиться

Залман-Барух Рабинков (1882–1941) родился в городке Сосница Черниговской губернии в хасидской семье торговца. Учился у местного раввина, в 13 лет ушел из дома и явился в ешиву Тельши, где учился у выдающегося раввина Элиэзера Гордона^[1], рано был введен в каббалу, получил звание раввина, но отказался от службы ради продолжения образования. После смерти отца (1902) не вернулся домой, а отправился в Ковно, крупный литовский культурный центр, где занялся самообразованием; в 1905 году он уже в Пярну – учитель по еврейским дисциплинам братьев Ицхака и Аарона Штейнбергов^[2]. В конспекте воспоминаний последнего об учителе^[3] перед нами выразительные детали внутренней биографии: радикальная тяга к образованию, смешанность культурной среды, в которой он вращался.

Семья: отец, мать, два брата, 2 сестры (Флора, Эльза). Хабад, Бакалея (укра), (отец не считал денег – широкая натура. Мать сшила себе саван).

Помещики (гр. Мусин-Пушкин, Федорченко). Киевск[ие] оптовики – дядя в Чернигове.

Сосница, Черниг[овской] Губ[ернии] («кацапы», хохлы, кучер «Трохим»).

Время: к XX-му веку!

Образование: «Батуришев Ров» – Тельши (атмосфера: «революция общая»).

Чтение при луне. Грошовые уроки. На собственные средства.

Программа жизни: Раввин? Но, значит, жениться? Хочу учиться.

Встречи Элиэзера с отцом в Вильне.

Казенный + духовный.

После смерти отца не возвращается домой, чтобы избежать «сватовства». Ковно – новый бейт мидраш, «не ел дней»^[4] – бесплатные уроки экстернов.

1905 – встреча с нами в Ковно.

Пернов – конец года. Стоит со свечой в руке у книжных шкафов.

После Якова Бермана – отец и мать!

Интерес к событиям: восстание в городе.

Чтение газет. Мои уроки с ним: Космография. Геометрия (постулат о параллельных [прямых]!), русский: Толстой («Жилин и Костылин»). «Единение». «Ишаарут а-нефеш» [\[5\]](#) по-раввински!

В конце 1906 г. возвращение в Ковно – сохранение связи и в наш московский период.

Приезд к нам в Цюрих, а оттуда осенью в Гейдельберг. С нами на лекциях Виндельбанда.

Так в 1907 году осуществилась мечта Рабинкова учиться в Европе.



Залман-Барух Рабинков

Школа Талмуда

Трудно сказать, как рано сложилась его теория. Известно, что сразу после приезда в Гейдельберг хасид и выпускник литовской ешивы, «русский учитель Талмуда братьев Штейнберг», как его называли, сразу приступил к учебе в университете – изучению философии, права и социологии. С их помощью он хотел углубить исследование алахи, еврейской философии и каббалы.

Доля евреев среди студенчества Гейдельберга была весьма значительной, но в Пироговской читальне (библиотеке «русской колонии») интересоваться «еврейским вопросом» вообще и иудаизмом в частности было не принято. Талмудическая литература

казалась сухой, как дерево, а хасидизм считался «незрелым плодом»; русские евреи тянулись к светскому сионизму и революции.

Один из учеников впоследствии описывал, как впервые увидел Рабинкова в 1907 году: «На мосту Неккара, был занят горячим обсуждением чего-то со студентом; одет он был в довольно потертый, но совершенно чистый костюм. На его лице были очень сильные и широкие очки. Как только он снял их, я увидел худое лицо ученого, одновременно юное и почти старое. Разговор шел на русском идише, который мне было трудно понять, но я заключил, что говорили на тему, которую я обсуждал со знакомыми несколькими днями раньше. Я задал свой вопрос г-ну Рабинкову, и он ответил на него в нескольких словах»^[6]. Из таких интересующихся образовался кружок, который постепенно превратился в «бейт мидраш Торы и еврейских наук», а из него выросла «гейдельбергская талмудическая школа». Ее известность распространялась, и те, кто хотел углубить свои знания в еврейских науках, приезжали провести несколько семестров в Гейдельберге. Сам Рабинков с течением времени не изменил древнего принципа совместного обучения: так, в течение десяти лет он раз в неделю приезжал в Манхейм, к известному раввину Ицхаку Унне, чтобы вместе разбираться в сложных вопросах алахи^[7].

Рабинков отдал гейдельбергской талмудической школе двадцать лет, за исключением короткого промежутка в 20-х годах, когда он руководил молодежной ешивой в Ковно. За это время полностью сложилась не только его педагогическая система, но и теория. Известна она стала только в конце 20-х годов.

В 1927 году, как ему давно хотелось, Рабинков приехал в Берлин, шумный мультикультурный центр, в котором нашлось место и хасидской культуре, и русской, и спорам о немецкой философии. В дружеском кругу русско-еврейской интеллигенции, в том числе в «дубновском кружке», он чувствовал себя комфортно, хотя вел себя сдержанно. А. Штейнберг вспоминал:

Сидим мы этак после исхода второго дня Нового года у Дубнова, а «Залман», т. е. будущий президент будущего еврейского государства Шнеур-Залман Рубашов (Ш.З.Р.), подбивает Рабинкова рассказать на пользу палестинскому гостю Х.-Н. Бялику историю о «шельме», «о шельме-Торе». «Что такое?! – удивляется Бялик. – Никогда не слышал...» Рабинков перестает сопротивляться и голосом, вздрагивающим, как черниговская скрипка, поясняет: «Так, значит, был в нашей общине человек немолодой, из бывших николаевских солдат. Само собою, без всяких знаний – все говорили: “невежда, ам а-арец”. Но когда приходил праздник Торы, не было во всей синагоге никого, кто веселился бы так, как он. “А вы-то чего? – спрашивали его иногда именитые прихожане. – Ведь не знаете даже, что в ней написано!” Весельчак, однако, со свитком Торы в объятиях приходил в еще больший восторг, похлопывая свиток по самому венцу и приговаривая: “Шельма, шельма, сколько я за тебя выстрадал!”» (А. Штейнберг – Ф. Каплан, 17–18 октября 1974; box XIV).

6/3 34. Дорогой Аарон, очень рада была узнать Ваши
справки. Жаль, что Вы не остановились
проездом здесь. Трудно сказать, что милкидиги
Мейер, но вероятно. Я уже здесь три месяца
тут живут некоторые мои Heidebergские ученики
и думаю здесь останусь до мая, так как я на
дело тогда уже иду в новый немецкий банк.
Собираюсь там переселиться в Paris. Там
тоже несколько учеников Heideberg и Berlin
и они желают, чтобы вы там жили. Я
был там в октябре и мне очень понравилось
там жить, но сначала хочу решить вопрос
поспортивный. От Мар. Дубова получил письмо
пожелание: вернуться обратно в Берлин, в
Антверпен и занять место в Новом институте
еврейских наук. Он очень старается
заваривать и приготовить, дайте Berg
но все друзья категорически проваживают
договор. От Миссена недавно получил
письмо он теперь старается, как и прежде
устроится в Праге. Его адрес: Praha - Smichov, Plazenska 177. Путь
в Нидерланды пока антверпенский, народ
решительный. Тут еще осталось много
того духа, который всегда характеризовал
частично книгу пришло в Antwerpen

Открытка Аарону Штейнбергу. 1934 год

В атмосфере смелых просветительских инициатив: учреждения Института еврейских исследований, издания энциклопедий, а также «Всемирной истории еврейского народа» и «Истории хасидизма» С. Дубнова – Рабинков отступил от принципа исключительно частной передачи знаний и опубликовал статью-эссе «Индивидуум и общество в иудаизме» (1929).

Главная ее тема – отношения личности и общества в иудаизме. «Отправная точка еврейского религиозного сознания – это, я верю, идея союза между Б-гом и суверенным Израилем»^[8]. Сила суверенитета ставила народ Б-га выше царя. Союз с Б-гом объединял израильские колена, обеспечивал единство и целостность общины. «Те вещи, которые мы привыкли считать противоположностями, например: общество и государство, культура и религия – в еврействе с самого начала не были противоположны друг другу. Еврейский народ, созданный как народ государственный, существовал в силу кровного родства и никогда не получал закон от народа, среди которого жил». Все сферы жизни у евреев, считал Рабинков, отмечены гуманистической ориентацией до тех пор, пока еврейская община существует и сохраняет принцип союза с Б-гом. Освобождение человека не придет извне, не будет даровано внешней властью, а должно быть завоевано самой личностью, почувствовавшей в себе силу автономного существа. В конце статьи автор прибегнул к авторитету Гиллея. «Самое твердое убеждение еврея: жизнь стоит проживать хорошо и каждому следует заполнять предназначенное ему место в

непрерывной цепи жизненного процесса. “Если не я за себя, то кто за меня? Если я только за себя, то что я?” (Гилель)»[9].

Так Рабинков не только толковал иудаизм как религиозную систему, акцентирующую значение индивидуума, но и показывал, как пользоваться этим даром. Привлекая молодых людей своей энциклопедичностью («Я имел честь учить у него Тору и был близок с ним многие годы. Я не знаю никого среди немецких евреев, кто бы преподавал Тору с такой глубиной и размахом, прежде неведомыми еврейской интеллигенции Германии»[10]), он притягивал также исключительной цельностью своей натуры, вызывающей безграничное доверие. «Любые отношения, любые связи, любые ситуации, мешающие тому, что он говорил и делал, что казалось ему правым, воспринимались как ограничение его свободы и, следовательно, ни в коем случае не допускались»[11]. А. Штейнберг называл своего учителя Rasbar (нем. «неистовствующий», «бешеный»).

Рабинков был постоянно энергичен и спокоен, неизменно жизнерадостен; он служил авторитетом, но без авторитарности. «Благодаря всепроникающему чувству свободы он <...> глубоко уважал личность другого»[12]. Письма своим бывшим ученикам Рабинков начинал с учтвого обращения: «Глубокоуважаемый г-н!» Он считал, что еврей должен соблюдать религиозно-этические заповеди, но по собственной воле, как свободный и самостоятельный индивидуум. Его ученики любили рассказывать следующую историю:

Один неоортодокс упрекнул Рабинкова в том, что тот бреет бороду, и он ответил: «Когда закончится моя жизнь и я предстану перед Б-гом, самое худшее, что может со мной случиться, Он спросит: “Еврей Рабинков, где твоя борода?” Тогда я ему отвечу: “Я здесь, Г-споди, еврей без бороды”. Когда же ты явишься перед Б-гом, Он спросит тебя: “Борода, где твой еврей?”»[13]

Несомненно, что такая современная интерпретация иудаизма (Эрих Фромм причислял учение Рабинкова к «культуре протеста, какую мы наблюдаем у радикальной русской интеллигенции»[14]) отличалась максимализмом и идеализацией. А повседневное поведение и образ жизни учителя убеждали в неограниченных возможностях индивидуума. То, что у других считалось аскетизмом, для него было нормой: он не брал платы за учебу, питался в основном хлебом, селедкой и чаем, не женился до последнего года жизни (как говорил один из учеников, «Рабинков состоял в браке с Торой»[15]). Он любил природу[16], музыку, интересовался русской литературой. «Г-н Рабинков» сам выстроил свою личность и увлекал подобной задачей других.



В Голландии

С 1933 года, как и другие евреи Германии, Рабинков начал искать убежище. Ученики звали его в разные страны: США, Францию, Палестину. Всю жизнь без своего гнезда, он короткое время жил в доме своего ученика в Базеле, потом его уговорили поехать в Голландию. Там он остановился в городке Схевенинген, возле Гааги, где вскоре у него нашлись ученики и образовался маленький кружок студентов-евреев. Рабинков готовился к отъезду на постоянное место жительства, в одну из стран, куда его давно приглашали. Но в Париже все было очень нестабильно; американские власти требовали гарантий материального обеспечения; в Палестине ученики были разбросаны по разным городам, а идеологического стимула – сионистских убеждений – у него не было.

Предлагаем несколько документов, относящихся к этому периоду жизни нашего героя. Это письма Рабинкова, отправленные из Голландии в Лондон Аарону Штейнбергу, и письмо другого его ученика, Эрнста Симона [17], в котором он вспоминает о встрече с учителем в 1938 году. Мы сохранили по возможности языковое своеобразие писем Рабинкова: русский язык со вставками на иврите и идише в латинской графике (по свидетельствам современников, и его устной речи был свойствен такой трилингвизм). Большинство его писем написаны на иврите с вкраплениями русских и немецких выражений.

6.3.1934

Дорогой Аарон, очень радовался Вашим строкам. Жалко, что Вы не остановились проездом здесь. Трудно начать. Я уже здесь три месяца, тут живут некоторые мои Heidelbergские ученики. Я думаю здесь остаться до мая, так как я надеюсь тогда уже иметь новый немецкий паспорт. Собираюсь потом переселиться в Paris. Там тоже несколько учеников heidelb[ергских] и berlins[ких]. И они желают, чтобы я был там ковеа мидраш sein [18]. Я был там в октябре, и мне очень понравилось там жить, но сначала хочу кончить вопрос паспортный. От Мар[тина] Бубера получил приглашение: вернуться обратно в [нрзб] Aschkenas и занять место в новом институте еврейских наук [19]. Он очень старался меня уговаривать и предложил «goldene Berg» [идиш «золотые горы»]. Но все друзья категорически отговаривали делать этот шаг. <...> Тут в Голландии пока антисемитизма нет. Народ религиозный. Тут еще осталось немного того духа, который вызвал Реформацию.

2.

1.5.1935

Дорогой Аарон! <...> У меня за это время ничего особенного не случилось. О моей поездке в Палестину не могу еще конкретно сообщить, так как переговоры еще не кончились. Некоторые хотят, чтобы я поселился в Haife, а другие – в Jerusaleme. Все это решится просто с экономической точки зрения. Я продолжаю еще мой курс о Маймониде, он имеет успех и среди голландских евреев. Проблема была так поставлена: что может нам дать маймонизм в настоящее время. Маймонизм как задача. <...> с Маймонида нужно несколько тогов снять [20] и проблема приблизится более к решению. Много еще нужно думать. <...>

3.

11.7.1935

Дорогие друзья! Благодарю вас за в[аше] приглашение «показать Лондон». К большому сожалению, я раньше решения палестинского вопроса не могу приехать, как я вам уже писал в предыдущем письме. Вопрос не так прост. Здесь у меня есть *existenz minimum*, а там неизвестно, так как ученики мои живут не на одном месте: в Jerus., Tel-Av., Haife. Ну, увижу. Во всяком случае, я не должен торопиться, так как это уже последняя станция, *wer weiss?* Я буду очень рад слышать о вашей работе и как вы себя чувствуете в вашей умной стране – гуляйте побольше, а работайте поменьше! Я вспоминаю последнее берлинское лето, как мы много гуляли по озерам *Wie der Deutsch sagt: Ende gut alles gut* [\[21\]](#). С сердечным приветом, желаю вам всего хорошего.

4.

16.4.1936

<...>

[Приписка к письму.] [Софья] В[ладимировна] [\[22\]](#)!.. Я еще не потерял веру, что Истина = Б-г (как прор. Иеремия видит) победит. И эта вера = убеждение мне облегчает пережить это гнусное, гадкое время.

5.

Эрнст Симон – проф. Карлу Дармиштадтеру (иврит)

13.2.1964

<...>

В поездке по Европе я проезжал Голландию. Был 1938 год, учитель жил в Схевенингене. У меня было 10 часов между прибытием парохода и его отплытием из Роттердама. Конечно, я посетил бывшего учителя. Он был мне рад, спросил: «Сколько времени у тебя есть для меня?» Я ответил. Он сказал: «Как жена? Как семья?» Я ответил: «Хорошо».

Он сказал: «Поучимся немного», – и мы читали две вещи. Во-первых, из Торы: 49-ю главу Берешит – о благословении Яковом Шимона и Леви. После того рабби попросил меня усилить борьбу с террором в Палестине, чем я был тогда очень занят.
<...>

Я вспомнил также, что, когда я сидел в комнате г-на Рабинкова, д-р Магнес [\[23\]](#) старался убедить его поехать в Иерусалим профессором Талмуда в университете. Он думал, думал, но в конце концов не решился. По сути, он не был сионистом, полагая, что народ Израиля уже побывал на станции под названием «государство». Вообще, он был человеком самым независимым и не хотел быть вовлеченным ни в одно учреждение, партию или организацию. При всем экстремизме личности, с легкостью и тяжестью исполнения заповедей, он не любил ортодоксию франкфуртского извода и говорил иногда о ней очень резко. Я помню, что он сравнил ее с банкой консервов, которая лежала дольше, чем положено, и, когда ее откроешь, из нее вырывается отвратительный запах (он выразился еще более остро).

Он учил нас за минимальную плату. Вел образ жизни предельно скромный, и каждый раз было трудно пронести украдкой в его комнату небольшую сумму. Немецкий он знал хорошо, но отказывался говорить на нем, боясь ассимилироваться. С профессорами, например философом-правоведом Радбрухом, которые приходили к нему за советом, говорил на идише. <...>

* * *

Рабинков так и остался в Голландии. Он не только вел семинар для студентов Гаагского университета, но и выступал перед широкой аудиторией. В архиве хранятся конспекты некоторых его лекций: «К вопросу о происхождении ессеизма» (Гейдельберг, 1916 год), цикл о Пророках (в том числе об Ирмеяу) и лекция «Жертва в иудаизме», прочитанная в апреле 1939 года в ВИЦО (Международной женской сионистской организации).

В последний год Рабинков неожиданно изменил своему аскетическому и одинокому образу жизни. Сразу после появления в Схевенингене прославленного ученого к нему пришла молодая учительница российского происхождения Тирца с горячей просьбой давать ей уроки. Сначала Рабинков отказывался – «сфера действий женщины – конкретика, а не абстракция», – но, узнав, что она обучает еврейских детей и горячо предана своему делу, уступил. Один из авторов воспоминаний о Рабинкове связал этот выбор с ностальгией по утраченной родине: «Будучи “русским”, он был предан родине, которую не видел в течение двадцати пяти лет, и не было случайностью, что он женился на женщине из этой страны»^[24]. Менее чем через год после женитьбы, после операции на желчном пузыре, З.-Б. Рабинков скончался. Проводить учителя на кладбище в Гааге пришли всего пятеро его студентов. Время было такое.



Эрих Фромм.1944 год

Его ученики

Ученики Рабинкова разъехались по миру. Уже в 1950 году Штейнберг с вдовой учителя, Тирцей Рабинковой-Ротбарт, обсуждая издание воспоминаний, начали составлять список учеников; его дополняли и другие энтузиасты. В него вошли люди многих специальностей, деятели еврейской и мировой культуры, граждане разных стран: Аарон Барт, глава Государственного банка Израиля; Мартин Бубер, философ; Нахум Гольдман, президент Всемирного еврейского конгресса; Исраэль Змора, председатель Высшего суда справедливости; Эрнст Симон, педагог; Эрих Фромм, психоаналитик и

философ; Ицхак Штейнберг, министр юстиции в первом ленинском правительстве; Аарон Штейнберг, философ, глава Департамента культуры Всемирного еврейского конгресса; Залман Рубашов (Залман Шазар), третий президент Израиля; Эрвин Фейст, писатель; Оскар Вольфаберг, раввин; а также – математик, профессор Еврейского университета Авраам Френкель, художник Герман Штрук, педагог и философ Эрнст Симон и др.

Эрвин Фейст писал Штейнбергу: «Память о нашем Рабинкове – самое высокое переживание последнего времени». Разбросанные по миру ученики продолжали видеть в учителе не только образец еврейской учености, но и пример интеллектуальной свободы и гуманизма. Среди этих учеников на первом месте двое: Эрих Фромм и Аарон Штейнберг.

Тема «Эрих Фромм и Рабинков» непременно присутствует в биографиях знаменитого психоаналитика. После смерти «гениального проповедника» раввина доктора Н.А. Нобеля (1922) Рабинков стал последним учителем Фромма. Юноша изучал при помощи Рабинкова не только Талмуд, но и учение Маймонида, и хасидизм. Парадоксально, но универсалистская интерпретация иудаизма «в значительной степени содействовала отходу Э. Фромма от ортодоксального иудейства и его приобщению к нетеистическому гуманизму»[\[25\]](#). Фромм вспоминал, что долго не решался признаться в своем решении, но Рабинков не расстроился.

Если столь значительным оказалось влияние Рабинкова на Э. Фромма, посещавшего его уроки в течение пяти лет, можно себе представить, каковы были плоды воздействия учителя на братьев Штейнберг. В их подростковом возрасте он поддерживал любознательность и упорство в познании, предлагая талмудические версии ответов на актуальные вопросы. Рабинковская концепция личности и общества органично вошла в мироощущение Аарона Штейнберга, избравшего философию своим призванием («О еврейском национальном характере», 1922). Вся его громадная научно-критическая и просветительская работа поддерживалась главной идеей – о непрерывности духовного развития еврейского народа и человечества. Многие философские и исторические темы – необходимость единства национальной идеи и религии, «маймонизм», «русское колено Израилево» и т. д. – несут на себе яркий след рабинковских размышлений. В отличие от учителя, А. Штейнберг не обошелся без статуса и титула, реализовал себя как общественный деятель, но внутренне постоянно дистанцировался от публичных оценок и «людизма» и хранил внутреннюю независимость, что было непросто[\[26\]](#). Учитель был необходим всегда: интернированный в германской деревне во время войны Штейнберг бежал тайком к нему, чтобы поговорить и восстановить веру в себя.

В сущности, за эти два месяца ничего не случилось, если не считать нескольких хороших книг, которые я успел прочесть, тех или иных новых интересов, пробудившихся во мне (отчасти благодаря беседам с Рабинковым 10–12 апр[еля] в Heidelberg'e). Несколько раз меня охватывало в эти недели то особое, ведомое мне с раннего юношества чувство беспредельных во мне возможностей, та возвышающая готовность меряться с кем угодно, то почти физическое ощущение крылатости и силы духа, которых я не знал в себе уже, по крайней мере, три года.

(Дневник. 18 мая 1916 года.)

И через полвека, когда солидный ученый и лидер еврейства отталкивался от простых истин, преподанных когда-то Рабинковым, чтобы проверить адекватность своего экзистенциального мышления:

По старому еврейскому обычаю в ночь на Рождество не полагается «учиться». Вспоминаются разные объяснения причудливого правила, включая версию Рабинкова, по которой в эту зимнюю ночь опасно было пускать еврейских детишек в их средневековые школы для вечерних занятий ввиду возбужденного состояния окружающего нееврейского населения – благоразумнее было не напоминать о преданности евреев старому учению и закону даже после появления их же «Спасителя». Записываю это характерное для Рабинкова предпочтение «простых» объяснений и спрашиваю себя вместе с тем, не нарушаю ли я уже одним этим освященного обычаем запрета. Разве толкование бытовых явлений не научное занятие, и «фольклор», особенно еврейский, не под запретом в ночь на Рождество? А если так, то я должен воздержаться и от толкования собственной вчерашней фразы о том, что «Библия меня увлекает».

(Дневник. 24 декабря 1967 года.)

Несомненно, что Рабинков – явление межвоенного еврейского культурного Ренессанса, столь же значимое, сколь и другие просветительские инициативы, но осуществленное не коллективом и не группой лиц, а одиночкой.

[1] Рабинков говорил: «У Канта и Г. Когена я учился мудрости, систематичности, но способы особого философствования я получил в ешиве Тельши».

[2] Ицхак-Нахман Штейнберг (1888–1957) – писатель и публицист, один из лидеров левых эсеров, министр юстиции в первом коалиционном правительстве Ленина (1917–1918), эмигрировал из России в 1922 году, глава территориалистской «Фрайланд лиге». Один из активнейших участников еврейского культурного ренессанса между двумя войнами (в Берлине и Лондоне). С 1944 года – в США.

Аарон Штейнберг (1891–1975) – младший брат Ицхака, философ, публицист, критик, деятель международного еврейского движения. Один из основателей петроградской Вольной философской ассоциации, с 1922 года в эмиграции, с 1934 года – в Лондоне, глава Департамента культуры Всемирного еврейского конгресса и его представитель в ЮНЕСКО. Автор книг: «Система свободы Достоевского», «Достоевский в Лондоне», «Достоевский».

[3] Сам текст воспоминаний об учителе, над которым очень серьезно и долго работал А. Штейнберг, в его архиве отсутствует и, насколько нам известно, в печати не появлялся.

[4] Ученики ешив обедали у жителей местечка – каждый день в новом доме.

[5] «Бессмертные души» (ивр.). Вот как этот эпизод описывался в воспоминаниях А. Штейнберга: «Чтобы задержать наводнение и не дать “утопической” Революции потопить веру, я в следующем году попросил нашего преподавателя Талмуда З.-Б. Рабинкова изложить письменно главные аргументы в пользу Бессмертия. Его “меморандум” появился в “Единении” в моем переводе с “раввинского” на русский» (Архипелаг [рукопись]. Archives for the History of the Jewish People [Jerusalem], A. Steinberg’s Collection. Box VI. Далее номера box’ов этого архива указываются в тексте).

[6] Fritz Gumpertz. Reminiscences of Shlomo Barukh Rabinkow // Sages and Saints. Ed. by Leo Jung. New Jersey, 1987. P. 108.

[7] М. Унна. Для единства и уединения. Иерусалим, 1975. С. 41–42 (иврит).

[8] Rabinkow S.B. Individuum und Gemeinschaft im Judentum // Die Biologie der Person. Ein Handbuch der allgemeinen und speziellen Konstitutionslehre, herausgegeben von Th. Brugsch und F.H. Lewy, Band 4: Soziologie der Person. Berlin–Wien, 1929. S. 810.

[9] Ibid. S. 823.

[10] Yehoshua Wolfsberg (Aviad). Reminiscences of Shlomo Barukh Rabinkow // Sages and Saints. P. 108.

[11] F. Michael. Reminiscences of Shlomo Barukh Rabinkow // Ibid. P. 117.

[12] Erich Fromm. Reminiscences of Shlomo Barukh Rabinkow // Ibid. P. 104.

[13] The Autobiography of Nahum Goldmann: Sixty Years of Jewish Life. N.Y., 1969. P. 106.

[14] Функ Р. Эрих Фромм: страницы документальной биографии. М., 1998. С. 31.

[15] J.E. Vleeschhouwer. Reminiscences of Shlomo Barukh Rabinkow // Sages and Saints. P. 121.

[16] «Очень редко приходилось ему наслаждаться прекрасным пейзажем. Типичной была его реакция, когда, гуляя с ним в винограднике, я указывал на красоту пейзажа: «Да-да, природа прекрасна, но Тора еще прекраснее» (M. de Hond. Reminiscences of Shlomo Barukh Rabinkow // Ibid. P. 115).

[17] Эрнст Симон (1899–1988) – педагог и философ. Вместе с М. Бубером и Й. Магнесом (см. примеч. 23) основал в 1920-х годах в Палестине организацию «Брит Шалом», выступавшую за создание двунационального государства.

[18] Здесь: иметь там постоянные уроки, открыть школу (ивр., нем.).

[19] Видимо, речь идет о Центре еврейского образования во Франкфурте, которым руководил М. Бубер.

[20] Тога (лат. toga) – верхняя мужская одежда у древних римлян; здесь: обнажить истину.

[21] Как сказано по-немецки: «Конец хорош – все хорошо» (нем.).

[22] Жена А. Штейнберга.

[23] Йеуда Магнес (1877–1948) – еврейский религиозный и общественный деятель; с 1922 года – в Эрец-Исраэль; с 1925 по 1948 год – президент Еврейского университета в Иерусалиме.

[24] F. Michael. Reminiscences of Shlomo Barukh Rabinkow // Sages and Saints. P. 118.

[25] Старовойтов В.В. Жизнь и творчество Эриха Фромма // Журнал практической психологии и психоанализа. 2007. № 1 (<http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20070109>).

[26] Штейнберг А. Литературный архипелаг. Вступ. статья, подготовка текста и комментарии Н. Портновой и В. Хазана. М., 2009. С. 17.

«ЧЕЛОВЕК АСТРОНОМИЧЕСКИХ ПЛАНОВ»

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ЗИНОВИЯ ГРЖЕБИНА

Ėāīēā Pīēāā

*...Īāīē n-ēōāpō īāīŷ ēīīōōāīēpōēīīāōīī, āōāēā - īāāīīēēīī
āīēūāāēēīā ā ŷ āū n āāīāīēūnōāēāī āīāō īīnēāē ē āūŷāīēō - ōīēūēī āū īā ī āōāēē
īīā āāēāōū nāīā āāēī - ēāāōāēūnōāī, ēīōīōīā īōē āīāō ōōāīīnōŷō āīā-ōāēē
ēāāīōīīā ēōēūōōōīīā cīā-āīēā āēā ēī āāō, - ē ōī īīāēīī āūēī āū nāāēāōū, āīēē āū
īā ī āōāēē!*

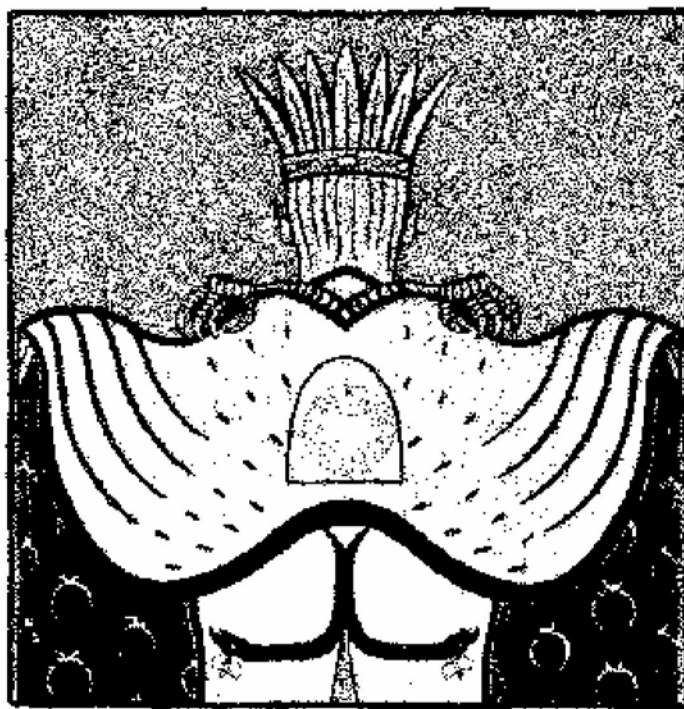
Эти строки принадлежат одному из лучших издателей первой четверти XX века Зиновию Гржебину и взяты из его письма к Максиму Горькому от 24 февраля 1924 года. Позади оставалась почти 20-летняя захватывающе интересная, а порой и весьма опасная работа в издательском деле, на рубеже двух революций и Гражданской войны, а впереди маячила безотрадная жизнь безденежного эмигранта...



Зиновий Исаевич Гржебин родился в июле 1877 года в Чугуеве, небольшом украинском городке, в семье отставного николаевского солдата, отслужившего полный 25-летний срок службы. (Это, кстати, дало впоследствии возможность будущему издателю обойти известные ограничения для евреев на жительство в Москве и Петербурге.) По окончании Харьковского художественного училища (1899 год) Гржебин поехал учиться живописи в Мюнхен, где поступил в знаменитую мастерскую Шимона Холлоши. Вместе с ним училось немало русских художников, в том числе будущие члены творческого объединения «Мир искусства» Игорь Грабарь и Мстислав Добужинский. И хотя, по словам последнего, Гржебин «очень усердно работал и был одним из любимых учеников Холлоши», не изобразительное искусство, а издательское дело стало настоящим его призванием.

В начале 1905 года, оставив Париж, где он продолжал учиться живописи, Зиновий Исаевич появился в Петербурге с идеей создания нового художественного журнала, наподобие «Мира искусства», незадолго до того прекратившего свое существование. Однако, в отличие от него, Гржебин предлагал сделать журнал отчетливо сатирическим, бичующим как правые, так и левые политические и художественные уклоны и направления, что в значительной мере перекликалось с известным немецким еженедельником «Симплициссимус». Собрав вокруг нового дела лучшие тогдашние литературно-художественные силы – М. Горького, Л. Андреева, А. Куприна, В. Серова, И. Билибина, М. Добужинского, Е. Лансере и других, – Гржебин выпустил в конце 1905 года первый номер журнала «Жупел», сразу обратившего на себя всеобщее внимание и ставшего своего рода визитной карточкой начинающего издателя. До сих пор удивляет, как этот мало кому известный художник, совершенно новый человек в столичных творческих кругах, сумел за весьма короткое время привлечь столь разных, порой даже равнодушных к общественным делам людей, а также преодолеть различного рода организационные и материальные трудности, чтобы осуществить чрезвычайно смелое и даже рискованное издание!

Чтобы понять внутренний механизм этого «обыкновенного чуда», процитируем одно из типичных писем Гржебина, направлявшихся им к будущим участникам журнала. «Та маленькая польза, какую может принести с собой наш орган делу России, может быть и большей, и меньшей, – писал он своему соученику по Мюнхену И. Грабарю. – Все будет зависеть от того, насколько мы готовы к этому как художники и как граждане. Успех мы будем иметь с самого начала, и это только как граждане; этот успех не нам, художникам, нужен – он нужен общему делу. Это докажет, что жизнь со всех сторон пробивается и никакая цензура и проч. не в силах будет удержать ее»^[1]. Своим личным примером и мужеством Гржебин заражал других. Так, он сделал для журнала едва ли не самую злую карикатуру на Николая II, которого изобразил в виде «Орла-оборотня».



Дальнейшая судьба журнала, как и его редактора, были довольно характерны для того времени: едва власти осознали, что острый кризис прошел, они дали волю цензорам и стали одно за другим закрывать «расшалившиеся» журналы и газеты, а особо провинившихся сотрудников привлекли к уголовной ответственности. «Жупел» был

запрещен после третьего номера, а на 28-летнего Гржебина было заведено судебное дело, завершившееся тем, что он был осужден и посажен в одиночную камеру знаменитых «Крестов». Однако и сидя в тюрьме, бывший редактор продолжал сокрушаться о закрытии «Жупела», выражая при этом надежду, что художники не бросят начатое дело. Так и случилось: расширенная редакция нового сатирического журнала «Адская почта» лишь сменила вывеску, продолжая начатое Гржебиным дело. В июле 1906 года, по выходе 4-го номера, конфискованного полицией, журнал был запрещен. К этому времени, благодаря хлопотам С.С. Боткина – царского врача и известного коллекционера – удалось наконец освободить и Зиновия Исаевича.

Неудача с журналами все же не подорвала веры Гржебина в свое предназначение, и уже 9 ноября 1906 года в письме Горькому он предлагает ему участвовать в новом проекте – издательстве «Шиповник»: «Я достал деньги, выбрал деятельных товарищей и теперь имею возможность повести дело энергично и правильно»^[2]. Вместе со своим компаньоном, Соломоном Юльевичем Копельманом (1881–1944), Гржебин начал с выпуска литературно-художественных альманахов «Шиповник», к сотрудничеству в которых привлек крупнейших литераторов и художников России начала века: Л. Андреева, А. Блока, В. Брюсова, К. Бальмонта, Ф. Сологуба и др. Немалой популярностью пользовались и «Северные сборники» издательства, благодаря которым русские читатели познакомились с известными скандинавскими писателями: К. Гамсуном, С. Лагерлёф, А. Стриндбергом и др. Наряду с выпуском отдельными книгами сочинений Дж. Байрона, Г. Флобера, Г. Уэллса, Марка Твена, А.Н. Толстого, М. Пришвина, А. Ремизова и других произведений художественной литературы, в «Шиповнике» увидели свет и труды крупных общественно-политических деятелей: К. Маркса, Г. Плеханова, К. Каутского. Широкую популярность, например, получила книга Каутского «Античный мир, иудейство и христианство» (1909) – единственный, разрешенный в то время автором перевод с рукописи. В дальнейшем изданий «Шиповника» особую известность приобрели «История живописи всех времен и народов» Александра Бенуа (1912–1917), его же монография о Ф. Гойе (1908), прекрасно составленный и отлично отпечатанный сборник графических работ О. Бердслея (1906) и «Календарь русской революции» (1917), иллюстрированный ведущими художниками начала века. Здесь следует подчеркнуть, что большинство изданий Гржебина отличались известной изысканностью внешнего оформления, что составляло одну из важнейших забот бывшего художника.

Гораздо менее известной страницей издательской деятельности Гржебина остается его участие в работе еще одного петербургского издательства – «Пантеона». Видимо, замалчивание этого факта в свое время было вызвано нежеланием Гржебина попадаться на глаза цензурному ведомству, в «черных списках» которого он фигурировал после истории с «Жупелом». К тому же официальным владельцем «Пантеона» был зарегистрирован муж его сестры, журналист Михаил Семенович Фарбман (1880–1933), который успешно вел дело, пользуясь профессиональными советами Гржебина, и в течение пяти лет (1907–1912) подготовил около 50 изданий.

Среди сравнительно немногих изданий классиков зарубежной литературы, которые вышли в «Пантеоне», можно назвать, например, произведения Вольтера, Мопассана, Киплинга, Уайльда, опубликованные в переводах К. Бальмонта, С. Городецкого, К. Чуковского, Ф. Сологуба и др. Особенно же удачным воплощением широко задуманного проекта стало издание библейской книги «Песнь песней Соломона» в новом поэтическом переводе Абрама Эфроса. Книга была дополнена интересной вступительной статьей Василия Розанова и комментариями переводчика, а также ценными приложениями: «Песнь песней и критика», «Песнь песней в русской поэзии (Антология)»

и «Песнь песней в русской музыке». Прекрасно отпечатанная и оформленная (были использованы декоративные виньетки из древних еврейских свитков), эта книга в короткое время выдержала два издания: в 1909 и 1910 годах.

В 1918 году Гржебин по предложению Горького включился в организацию одного из первых советских издательств – «Всемирной литературы» и, как свидетельствует Добужинский, «испытал новый, необыкновенный даже для него, подъем деятельности, увлекся мыслью нового колоссального издательства, предвидя в нем огромный двигатель культуры»[3]. Думается, что Гржебин вдохновился прежде всего тем, что его давняя идея создания «Пантеона мировой литературы», к разработке которой он в свое время успел только подступиться, получит при государственной поддержке совершенно иной, необходимый этому делу размах. Судя по подготовленному вскоре Каталогу изданий «Всемирной литературы» (1919), включающему около 1500 названий книг и свыше тысячи авторов, можно с уверенностью сказать, что предприятие было затеяно действительно небывалое. Не случайно Горький, в предисловии к Каталогу, не без гордости подчеркивал: «По широте своей это издание является первым и единственным в Европе». В редакционную коллегию издательства вошли М. Горький, А. Блок, В. Брюсов, А. Луначарский и другие, а в качестве сотрудников было привлечено более 80 крупнейших писателей, литературоведов и историков (в их числе Н. Гумилев, К. Чуковский, Б. Эйхенбаум и др.).

Дом Гржебина на Потемкинской улице, напротив Таврического сада, был в это тяжелое, голодное (а зимой – и холодное) время излюбленным местом встреч друзей и сотрудников издателя. В своих мемуарах, опубликованных в английском журнале «Solanus» (1987, № 1), Елена Гржебина, одна из трех дочерей Зиновия Исаевича, так рассказывает об атмосфере, царившей тогда в их доме: «По вечерам у нас часто собирались друзья – Серафима Павловна Ремизова, Юрий Павлович Анненков, Шкловский, Кузмин, <...> А.Н. Бенуа и многие другие. После традиционного чая устраивались всевозможные игры, которыми увлекались взрослые не меньше детей. Играли в шарady, в прятки, в фанты и т. д. <...> Иногда устраивались музыкально-поэтические вечера. Кузмин садился за рояль и пел каким-то милым придушенным голосом свои очаровательные песенки»[4].

Постоянным участником этих дружеских встреч был и Корней Чуковский, привязавшийся к детям издателя. Вспоминая об этом в своей знаменитой «Чукоккале», он добавил, что Ляля Гржебина – старшая дочь издателя – стала героиней его стихотворной сказки «Крокодил». Помните:

Ì èèàÿ ääâî:-èà Èÿëä-èà!

Ñ èèèèé äèÿëà Ìíà

È í à Òàâðè:-àèèé èèèöà

Ääðä äèèäèèà Ñèíí à



И. Билибин. Обложка журнала
«Жупел», 1905 год, № 2



Титул книги «Песнь песней Соломона».
(СПб.: Пантеон, 1910 год)

Возвращаясь к работе Гржебина в издательстве «Всемирная литература», следует отметить, что, несмотря на первоначальную поддержку большевистского руководства, гигантский замысел потонул в различного рода организационных трудностях, в том числе ведомственных неувязках с бумагой, деньгами и пр. В результате этого вместо впечатляющей цифры 1500 вышло лишь 72 издания так называемой «Основной серии». Всего же за время своего существования (1918–1924 годы) «Всемирная литература» выпустила не более 220 названий книг и десятков журналов...

Уже к середине 1919 года, когда в издательстве было набрано свыше 1500 печатных листов текста, но, несмотря на строгие приказы Ленина и Красина, не было выпущено ни одной книги, Гржебин понял, что пора основывать собственное издательство и начинать печатать книги за границей. Эту идею горячо поддержал М. Горький, который сам стал во главе Редакционного совета нового частного «Издательства

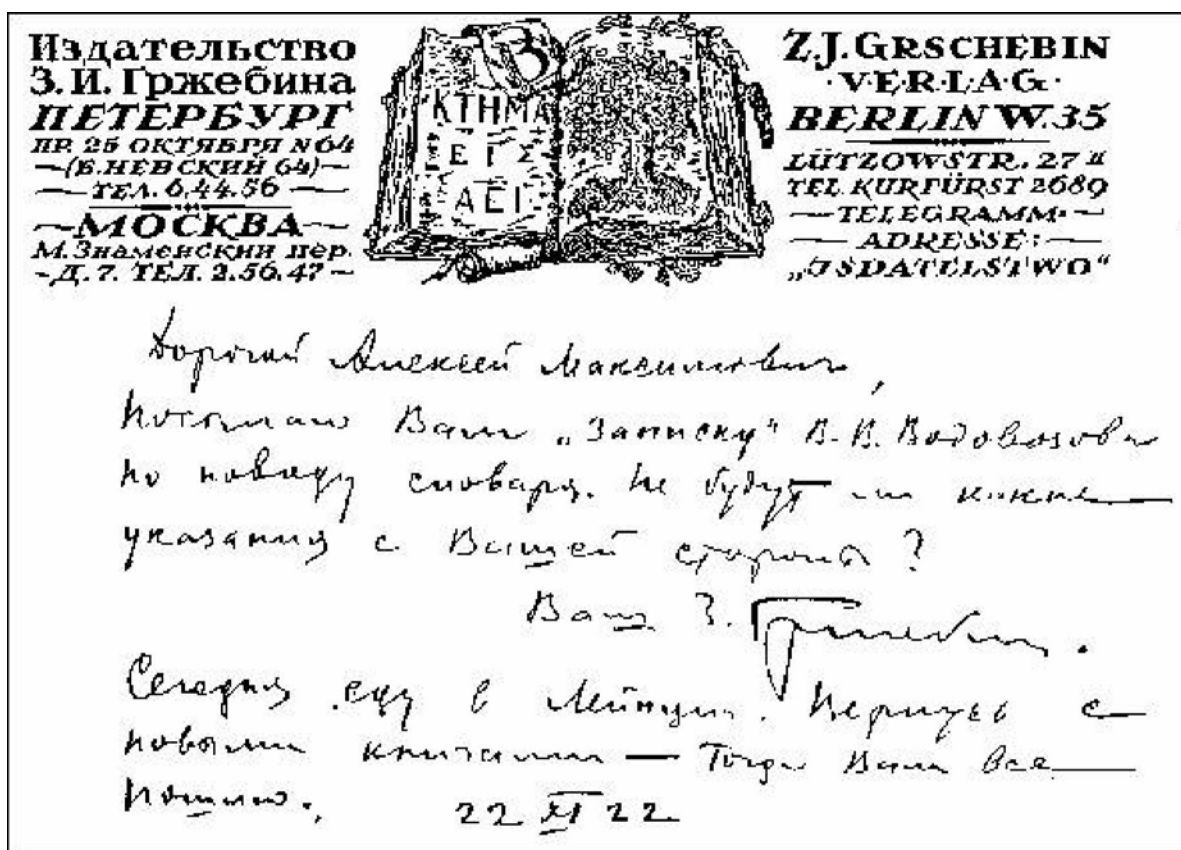
З.И. Гржебина». А уже 21 мая 1919 года в письме к В.В. Воровскому – заведующему только что организованным Госиздатом – Горький так объяснял мотивы создания нового частного издательства: «Из тяжелого опыта “Всемирной литературы” и других начинаний я убеждаюсь, что в России нет возможности печатать книги. <...> Где же выход из этого положения? Его – на мой взгляд – нашел мой старый приятель, Зиновий Исаевич Гржебин, человек энергичный и в книжном деле опытный. Он предполагает печатать книги за границей»[5]. И далее, в том же письме, подробно ознакомив Воровского с редакционным аппаратом будущего издательства и с составом его потенциальных сотрудников, Горький вновь, с присущими ему страстностью и пафосом, обращается к важному госчиновнику: «И вот я горячо прошу Вас помочь всем, чем можете, Зиновию Гржебину осуществить это дело. Да, это будет частное предприятие, но где иной выход для снабжения страны духовной пищей? <...> Нужно создавать новую интеллигенцию, орудием ее создания может быть только книга»[6].

Однако редколлегия Госиздата отклонила идею государственного субсидирования частного издательства и предложила Гржебину взять на себя печатание книг «Всемирной литературы» в Финляндии на условиях оплаты Госиздатом всех типографских расходов. Со временем планы обоих издательств тесно переплелись, причем в них явно проявилась тенденция Гржебина, навеянная просветительскими идеями Горького, к универсализации своего издательства. Например, он предполагал выпускать историко-культурную библиотеку «Жизнь мира», в которую намечалось включить свыше десятка серий, в том числе «Историю возникновения и развития русского государства», «Народное творчество», «Летопись революции», серию биографий замечательных людей и т. д. Особое внимание уделялось серии художественной литературы, состоявшей из основных произведений русской классики и современных авторов. Кроме того, был разработан еще ряд издательских направлений: «Искусство», «Детская литература», «Человек и природа»... Причем внутри отдельных тем должны были печататься не только популярные брошюры и капитальные монографии, но, в случае необходимости, также географические карты и наглядные пособия для школ и вузов. Наконец, гигантские планы издательства нашли свое адекватное выражение в «Каталоге издательства З.И. Гржебина» (Берлин, 1921). Развернутая в нем программа была столь захватывающа и в то же время казалась столь утопичной, что заставила многих знакомых издателя, хорошо представлявших трудности реальной жизни, говорить об авторе не иначе как о «человеке астрономических планов».

Однако если в устах доброжелателей Гржебина этот эпитет звучал скорее полушутливо-полууважительно, то те же планы издательства, просочившиеся в прессу еще до появления каталога, вызвали необыкновенное раздражение у совпартаппаратчиков, зачастую не умевших толком наладить даже выпуск простейшей агитационной литературы. С тех пор Гржебин стал подвергаться всевозможным нападкам и инсинуациям на всех уровнях: от ретивых большевистских журналистов и различного ранга госиздатовских руководителей, вроде известного «гржебиноеда» С.М. Закса, до самого Ленина, записавшего в своей «памятке»: «Уничтожить изд-во Гржебина, контрреволюционное»[7]. И только благодаря Горькому, который его постоянно поддерживал и защищал, Гржебину удалось выдержать весь этот безудержный натиск завистников и ортодоксов от большевизма и даже попытаться продолжить свою издательскую деятельность за рубежом.

Уже сам по себе вопрос о перенесении за границу печатания книг, издаваемых Гржебиным и «Всемирной литературой», вызвал бурю негодования в руководящих большевистских кругах, а потому решать его пришлось на самом высоком уровне: на заседании СТО (Совета Труда и Оборона), проходившем под председательством Ленина.

И все же Горькому с Гржебиным удалось добиться положительного решения, но, увы, как показало дальнейшее развитие событий, не обещанной суммы. Уже находясь в служебной командировке в Берлине и разместив ряд заказов в немецких типографиях, Гржебин убедился, что расплачиваться с ними и с сотрудниками издательства придется ему самому, поскольку деньги от Госиздата так и не поступили. О степени его самоотдачи в это время свидетельствует письмо от 20 декабря 1920 года, адресованное им Горькому. В нем, в частности, есть и такие строки: «Устал, устал так, что хочется заболеть и лежать без памяти»[8]. А в другом письме того же времени, направленном наркому просвещения Луначарскому, Гржебин с нескрываемой обидой писал: «Я везу в Россию первые плоды своей работы. По ним я буду просить Вас судить о ней. Смею думать, что мною сделано не только все, что можно было сделать в тех неимоверно тяжелых и ненормальных условиях, в какие я был поставлен, но и гораздо больше. Мною отпечатано св. 50 книг, изготовлена огромная серия всевозможных учебных пособий, из которых я на первое место ставлю географические карты и глобусы по новой орфографии. <...> Я знаю, <...> сколько злобных сплетен свилось вокруг моего имени и моей работы. Я счастлив, что наступает момент, когда я смогу представить Вам свои труды. <...> Утешаю себя лишь тем, что это обычный удел всех, кто не прячется за рамками ненаказуемого переливания из пустого в порожнее, а пытается создать что-нибудь реальное и полезное»[9].



Письмо З. Гржебина к М. Горькому от 22 ноября 1922 года

Видимо, несмотря на свое сочувственное отношение к издательству, Луначарский, как и Горький, не мог полностью оградить его от постоянных нападков, а потому Зиновий Исаевич, сохранив деловые связи с Госиздатом, решил покинуть Россию и поселиться в Берлине. Одновременно с ним, осенью 1921 года, перебрался в Италию Горький. После этого дальнейшее сотрудничество с Советской Россией стало еще более затрудненным, а сам Гржебин сделался гораздо уязвимее для своих московских недоброжелателей, поставивших себе за цель привести его к полному банкротству.

Однако «окончательная акция» готовилась исподволь, и в течение некоторого времени госиздатовские чиновники делали вид, что заинтересованы в деловом сотрудничестве: давая Гржебину очередные заказы на печатание учебной и русской классической литературы, они обещали за все со временем расплатиться. Со своей стороны, издатель продолжал верить если и не в слова своих соотечественников, то в скрепленные их подписями договоры. Работая на свой страх и риск, вкладывая в дело собственные и брата средства, влезая в долги, Гржебин все еще надеялся доказать тайным и явным недоброжелателям, что его, по их словам, «рекламная программа» вовсе не утопия, а вполне доступная реальность.

К сожалению, благородные устремления и жертвы Гржебина во имя просвещения «пролетарских масс» уже давно никого не волновали в Госиздате. Там были поставлены другие задачи: срыв «всех и всяческих» планов издателя, его дискредитация в глазах высшего партийного и советского руководства, а также прекращение доступа на российский книжный рынок гржебинских изданий. Наконец, к весне 1923 года замысел советских партийных чиновников был приведен в исполнение: появился специальный циркуляр Главлита, требовавший принять срочные меры «к недопущению» в дальнейшем ввоза из-за границы и распространения в РСФСР книг издательства Гржебина. Таким образом, был перекрыт основной канал, питавший издательство и придававший смысл его существованию. Ко всему прочему, это вело издательство к полному разорению. Чуть позже, другим циркуляром, перекрыли путь в Россию еще несколькими, едва ли не самым лучшим заграничным русским книгоиздательствам того времени: «Возрождению», «Геликону», «Петрополису» и «Эпохе». По мнению поэта Вл. Ходасевича, большевистское правительство пошло еще дальше: распуская слухи о допуске в Россию эмигрантских изданий, «не содержащих агитации против советской власти и отпечатанных по новой орфографии», оно хотело заставить зарубежных издателей произвести серьезные затраты в расчете на огромный внутрirosсийский рынок, а затем, перекрыв границу, вконец разорить их. «Так и вышло, – вспоминает Ходасевич, – целый ряд берлинских издательств взорвался на этой мине». Нельзя также не согласиться с его мнением, что с Гржебиным поступили еще коварнее: «Ему надавали твердых заказов на определенные книги, в том числе на учебники, на классиков и т. д. Он вложил в это дело все свои средства, но книг у него не взяли, и он был разорен вдребезги»[\[10\]](#).

В мае 1923 года в Берлине состоялся третейский суд между Гржебиным и Торгпредством РСФСР, нарушившим ранее заключенный договор. И хотя суд высказался в пользу издателя, это не смогло существенно помочь его делу, и он вынужден был вскоре покинуть Берлин и переехать в Париж.

Незадолго до отъезда во Францию Гржебин «назло надменному соседу» устроил в Берлине прощальную итоговую выставку – свидетельство его чрезвычайно напряженной и необычайно плодотворной деятельности с мая 1922 по октябрь 1923 года. Среди 225 книг, выпущенных им за это время, посетители могли увидеть самые разнообразные издания: от русской художественной литературы и изданий по искусству до учебных пособий и географических атласов. Наряду с сочинениями М. Лермонтова, Н. Лескова, Н. Некрасова и А. Чехова в издательстве увидели свет произведения А. Белого, М. Горького, С. Есенина, Ф. Сологуба, А.Н. Толстого и др. Встречались на выставке и изысканные библиофильские издания, такие, как трехтомное сочинение П. Муратова «Образы Италии», выпущенное в малом формате на рисовой бумаге; третье (и лучшее!) издание замечательной книги И. Лазаревского «Среди коллекционеров»; очаровательное издание «Первой любви» И. Тургенева с иллюстрациями В. Конашевича... А любители поэзии могли увидеть здесь едва ли не лучший сборник Б. Пастернака «Сестра моя

жизнь», с портретом автора работы Ю. Анненкова. Выставка заинтересовала весь «русский Берлин» и имела большой успех.

Первое время в Париже Гржебин никак не мог успокоиться и поверить до конца в предательство Госиздата. Оптимист по натуре, он, пожалуй, никогда прежде не был так близок к отчаянию. Слухи о банкротстве издательства быстро распространились среди эмигрантов. В том же 1924 году по уже надломленному морально и физически Гржебину наносится удар со стороны монархически настроенных эмигрантов: в парижской «Русской газете» появилась анонимная клеветническая статья, в которой он объявлялся «наемником большевиков», богатеющим на большевистских деньгах (не исключено, кстати, что и эта акция могла быть инспирирована «доброжелателями» из Госиздата). Друзья Зиновия Исаевича сразу же встали на его защиту. В частности, известный писатель-эмигрант Михаил Осоргин написал ему: «Каждый видный общественный деятель время от времени подвергается подобным непристойностям. Думаю, что деятельное уважение друзей служит некоторой компенсацией для тех, кому приходится терпеть от гнусных выходок анонимов»^[11]. В конце концов через год пришло опровержение с извинениями и от редактора «Русской газеты» А.И. Филиппова, который «после всестороннего расследования по этому поводу» пришел к заключению, что редакция была введена в заблуждение^[12].

Неудачи, преследовавшие Гржебина в это время, все же не смогли противостоять его неодолимому желанию вернуться к любимому делу, и он вновь, на этот раз в Париже, пытался наладить издательство. Этому предшествовала организованная им в 1924 году выставка книг и материалов «Издательство З. Гржебина», завершившаяся передачей всех его изданий парижской Тургеневской библиотеке. К середине 20-х годов относится активная переписка Гржебина с писателями, частые встречи со своими бывшими сотрудниками и друзьями, постоянное обсуждение издательских замыслов... Дом Гржебина, как ранее на Потемкинской улице в Петрограде, вновь становится открытым для многочисленных гостей, главным образом принадлежавших к миру литературы и искусства. Однако, несмотря на отдельные удачные издания, как, например, выпущенная совместно с А.Г. Вишняком (бывшим владельцем «Геликона») книга А. Левинсона о знаменитой балерине Анне Павловой (1928), организовать в Париже полноценное русскоязычное издательство Гржебину так и не удалось. Впрочем, во Франции это почти никому не удавалось: не было той благоприятной обстановки, которая сложилась в начале 20-х годов в Германии.

О последних годах жизни издателя сохранилось сравнительно немного сведений. Наиболее достоверные из них содержатся в его переписке с Горьким, а также в воспоминаниях дочери, Елены Зиновьевны. Вот как, в частности, она описывает общее состояние отца в этот период: «Неудачи тяжело отразились на его материальном положении, на его здоровье и на его моральном состоянии. Сердечная болезнь, которой он начал страдать еще в Берлине, прогрессировала...»^[13] Особенно критическим стало положение Гржебина осенью 1928 года: ему буквально нечем было платить за квартиру в Париже, а за неуплату налога власти грозились высылкой из Франции. И тогда он, явно из безысходности, схватился за последнюю соломинку.

В одной из русскоязычных парижских газет Гржебину попала на глаза заметка о том, что в новое собрание сочинений Горького, которое предпринял Госиздат, входят и произведения, ранее опубликованные в его сборнике «Избранные рассказы». Тут он вспомнил о дарственном письме Горького от 20 ноября 1919 года, в котором тот передал ему право на издание этой книги, подчеркнув: «...эта книга – Ваша собственность. Я прошу считать распоряжение это маленькой любезностью, которой я хотел бы ответить

Вам на Ваше долголетнее дружеское отношение ко мне, мой милый и уважаемый друг»[\[14\]](#).

Поняв этот дар не только как «вечное» право на переиздание сборника в раз определенном составе, но и как получение всех 20-ти сочинений писателя, входящих в него, в полную литературную собственность издателя, Гржебин решил обратиться к Горькому с просьбой о выплате гонорара за печатание «его рассказов» как в ранее вышедшем, так и в готовящемся к изданию новом собрании сочинений писателя. Не вдаваясь в подробности этой тяжбы, в равной мере неприятной для обоих ее участников, хочу лишь отметить, что Горький, посчитавший это требование необоснованным, хотя и не сразу, но все же откликнулся на зов о помощи и перевел своему многолетнему другу и соратнику определенную сумму. Правда, они уже не могли оказать какое-либо существенное влияние на материальное положение Гржебина, и 4 февраля 1929 года, вконец отчаявшись, после тяжелых переживаний, он умер от разрыва сердца. Так трагически оборвалась жизнь одного из талантливейших российских книгоиздателей – еще одной жертвы «великого» Октябрьского переворота.

[\[1\]](#) Грабарь И. Письма 1891–1917 / Ред.-сост. Л. Андреева, Т. Каждан. М., 1974. С. 375–376.

[\[2\]](#) Гржебина Е. З.И. Гржебин – издатель // Solanus. 1987. № 1. Р. 11.

[\[3\]](#) Добужинский М. Воспоминания. М., 1987. С. 301.

[\[4\]](#) Гржебина Е. С. 17.

[\[5\]](#) Архив А.М. Горького. М., 1964. Т. 10. Кн. 1. С. 11.

[\[6\]](#) Там же.

[\[7\]](#) Цит. по: Народное образование. 1958. № 2. С. 87.

[\[8\]](#) Вайнберг И. Все будет оценено – не может быть иначе // Евреи в культуре русского Зарубежья. Вып. 1 / Сост. М. Пархомовский. Иерусалим, 1992. С. 178.

[\[9\]](#) Письмо от 20 дек. 1920 г. // Там же. С. 179–181.

[\[10\]](#) Ходасевич Вл. Горький // Современные записки [Париж]. LXX [1940]. С. 132.

[\[11\]](#) Письмо от 9 февр. 1924 г. // Гржебина Е. С. 24–25.

[\[12\]](#) См.: Письмо А. Филиппова от 13 февр. 1925 г. // Там же. С. 26–27.

[\[13\]](#) Гржебина Е. С. 27.

[\[14\]](#) Цит. по: Гржебина Е. С. 28.

ДОМИК В КОЛОМНЕ

Àðéààéé Èíààééüü àí

Один из моих друзей, человек умный и ученый, спросил меня, начитавшись моих эссе: «А где же твоя концепция еврейской культуры?» «Читай дальше», – ответил я со страхом. Если он будет читать дальше и дойдет до конца, его ожидает разочарование, а меня – разоблачение. Ведь нет никакой концепции, и культуры еврейской тоже нет. Слово тарбут, каким зовут культуру в современном иврите, в Талмуде сопряжено с прилагательным «злой»: злое воспитание, языческое поведение. Это у римлян – культура, у греков – пайдея, а у нас – Тора. Отложить надолго разоблачение, написать еще много маленьких эссе я не в силах. Не то чтобы синтез и анализ вызывали у меня затруднение: с учеными статьями нет проблем. Иное дело – хариза, нанизывание.



Что такое нанизывание? Об этом мы читаем в толковании на «Шир а-ширим» («Песнь песней»). Сказано в Песни песней: «Прекрасны в подвесках щеки твои, в ожерельях нанизанных – шея твоя» (1:10). Бен Азай сидел и толковал Тору, и огонь пылал вокруг него. Пришел к нему рабби Акива и спросил: «Уж не тайнами ли Колесницы ты занимался?» «Нет, – ответил Бен Азай. – Я сидел и нанизывал слова Торы одно на другое, и слова Торы – на слова Пророков, и слова Пророков – на слова Писаний, и слова веселились, словно только что даны на Синае, и сладостны были как на Синае, а на Синае – разве не в огне они даны? Ведь сказано: “И приблизились вы, и стали под горою, а гора пылала огнем до сердца небес – мрак, облако и мгла” (Дварим, 4:11)».

Г-сподь упаси меня сравнивать себя с великим мудрецом! Я не Бен Азай, я не был в числе четырех, вошедших в Пардес, как он, я не утратил, как он, рассудок ради разума. Ради любви к Торе я не отказался от любви к женщине, как отказался Бен Азай. Но и я нанизываю слова Торы на слова Писаний, слова Писаний на слова Пророков, а слова Пророков на слова поэтов, и так пишу эссе. Нить, на которую нанизываю, я тку из себя как паук, тку из своего бедного опыта и своей жалкой фантазии. И нить моя коротка, и веселье мое недолго. Где же мне набраться тем для новых эссе?

Да и как отыскать в Талмуде концепцию? Талмуд будто смеется над нами, привыкшими к вступлениям и заключениям, к обобщениям и прочей научности. Кто ищет введение в начале трактата и выводы – в конце, будет удивлен. Возьмем, например, трактат «Сота». Сота – женщина, подозреваемая мужем в неверности. По аналогии, сота – Израиль, неверный Б-гу. Как и Израиль, сота должна пройти испытание, выпить горькую воду, воду, наводящую проклятие. Если она виновна, то живот у нее опухнет и бедро опадет. Если же невинна – останется невредимою. Но с тех пор, как умножились в Израиле развратники, не стало горькой воды. А перед приходом мессии каждое поколение – хуже предыдущего. «Когда умер рабби Меир, не стало сочинителей притч. Когда умер Бен Азай, не стало усердных. Когда умер Бен Зома, не стало толкователей. <...> Когда умер Йеуда Князь, не стало скромности и страха перед грехом». Эти слова Мишны некий чтец (из тех, что учили Мишну наизусть) произнес перед мудрецами. Сказал ему рабби Йосеф: «Не говори более: “Не стало скромности” – ибо есть я!» А рабби Нахман сказал: «Не говори более: “Не стало страха перед грехом” – ибо есть я!»

То ли рабби Йосеф действительно был таким скромником, а рабби Нахман боялся греха, то ли Талмуд иронизирует, нам неведомо. Но на этом трактат «Сота» внезапно кончается. Желаящие могут вывести отсюда концепцию.

Или того пуще. Возьмем трактат Талмуда «Недарим» («Обеты»). Он помещен в разделе «Нашим» («Женщины»), хотя отнюдь не все обеты касаются семейно-брачных дел. В конце трактата мы читаем рассказ о любовнике с классической завязкой: муж пришел домой, а любовник спрятался за дверью. На глазах у любовника змея заползла в дом и укрылась в листьях салата, который муж собрался откусать. «Не трогай салат! – закричал любовник. – Там змея!» По этому поводу один из мудрецов, Рабба, заметил: «Если бы он действительно совершил прелюбодеяние, то, конечно, желал бы мужу смерти, а не остерегал бы его. Ведь сказано: “Ибо прелюбодействовали и кровь на руках их” (Йехезкель, 23:37)». Другие мудрецы возразили Раббе: любовник мог вовсе не стремиться к смерти мужа, его могло вполне устраивать положение любовника. Ведь написано: «Краденая вода сладка, а утаенный хлеб приятен» (Мишлей, 9:17).

И все. Где же концепция, где обобщение? Где нравоучение? Разве что сладость краденной воды наводит на мысль о горечи воды, наводящей проклятие, которую пьет сота, но этого мало для концепции. Да и предмет уж очень легкий и мелкий, даже не совсем приличен. Место ли анекдоту в собрании мудрецов? Так и Пушкин начал свой шедевр «Домик в Коломне» с серьезных рассуждений о стихотворстве, а от них перешел к рассказу, удивляющему мелкостью темы и легкомыслием. В Коломне жила-была вдова с одною дочерью. Горе вдруг посетило их дом, умерла кухарка. Дочь привела покойнице на смену девушку Маврушу. Как-то раз вдова-старушка встревожилась, прибежала домой и... о ужас: «Пред зеркальцем <...> кухарка брилась!» Кухарка оказалась мужчиной. На этом интересном месте Александр Сергеевич попытался внезапно закончить поэму («кончить тороплюсь»), как он внезапно (и легкомысленно) закончил свой роман в стихах (муж Татьяны пришел домой, чтобы вдруг обнаружить там соседа своей жены, Онегина). Но помешал ему раздраженный голос читателя:

«Èàè, ðàçàá àñ òòò? Ðóòèòà?» – Áé Á-ñ

«Òàè àñ ò éóüà íèò àñí í àñ àñèè!

È ÷ àì ó æ ò àéçþ í í àí ýèè ò ðàññ àñ

Ñèèè èàèè ðàòü è ñ í îðàèèüáí þ øèè?

צאע אײַן אָפּ אַז אײַן עסאָדאַעע אײַזאָן!

װאַעײַט עײַן װײַס ײַדאַײַן אַדױאַ ײַאָ ײַאָעע?

אַ ײַאָעע װײַס װײַס אײַן ײַדאַײַן אײַזאָן?

- ײַאָ... עעע אײַזאָן ײַ עײַסאָן: עס אַדױאַ ײַזאָן...

Минуточку терпенья, любезный читатель, и я попытаюсь извлечь из Талмуда и нравоучение, и концепцию. В моем рассказе бритва также будет играть немаловажную роль. Речь пойдет о трактате «Назир». Его место в разделе Талмуда «Женщины» еще более сомнительно, чем место предыдущего трактата («Недарим»). Назир (назорей) – человек, давший обет не есть виноград, не пить вино, не стричь и не брить волосы. Назиром, например, был богатырь Шимшон (Самсон). Когда ему остригли волосы с головы, он лишился своей чудесной силы, так как нарушил обет. В конце трактата Мишны «Назир» мы читаем что-то очень невнятное о пророке Шмуэле (Самуиле), который также был назиром:

Шмуэль был назиром, таково мнение р. Нехорая, ибо сказано: «И бритва (мора) не коснется головы его»... Сказал р. Йосе: «А разве “мора” не есть страх перед людьми?» Сказал ему р. Нехорай: «А разве не сказал Шмуэль: “Как же я пойду? Ведь услышит Шауль и убьет меня”. И из этого видно, что мора (страх) перед людьми был у Шмуэля».



За видимой невнятностью – игра слов. Мишна нанизывает слова на слова, играет с созвучием: бритва – мора, и страх – мора. Назир Шмуэль не должен бриться, бритва (мора) не коснется головы его, но он испытывает страх (мора) перед людьми. Талмуд толкует это высказывание Мишны еще более невнятно, ссылаясь на пророка Йешаяу: «Ученики мудрецов умножают мир на земле, ибо сказано: “И все сыновья твои будут учениками Г-спода”». В чем смысл такого толкования? Мы поймем этот смысл,

если продолжим читать цитату из пророка: «Правдою будешь утверждена, далека будешь от притеснения, ибо не будешь бояться...» Речь идет об Израиле, который изображен женщиной. Израиль будет свободен от притеснения и страха. Страх (мора) перед людьми не коснется головы Израиля, как бритва (мора) не коснется головы назира!

Вот нравоучение, вот концепция: ученики мудрецов освобождают Израиль от страха перед людьми, прелюбодеи же лишены страха пред Г-сподом, и нет у них стыда. И не завидуйте их успехам у женщин, их похождениям! Когда-нибудь ведь им придется давать отчет, а их любовницам – пить горькую воду. Если же эта концепция кому-то не кажется убедительной, если она не отражает своеобразия еврейской культуры и не содержит ее (то есть культуры) соль и суть, то мне остается признать свое бессилие, процитировав последние слова поэмы «Домик в Коломне»:

...Áíëüà í è:áã

Í á áúæí áóü èç ðàííéàçà í íáã.

ВЕРА И ДЕНЬГИ

Аידען עעס

Государство Российское много и охотно помогает религиозным организациям. Выделяет земельные участки под строительство храмов и деньги на само строительство или реставрацию. Например, в ноябре 2009 года было объявлено, что только на восстановление Ново-Иерусалимского монастыря из федерального бюджета будет потрачен в 2009 году 1 млрд рублей, и аналогичные траты запланированы на 2010 и 2011 годы. На развитие ислама «при участии государства» выделено 800 млн рублей. Чтобы евреям не было завидно, отмечу, что из бюджета Москвы только на ремонт Московской хоральной синагоги было выделено свыше 222 млн рублей. Это, разумеется, далеко не полный перечень государственных трат на нужды верующих, но он дает представление о масштабах бедствия.



При этом важно отметить, что бюджетное финансирование религиозных организаций – явление не такое уж частое. Ведь государство у нас все-таки светское, и потому прямое выделение денег идет, как правило, под вывеской «реставрации памятников истории и культуры». Например, как в случае ремонта Московской хоральной синагоги или Исторической мечети в Москве, а равно и упомянутого Ново-Иерусалимского монастыря в Подмоскowie. О нем в указе президента Медведева так прямо и сказано: «В целях воссоздания исторического облика...» Но кроме денег федерального бюджета для восстановления монастыря создан благотворительный фонд во главе с первым вице-премьером правительства России Виктором Зубковым. Фонд собрал уже 450 млн рублей и 500 тыс. долларов. Что неудивительно при таком авторитетном руководителе. Среди благотворителей, уже получивших благодарности: ОАО «Газпром», ОАО «Банк ВТБ», районные администрации, школы, детские сады и дома инвалидов...

Собственно говоря, через такие фонды и всевозможные «попечительские советы» государство помогает верующим в значительно более широких объемах. Это называется «социальная ответственность бизнеса». В одном из монастырей Муром,

опекаемом главой Счетной палаты Сергеем Степашиным, благотворители даже не забыли о том, чтобы глаз уставших паломников услаждали павлины и китайские утки...

Но еще раз подчеркну: не надо завидовать. На еврейский Музей толерантности жертвовал свою зарплату сам Владимир Путин. А в состав наблюдательного совета по реставрации «Дома омовения и еврейского Преображенского кладбища» в Петербурге вошли полномочный представитель президента России в Северо-Западном округе Илья Клебанов и ряд бизнесменов.

Православных в стране больше всех, им, конечно, достается больше. Но и других тоже не забывают. Например, Анатолий Чубайс, возглавлявший РАО «ЕЭС», в 2003 году посетил Иволгинский дацан – главный монастырь российских буддистов и решил на два года освободить его от платы за электричество. В 2006-м, когда я беседовал там с настоятелем, ламы продолжали пользоваться светом безвозмездно, т. е. даром. Такое чудо они приписывали нетленному телу ламы Итигэлова, хранящемуся в дацане.

Должно ли государство заниматься сохранностью памятников архитектуры и истории? Конечно, должно. Может ли оно привлекать для этого предпринимателей, школы, детские сады и прочие бюджетные организации? Вот тут ответ уже не столь однозначный. Люди, разумеется, вправе жертвовать свои средства кому считают нужным. Но так называемая «социальная ответственность бизнеса» у нас превратилась фактически еще в один налог или, по меньшей мере, в услугу властям, сильно облегчающую отношения с ними. Но настоящая социальная ответственность бизнеса заключается вовсе не в строительстве храмов и даже детских площадок. Социальная ответственность бизнеса – это выплата работникам достойных и максимально возможных высоких зарплат. И всё. Иначе получается, как в анекдоте про алкоголика, к которому прибегает малолетний сын и кричит: «Папа, ура! – водка подорожала! Теперь ты будешь меньше пить!» А папа отвечает: «Дурак ты, сынок. Теперь ты будешь меньше кушать».

Лично у меня нет никаких сомнений, что Ново-Иерусалимский монастырь с точки зрения архитектурной и исторической – место уникальное. Главный собор, сооруженный по образу храма Гроба в Иерусалиме, производит впечатление. Он серьезно пострадал во время Великой Отечественной войны, и в 50-х годах прошлого века началась реставрация. Однако сейчас речь идет не о сохранности памятника, а о восстановлении монастыря – то есть объекта религиозного назначения. То же самое касается и Московской хоральной синагоги, и Московской исторической мечети. Речь идет не о культурном наследии, а в первую очередь, уж извините за канцеляризм, «культовых зданиях». И, на мой взгляд, участие государства, равно, кстати, как и крупных предпринимателей в их сооружении, воссоздании и тому подобное приносит неожиданные плоды. Не сладкие и полезные фрукты, а ядовитые поганки произрастают на почве, удобренной такими деньгами. По сути, пора уже говорить о растлении религиозных общин.

Духовное возрождение в России уже двадцать лет идет путем строительства железобетонных коробок за счет государства или «чужого дяди», а не создания религиозных общин. И это в равной степени относится ко всем традиционным для России конфессиям. Кто все эти двадцать лет строил храмы, мечети и синагоги? Религиозные общины? Что, люди сами приносили свои кровные рубли?

В феврале 2009 года на семинаре в Московском еврейском общинном центре раввин Йосеф Херсонский прямо заявил, что «Сохнут» и «Джойнт» стали сокращать свои расходы на поддержание еврейской жизни в странах бывшего Советского Союза: «Они

стали считать, сколько им стоит один еврей. Оказалось – очень дорого». Американские евреи пострадали от кризиса и, по словам раввина Йосефа Херсонского, не могут позволить себе прежних трат. Не могут этого и многие бизнесмены-евреи, чье состояние существенно уменьшилось. «Кризис поставил вопрос: насколько нам самим все это нужно и сколько мы сами готовы платить», – заявил раввин Херсонский. Но на самом деле этот вопрос надо было задавать не год назад, а двадцать лет назад. Если евреям нужна синагога в Москве, то московские евреи и должны ее построить. Каждый должен был вносить необходимую сумму: «Бедный не меньше, и богатый не больше». Как сказано в книге Шмот. Я не раввин, не претендую ничуть на право комментировать Тору. Но я эти слова понимаю именно так. Ибо что это за вера, если не требует ни малейших усилий, даже таких мизерных, как трата денег?

Но все пошло по другому пути. Храмы, синагоги и мечети строили либо чиновники за счет бюджетных средств, либо бизнесмены, которых те же чиновники «нагибали». Впрочем, были и такие бизнесмены, которые без давления властей охотно жертвовали. Но тут возникает вопрос: а всякие ли деньги можно принимать? Любое ли даяние благо? Не знаю, что по этому поводу говорили наши мудрецы, но обыкновенному человеку, выросшему в СССР, было в равной степени противно видеть своих «духовных лидеров» лебезящими перед политиками, сгибающимися в поклонах перед бандитами и вручающими гангстерам дипломы и ордена от имени своих конфессий.



От всего этого повсюду пахло недобрым коммунистическим прошлым. Точнее, его самым худшим проявлением: двойной моралью. С высоких трибун произносились правильные слова и призывы, а потом проповедники садились в подаренные бандитами лимузины и отправлялись отдыхать в особняки, бандитами же и построенные. Лояльность властям в обмен на бесплатные земельные участки, налоговые льготы, прямые и косвенные субсидии оборачивается позорными заявлениями политического характера.

Каковы же результаты такого религиозного возрождения? Недавно телеканал «Вести» сообщил: «В селе Медяны Нижегородской области продается мечеть. Цена – 600 миллионов рублей». Содержавший ее бизнесмен занимался игорным бизнесом и после запрета разорился. Где найти деньги, чтобы выкупить здание, имам Рамис Хазрат Ашрафетдинов не знает. Садаки, то есть пожертвования, на которую живет мечеть, явно не хватит. «В год мы собираем 200–250 тысяч рублей. Этих денег едва хватает на оплату электричества, тепла и воды. Мечеть ведь большая», – говорит имам.

Синагоги пока еще на продажу не выставлялись. Но если такое случится – не удивлюсь. А вот вновь построенные православные храмы хоть и не продаются, но уже закрываются. Такие случаи зафиксированы в одной из епархий Центральной России.

Если государство в самом деле заинтересовано в религиозном возрождении и действительно желает помочь верующим, то оно может это сделать. Достаточно внести поправки в закон о «Свободе совести и религиозных объединениях» и предусмотреть в нем: обязательное индивидуальное членство, обязательную же уплату членских взносов и запрет на любые виды сторонних пожертвований как от органов власти, так и от любых юридических лиц. Вот тогда-то мы и узнаем, действительно ли в стране 80% православных, 20 млн мусульман и 1,5 млн евреев, готовы ли они содержать своих священнослужителей и готовы ли сами священнослужители пересесть с лимузинов на трамваи.

ГОПАК

Î àòâé Ááí áí îéúúéé

То, что советско-африканская дружба всегда была крепка, – все хорошо знают. Многие даже помнят, как, гуляя вечером по парку, можно было в особо темном уголке неожиданно наткнуться на висящее в воздухе мороженое. Когда первый испуг проходил и глаза привыкали к темноте, постепенно становился виден хозяин мороженого – веселый парень из очередного Университета дружбы народов.



Этих ребят было великое множество, они пользовались громадным уважением, так как в газетах писали, что скоро Африка станет свободным континентом.

То ли по этой причине, то ли по какой другой, африканцев старались не называть в разговоре «неграми» – почему-то считалось, что это для них оскорбительно. На Украине, где, собственно, и произошли описываемые события, их называли «чернявые». Это было как-то необидно, тем более что так же называли цыган, кавказцев и молдаван, которых в городе было пруд пруди. Да и слово, если вдуматься, лишено национальной окраски.

Правда, следует заметить, к африканцам отношение было все же неоднозначным. Дело в том, что, хотя многие из них выглядели скромно, на самом деле были сыновьями африканских царьков и племенных вождей. Возможно, из-за этого их иногда заносило и возникали драки с местными. Местные, конечно, африканцев били, но били, опять же, аккуратно. Во-первых, потому что сколько их не бей – синяков не видно. Во-вторых, очень уж местным хотелось бананов и ананасов. Появление же этих диковинных фруктов в магазинах советская пресса связывала исключительно с полным и окончательным освобождением Африки от колониализма.

В одном южном городе, с местным отделением такого вот университета, должен был состояться концерт нашей студенческой бригады.

Это была летняя практика студентов Училища эстрадно-циркового искусства, а директора филармоний таковых не жаловали. Директора филармоний любили Соню

Ротару или Юру Антонова. В крайнем случае, в то время малоизвестного Валеру Леонтьева.

А особенно они любили и уважали Иосифа Кобзона, ибо Кобзон был способен на все. Это «все» заключалось в том, что он мог дать в любой «тырловке» сколько угодно полных концертов, ни на песню их не сокращая. При этом мог давать эти концерты, как киносеансы, – каждые два часа, ничуть не уставая. Когда приезжал Кобзон, директора филармоний брали на концерт своих жен. И те сидели в первом ряду, закрывая своими высокими начесами весь вид остальным зрителям. Эти начесы в народе называли «халами». Жены сидели с прямой спиной и строгим видом, подчеркивая неоспоримый факт, что именно их муж привез Кобзона. Но даже они размякали, когда Кобзон, отпев что-то партийное, переходил к еврейской тематике. И когда в зале начинал грохотать фрейлехс, то высокие «халы» качались в такт музыке, а руки директорских жен начинали хлопать в такт, но обязательно на первую долю.

Что касается нас, никому не нужных, то директора филармоний договаривались так: под водку и салат «оливье» один директор давал обязательство устроить для нас двадцать концертов и оплатить их, независимо от количества зрителей. Это называлось «брать на гарантию». За это другой директор должен был обеспечить аналогичный прокат талантов. Хорошо еще, если в этом качестве выступал какой-то ВИА с комсомольским репертуаром в первом отделении и «песнями протеста» – во втором. Но чаще нужно было прокатать что-то типа якутского ансамбля песни и танца «Северный олень». Кроме двадцати пяти гостиничных номеров, «олени» требовали еще и горячей воды, чтобы после выступления помыться, а это было категорически невозможно в Б-гом забытых колхозных гостиницах, которые гордо назывались «Домом колхозника». А еще «олени» возили с собой громадные бубны с натянутыми шкурами, которые странно пахли. Для шкур нужно было заказывать отдельный транспорт. Кроме того, гости с Севера требовали обязательную дневную репетицию, на которой, рассевшись в кружок, просто били в свои бубны, тихонько подвывая. Директоров филармоний это раздражало, тем более что договориться с «олениями», чтобы в конце концерта они спели и сыграли тот же фрейлехс, было категорически невозможно.

Мы были лучше! Мы были молоды, и любой зритель для нас был наградой. Нас было мало: два вокалиста, чтица украинского юмора, жонглер, пара танцоров и я – конферансье программы. Нас не пугали «тырловки». Мы возили с собой ящик электролампочек, ведь в софитах на сцене они чаще всего отсутствовали. Лом тоже был при нас – им удобно было, отогнав ленивых коров, вскрывать забитый крест-накрест отдельный вход на сцену. Начало концерта назначали на семь, но зрители приходили после вечерней дойки.

Мы прыгали по сцене, задыхаясь от собственного таланта, а по залу прыгали собаки и подвывали вокалистам. Один раз в зал неожиданно вбежал большой косматый черный козел. Интеллигентные колхозники, стараясь не сорвать концерт, держали козла за рога. Однако, на какой-то особо высокой ноте, он вырвался и стал штурмовать сцену. Пока его ловили, он успел сбросить на пол колонки и боднуть жонглера.

Директор клуба, одетый в ватник и болотные сапоги, потом долго извинялся, стараясь замять инцидент двумя трехлитровыми банками парного молока.

Но этот город, о котором идет речь, был, конечно, не «тырловкой». Прекрасный провинциальный город с трамваем, Центральным универмагом и продажей арбузов на улицах.

Наш концерт должен был состояться в кинотеатре «Сатурн», и это должен был быть концерт невероятный по значению, ибо, как шепнул нам администратор, придет сам директор филармонии, посмотрит и, может быть, возьмет кого-то на постоянную работу.

Постоянная работа! Звучало как музыка! Иметь постоянную работу означало, во-первых, сшить два костюма (белый и черный) за счет филармонии. Во-вторых, встать на жилучет и лет через семь получить двухкомнатную квартиру, ибо одна комната для жилья, а вторая – «кабинет». В-третьих, можно было обрести вожделенную разовую ставку – шесть рублей пятьдесят копеек. А если получится, то и восемь. От этих цифр сердце колотилось, и я с еще большим упоением вывязывал галстук и повторял слова вступительного монолога «Маршрут дружбы».

С этим монологом у меня никак не складывались отношения: забывал текст. Казалось, там все было логично. Ведущий выходит и говорит, что мы живем в такой стране, где куда ни поедешь – везде тебе рады. На Украину поедешь – чернобровая дивчина поцелует, в Прибалтику поедешь – «лабас денас» скажут. А если окажешься в Грузии, то не только напоят вином и познакомят со столетним дедушкой, но и скажут в конце: «Не забудь, дорогой, я к тебе в гости всей семьей приеду!» Я очень любил это место в монологе, потому что тут всегда дружно смеялись, и можно было чувствовать себя хозяином зала, хотя тебе всего девятнадцать лет. В девятнадцать лет трудно понять, что, когда на сцене ты говоришь одно, а в жизни происходит другое, слова не хотят запоминаться...

Я стоял в кулисе, тарабаня про себя слова, когда из соседней кулисы вынырнул Семен Израилевич, наш администратор. У него было прозвище «завпаникой». Прозвище было справедливым. Никто другой, кроме Семена Израилевича, не мог привезти нас на концерт в очередную «тырловку» за два часа до его начала. Он говорил, что у автобуса может лопнуть колесо и что молодые артисты «должны учиться уважать зрителей». И пока мы сидели на пыльных скамейках с костюмами в руках перед закрытым клубом, «уважаемые зрители» гнали домой коров и, завидев нас, снимали шляпы и вежливо кланялись.

– Вот видите, – удовлетворенно говорил Семен Израилевич, потирая руки, – сейчас они поужинают и придут.

– Коров возьмут? – мрачно спрашивали мы.

Семен Израилевич на такие реплики не обижался. Он тут работал уже сорок лет, недавно возил Кобзона и точно знал, что зал будет полон и без коров, а некоторые зрители даже будут трезвые. Он любил всех зрителей, даже пьяных.

Однако в этот раз Семен Израилевич вынырнул из-за кулис с перекошенным лицом, схватил меня за лацканы костюма и трагично прошептал: «Катастрофа!»

Я сразу его понял. У катастрофы было имя: саксофонист Володя.

С нами ездил маленький инструментальный квартет. Он сопровождал вокалистов, танцоров, да и вообще «на раз» делал все что угодно. Володя талантливо играл и талантливо пил. Напивался он всегда неожиданно, причем перед концертом, после чего шел спать всегда в одно и то же место – на сцену за киноэкран. Мы снимали с него костюм, выливали на него два ведра ледяной воды из ближайшего колодца, протирали, чтобы не простудился, одевали в костюм, и он покорно шел на сцену.

Прозвенел второй звонок. Положение было отчаянным – фонограмм музыкальных номеров не было.

Я постарался унять нервную дрожь, попросил Семена Израилевича принести пару ведер с водой и признался, что, возможно, концерт придется отменять.

Семен Израилевич трагически заломил руки, сказал, что, когда он возил Кобзона, ничего подобного и близко не было, что в зале директор филармонии и его жена и если отменится концерт, никого из нас не возьмут на работу. Я шикнул на него, и он побежал за водой.

В эту секунду зазвенел третий звонок.

Трясущимися руками я раздвинул занавес: в середине первого ряда усаживался толстый мужчина и женщина с прической-«халой».

Понимая, что разовая ставка шесть пятьдесят и пошив двух костюмов под угрозой, я рванулся за экран. Володя мирно посапывал на свернутой кулисе. Он был необычайно бледен. Мне была известна эта стадия – именно сейчас его не поднимешь даже цистерной воды.

Я про себя подумал, что Володя все-таки гад, развернулся и вприпрыжку побежал искать Семена Израилевича, однако в следующей кулисе неожиданно наткнулся на милиционера. Милиционер, толстый радостный дядька, поинтересовался, не я ли конферансье. Я печально подтвердил его догадку, но попросил Володю не забирать, потому что он хороший музыкант, и, возможно, мы его скоро поднимем. Милиционер ответил, что он никакого Володю не знает, но просит быстрее начать концерт, потому что в зале скоро должна начаться большая драка, и если со сцены кто-то будет говорить или петь, то, возможно, будет меньше крови.

Ничего не понимая, я снова раздвинул занавес, выглянул в зал и оторопел: зал мест на триста был разделен проходом посередине. Сто пятьдесят мест слева занимали африканцы, а сто пятьдесят справа – местная молодежь.

Захотелось тихо отойти за экран и лечь рядом с Володей, однако я не мог двинуться, ибо милиционер и подоспевший Семен Израилевич, схватив меня за руки, шептали в оба уха горячие монологи.

Семен Израилевич объяснял, что он не мог поступить иначе – развлечений в городе нет, а африканцы очень благодарные зрители. Они по-русски не понимают, но этого и не надо. Нужно просто выпустить чтицу украинского юмора, и пусть читает все, что знает, хоть по кругу. А еще она может просто ходить – этого будет достаточно. Когда была Соня Ротару, шептал Семен Израилевич, у нее сломался микрофон. Так вот, момент, когда она просто стояла и не пела, африканцам понравился больше всего.

Милиционер шептал в другое ухо, что местные купили билеты не на концерт, а на драку, что это старая традиция и что дрались даже на Кобзоне, пока он не перешел на фрейлехс. Он рассказал, что вся милиция города уже в фойе и он просто интересуется, на каком слове моего монолога им врывать в зал.

В это время артисты уже собрались на сцене и горячо обсуждали ситуацию. Вокалисты заявили: у них несмыкание связок и они петь не могут, тем более что Володя

напился. Чтица украинского юмора заметила, что ей не смешно. В ней еще живы воспоминания, как в Полтавской области на сцену выскочил какой-то идиот и разорвал на ней сорочку-вышиванку, при этом шепнув, что ждет ее после концерта у служебного входа. Что касается жонглера, то он сказал: с него хватает того деревенского козла и с нашим козлом-администратором он больше дел иметь не желает.

Семен Израилевич всплеснул руками и собрался что-то ответить, но в это время зал нетерпеливо засвистел, нервно зааплодировал, и в ту же минуту на сцене появились танцоры. Они были в гримерке и о предстоящем счастье ничего не знали. Подрыгав ногами, они спросили, после кого идут по программе. Под жгучими взглядами Семена Израилевича и потного милиционера я сказал, что они идут сразу после моего вступительного монолога. Пошел занавес.



Хриплым голосом я начал читать «Маршрут дружбы». Зал гудел, но это был зловеющий гул. Африканцы не понимали по-русски и вполголоса говорили о чем-то своем, африканском. Местные же не приглушали голосов, и я отчетливо слышал, как они договаривались, с какой стороны зала начать бить «чернявых».

Нужно было быстрее дочитать монолог и смываться. Я читал торопливо, пытливо вглядываясь в зал и пытаюсь угадать, кто именно начнет драку. В первом ряду, среди местных, сидел какой-то мордатый детина. На коленях он держал большой арбуз и большой нож. Я понимал, что арбуз он бросит в меня, а нож воткнет в ближайшего негра, который сидит с ним рядом, через проход.

Мой монолог закончился. Зрители отметили его истеричными аплодисментами. Так на утренниках дети аплодируют клоуну, который должен выпустить главное блюдо – Деда Мороза.

Заиграла музыка и танцоры выскочили на сцену. Пошел украинский танец.

Вдруг зал притих. Я судорожно выглянул в щелку. Драки не было – все с любопытством смотрели на сцену. Смотреть было на что. Ансамбль играл без Володи. Музыкальная тема не звучала, и танцоры прыгали под странное «умца-умца».

Первый танец закончился, начался второй. Это был классический гопак. Без мелодии, которую должен был играть Володя, он слушался и смотрелся еще более по-идиотски, чем первый.

Внезапно зал резко зашумел. В каком-то дальнем ряду встал двухметровый «чернявый» и со свирепым видом направился к ступенькам на сцену. Он прошел мимо мордатого, тот встал во весь рост, угрожающе сжимая арбуз. Танцоры отчаянно запрыгали в танце, справедливо предполагая, что их сейчас начнут бить. Семен Израилевич из кулисы стал делать отчаянные жесты милиционеру, который, испуганно втянув голову в плечи, пытался нащупать отсутствующую кобуру с пистолетом.

Тем временем негр поднялся на сцену, подошел к клавишнику и что-то ему шепнул, потом поднял Володин саксофон, сиротливо стоявший у синтезатора, несколько раз дунул в него и вдруг с ходу заиграл музыкальную тему.

Танцоры от неожиданности на секунду сбились, но продолжили выступление.

Зал взревел! Негр играл на саксофоне гопак! Такого этот город еще не знал. Танец закончился, но зал встал, требуя повтора. Номер повторили. Зал требовал еще! Громче всех орал детина с арбузом. Оказалось, что арбуз он уже надрезал ножом и совмещал приятное с полезным.

После пятого раза танцоры падали от усталости. Тогда гопак стали играть просто так, под дружные хлопки зала. Зал тоже танцевал. А в кулисе, обняв друг друга, заходились в танце милиционер и Семен Израилевич, причем последний умудрялся под гопак танцевать свой родной фрейлехс.

В первом ряду, изображая полное презрение к происходящему, поднялись толстый мужчина и его жена. С гневным видом они ринулись к выходу, тараня толпу. На них смотрели недоуменно-снисходительно. Дама бежала, придерживая рукой свою высокую «халу».

Внезапно заходили ходуном кулисы, и на сцену выкатился проснувшийся Володя. Посмотрев ошарашенно несколько секунд на негра, дующего в его саксофон, он как-то фатально махнул рукой и вдруг зашелся в танце вприсядку. На появление полупьяного таланта зал ответил новым радостным ревом.

В этот день драка не состоялась. «Чернявые» с местными ушли из зала в обнимку. Семен Израилевич жал нам руки, называл талантами и сравнивал с Кобзоном. Милиционер обещал благодарность от местного УВД.

Конечно, было обидно, что никого не взяли на работу, а пошив двух костюмов, ставка в шесть пятьдесят и квартира остались только мечтой.

Однако, согласитесь, это было не так уж важно на фоне нашего вклада в укрепление советско-африканской дружбы.

ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2010 ТЕВЕТ 5770 – 1(213)

УСКОЛЬЗАЮЩЕЕ ОТ ДИСКУРСА AFTER

Ἰ ἐὸἀἰἔ Ἀἰὸἀἰἔἔ

Что бы Герц Франк^[1] ни снимал, едва ли не все его фильмы трагичны, смерть как бы притягивает его камеру.

«Диагноз» (1975, оператор Сергей Николаев). Репортаж из кабинета патологоанатома.

«Последние праздники Эдгара Каулиня» (1980, оператор Калвис Залцманис). Празднование юбилея председателя колхоза завершается его похоронами.

«Высший суд» (1987, оператор Андрис Селецкис). Камера смертника. Исповедь приговоренного к казни. И в конце концов казненного.

«Жили-были “Семь Симеонов”» (1989, оператор Евгений Корзун). История семейного ансамбля «Семь Симеонов» с трагическим финалом: попытка бежать из СССР, захват самолета, штурм самолета – убитые, раненые.

«Еврейская улица» (1992). Фильм о Рижском гетто.

«Человек Стены Плача» (1997, оператор Леонид Броутман). Один из героев фильма – раввин Стены Плача рав Гетц – умирает.

Автобиографический «Флэшбэк» (2002) начинается смертью и завершается смертью. В первых кадрах фильма – гибель операторов от пуль рижского ОМОНа в ночном бою у здания МВД 19 января 1991 года на исходе советской власти, камера, выпавшая из рук убитого оператора, продолжает снимать. Множество смертей в фильме. Операция на открытом сердце с непредсказуемым исходом: под ножом хирурга сам Герц Франк. «Накануне мне позвонил оператор немецкого телевидения, мой знакомый Гриша Манюк, – что он в Иерусалиме. Я сказал ему: Гриша, тебя Сам Б-г послал... Завтра я ухожу в больницу. Камера с тобой?»^[2] Не каждый автор решился бы. Снятая Манюком операция могла бы стать трагическим завершением фильма – Герц Франк это сознавал. Не стала. Эпизод с умирающей женой, который, кажется, невозможно выдержать. Последние кадры: похороны жены, вид кладбища сверху, вид Иерусалима сверху – так души смотрят с высоты на ими брошенное тело.

Смерть в явном и обнаженном виде – не значит в натуралистичном: метафора сильней натурализма. Как та, например, выпавшая из рук, но продолжающая снимать камера. Притча о том, что можно убить человека, но нельзя убить правду.

В «Восстании масс» Хосе Ортега-и-Гассет вводит оппозицию прямого и непрямого действия. Прямое действие (суд Линча, к примеру) быстро, наглядно и удовлетворяет жадные ожидания зрителей; не прямое – скучная и длительная процедура судебного разбирательства с прениями сторон, неочевидностью и ненаглядностью результата. Воля диктатора реализуется прямым действием; разделение властей, парламентские дискуссии, учет мнения меньшинства, поиски компромисса, свободные выборы – атрибуты непрямого действия. Прямое действие – характерный признак

варварства, в том числе варварства современного, прямое действие соответствует сознанию масс, высвобожденному из пут социальных ограничений инстинкту насилия. Непрямое действие – плод культуры. Чем выше уровень культуры, тем «непрямей» действие, тем менее понятно оно сознанию масс.

Параллельно оппозиции прямого и непрямого действия можно ввести еще одну оппозицию: прямого и непрямого показа. Сегодняшний экран полон прямого показа насилия и эротики. Прямой показ прямого действия. Зрителя не удивить смертями, демонстрируемыми ему постоянно, в игровом кино и в неигровом кино, с массой возбуждающих подробностей. И с эротикой ровно то же самое. Это понятно: коммерческое искусство ориентировано на психологию массового человека – героя книги Ортеги-и-Гассета; манипулятивное, идеологическое искусство ориентировано на него же.

Смерть на экране – не прямой показ Герца Франка.

«Старше на десять минут» (1978, оператор Юрис Подниекс). Давний черно-белый фильм. Без единого слова. Чистая визуальность немого кино. Продолжается десять минут. Минималистский шедевр. Единственный, очень длинный, без монтажа, кадр, снятый в реальном времени: лицо ребенка на детском спектакле – только лицо ребенка, порой лица сидящих рядом, сцены не видим, точнее, видим ее опосредованно, ибо все, что происходит на сцене, отражается на лице. Заметьте, это не художественный фильм, не игра – это лицо ребенка, не подозревающего, что на него нацелена камера. Темнота зала кажется онтологической тьмой, из которой возникает лицо ребенка и в которую оно неизбежно должно вернуться. Одушевленная мимолетность жизни на фоне тьмы, обладающей первичностью, несокрушимой устойчивостью, неотвратимостью, мощью.

Экранный мир основателя советской художественной документалистики Дзиги Вертова построен главным образом на эффекте монтажных стыков. Конечно, в «Вечной репетиции» и других фильмах Герц Франк активно использует монтажный эффект («Старше на десять минут» впечатляющее исключение), но для него все-таки приоритетен длинный кадр: неторопливое и пристальное вглядывание в жизнь – его фирменная визуальная дисциплина; поэтому миры этих двух мэтров неигрового кино столь различны.

«Вечная репетиция» (2009) – формально «видеодневник», как неамбициозно определяет свой фильм сам автор. История создания и триумфов «Гешера» – одного из лучших театров Израиля. Десять лет снимал. Приходил на репетиции. На спектакли. Смотрел. Слушал. К нему привыкли. На него перестали обращать внимание. Стал как бы частью труппы. Формально видеодневник, конечно, – на самом деле это лишь одно из измерений «Вечной репетиции»: фильм больше, чем только повествование о «Гешере», – он об искусстве, о жизни, о смерти. «Вечная репетиция» – не прямой показ непрямого действия (жизни, уже преображенной театром в искусство). Сплав игрового (театр) и неигрового (документальное кино) искусства.

Я все думал, кого напоминает мне лицо Евгения Арье – главного режиссера театра. В «Вечной репетиции» оно постоянно возникает на экране, персонифицированный дух театра. Смотрит, переживает, волнуется, напряженно думает, восхищается. Это помимо тех эпизодов, где он активный участник процесса. Порой на его глазах появляются слезы. Так он захвачен. А это ведь всего лишь репетиция. А он ведь человек привычный, всю жизнь в театре – совсем не простодушный зритель с глазами на мокром месте.

Мальчика из «Десяти минут» Евгений Арье напоминает. И сцена точно так же отражается на его лице. Сохранил в себе детское.

«Вечная репетиция» полна эротики и смертей. В «Гешере» все это разделено на спектакли, разведенные во времени, – здесь же смотрится единым напряженным повествованием. Сколько уже сказано о Катастрофе – повторение способно превратить высокое и трагическое в привычный штамп. И, увы, превращает. В «Адаме бен Келеве» фарс, балаганная эстетика – нетривиальный, шоковый способ обновить переживание трагедийности и ужаса. Прекрасная обнаженная женщина, поза ее прямо апеллирует к боттичеллиевской Венере, уплывет в печь огненную. Евгений Арье склонен к пластическим аллюзиям. У Сандро Боттичелли рождение, в балагане Евгения Арье – смерть. Смерть своим визуализированным огненным жерлом поглощает не только эту женщину – она утягивает в свою ненасытную утробу еврейский народ, человечество, утягивает Сандро Боттичелли со всеми его картинами, всю европейскую культуру.

В «Деревушке» отчаянные попытки вдохнуть в погибшего жизнь, удержать его, уже взятого смертью, – река времен (сценический круг) уносит только что полного жизни человека. Показано многократно: репетиция, один спектакль, другой спектакль, опять репетиция. На экране это длится много дольше, чем на сцене. Как бы все новые и новые, несмотря на заведомую тщетность, попытки удержать жизнь. Удержать невозможно. Невозможно смириться. Сгущенный воздух трагедии.

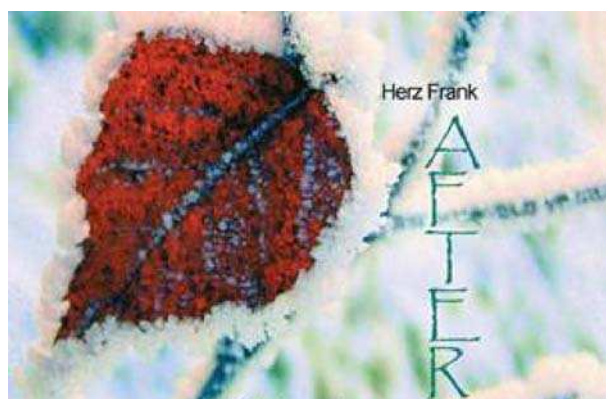
Смерть в «Адаме бен Келеве», смерть в «Деревушке», смерть в «Розенкранце и Гильденстерне», смерть в «Одесских рассказах», смерть в «Мастере и Маргарите» – парад смертей. «Агония и муки на любой вкус» – как обещает, не обманывая, персонаж «Розенкранца и Гильденстерна». Артисты, играющие убийцу и жертву в одном спектакле, в другом меняются местами. Сталкивая эти сцены, Герц Франк говорит о переселении душ. Эффект, Евгением Арье определенно не запланированный.

Чередой смертей, для которых изобретательный режиссер множит образы, а Герц Франк сгущает ужас своей камерой, завершается остро эротическими сценами: торжество жизни, любви, зачатия, творения нового.

Потом, и это уже эпилог, возникает каток на площади перед рижским Русским драматическим театром. Вечер. Фонари создают театральный эффект. Фасады Старого города кажутся сценическим задником. Камера Герца Франка превращает каток в мизансцену. Легкий снежок. Артисты катаются. Улыбаются. И все равно – оттенок неизъяснимой, не рационализируемой, никак не вытекающей из того, что мы видим, печали. Может быть, дело в освещении? На каток накладываются титры.

О как много имен в черных рамках! Мы же только что видели их живыми, с переливающимися через край страстями, они же только что выходили к рампе, кланялись, улыбались, зрители дарили цветы, черные рамки вписываются в драматургию, пустая сцена с залетевшим сюда из Риги снежком, понимай как знаешь: опустевшая камера смертника («Высший суд»), опустевший кабинет рава Гетца («Человек Стены Плача»), опустевшая постель («Флэшбэк»), опустевший от смерти мир – или место для новой жизни, для нового творения? И то и другое вместе. И пусть у гробового входа. Герц Франк посвятил фильм своему отцу. Один из первых эпизодов фильма – пронзительный крик младенца в «Одесских рассказах». И вальс, из гроба в колыбель переливающий, как хмель. В 1987 году Герц Франк снял фильм «Высший суд», завершающийся смертью. Следующий его фильм «Песнь Песней» (1989) – о родах, о страдании и радости матери, о рождении нового человека.

Последняя работа Герца Франка – «After» (2009). Нечто принципиально новое. Творческая свежесть немолодого уже человека. Сначала на экране возникает хайку автора:



Ēíáé îòéðüē ì íá

Óòðîî ñááüý òáéíó

Æèçüí îñäî ãðèè

Затем три прорастающих друг из друга статичных кадра. Три строки. Три кадра. Три минуты экранного времени.

Старый амбарный замок, преобразенный инеем.

Втопанные в землю, увядшие, обесцвеченные листья. Они наливаются понемногу праздничным красным цветом. Теряют автономность, сливаются, становятся частью чего-то большего.

И потом это величественное, таинственное, со сложной фактурой заполняет экран. Камера медленно отдвигается. Насыщенно-красный лист в опушке инея.

Конец фильма.

Кинохайку. Медитативная миниатюра. Медитативная музыка Шнитке. Визуальность не визуализация. Текст не комментарий. Два параллельных ряда. Притча, которую каждый поймет по-своему. Или не поймет по-своему. Замок есть – ключ утрачен. Правильный вопрос важнее ответа. Бытие не вмещается в дискурс. Ускользящее от дискурса after.

[1] Герц Вульфович Франк (1926, Лудза [Латвия], с 1993 года в Израиле) – один из лидеров мировой художественной документалистики, автор десятков фильмов, лауреат престижных международных премий, автор более ста публикаций о документальном кино, в том числе книг «Карта Птолемея» (М., 1975), «Оглянись у порога» (М., 2009).

[2] Текст из фильма. Цитируется по: Герц Франк. Оглянись у порога. С. 113.

ЧЕЛО ВЕКА

На четыре вопроса отвечают: Нелли Портнова, Эйтан Финкельштейн, Владимир Хазан, Леонид Кацис

Аאַיאָ אַיאָו אָאִי אַיאָע י אִי אַיאָ

В издательстве Ирины Прохоровой «НЛО» недавно вышел «Литературный архипелаг» – книга воспоминаний Аарона Штейнберга (1891–1975). «Архипелаг», занимающий пока что в рейтинге продаж магазина «Москва» неутешительное 391-е место, воссоздает духовные борения в Советской России первых послереволюционных лет, описывает деятельность знаменитой Вольной философской ассоциации (Вольфилы) в Петрограде и тесное общение русско-еврейского мыслителя, видного общественного и политического деятеля с поэтами, писателями и философами той поры. Пока я листал книгу, меня не оставляло ощущение, будто я когда-то ее уже читал и она настроила меня соответствующим образом – помогла пережить 1990-е, очистила от «смуты жизни» лихих годков, чем-то смахивающих на 1920-е штейнберговские. Новая книга, изданная под редакцией израильских ученых Нелли Портновой и Владимира Хазана, напомнила мне, как называлась старая, читанная мною: «Друзья моих ранних лет», и выходила она под редакцией Жоржа Нива. В голову, порукой давнишних воспоминаний, залетел рожденный бурей Семнадцатого вольфильский безумец дядя Миша, тот самый персонаж, который предостерег однажды свободных философов, озабоченных строительством единого здания мировой культуры, петроградским пророчеством: «Так как теперь строится Вавилонская башня, то неизбежным результатом будет разрушение России, рассеяние русского народа по всему лицу земли...» В коем рассеянии, ехидно продолжил я за дядей Мишей, несясь по антисемитским перегонам прошлого, вот уже век, как винят евреев, забывая, что немало их, «жидов-революционеров», оказалось за пределами Советской России, немало сопротивлялось «жидомасонскому» режиму в эпицентре событий. Одним из таких людей, посвятивших жизнь борьбе с оголтелым невежеством и хамством, как известно, не имеющими прописки и национальности и, что особо прискорбно, почему-то всегда оказывающимися в большинстве, был упомянутый выше Аарон Захарович. Не знаю, по душе ли ему оказалось бы место 391 в рейтинге одного из лучших книжных магазинов столицы, но друзьям его ранних лет: Брюсову, Блоку, Белому, Шестову, Замятину, Горькому и другим, уверен, было бы несколько неловко, как за себя, так и за Штейнберга. Да что там всем им – прорицателя дядю Мишу оно и то бы покорило, как минимум, навело бы на мысль, что строительство Вавилонской башни продолжается, как продолжают «бытовой декаданс» и рассеяние. Что, заметим, закономерно: причинно-следственных связей пока что никто не отменял. Нас же интересует вопрос, кому не повезло больше: нам или Аарону Штейнбергу? Чем «Литературный архипелаг» отличается от «Друзей моих ранних лет» и поможет ли продвинутому меньшинству пережить очередное «кризисное» лихолетье?

И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ ТОГО ЧЕТЫРЕХЛЕТΙΑ

Ἰᾶεὲ Ἰῖδὸῖῖᾶᾶ, ἔεὸ ἄδᾶὸ ὀδῖᾶᾶ



– Более пяти лет вы работаете с архивом Аарона Штейнберга. Должно быть, в нем достаточно исторических, личностных и художественных документов. Можете ли вы, по истечении этих лет, сказать, в чем заключается для вас вневременность этого мыслителя XX века, по вашим словам, « всю жизнь уклонявшегося от поэзии, писательства и публичности ради чистой философии, систему которой он так и не создал »?

– Необычность обнаружилась сразу, когда, открыв первую тетрадку дневника, я почувствовала такой высокий градус духовного напряжения, какой не встречала прежде. В русской культурной традиции преобладала скорее вольность, близкая эстетическому любованию миром. Конечно, были революционные демократы, народники, но энергия их изливалась вовне. Подросток Штейнберг (первые сохранившиеся дневники относятся к шестнадцатилетнему возрасту) смотрел на себя как на некую данную свыше драгоценность, которую обязался совершенствовать, ежеминутно шлифовать. «Моя работа с собою вовсе не шутка... Если серьезно собирать материал к своему делу, то оно и в самом деле подвинется вперед». Внешняя канва его жизни складывалась относительно благополучно: по сравнению с другими, он не был сослан, уехал в эмиграцию, прожил долгую плодотворную жизнь, заслужив уважение к себе. Активность ученого, публициста, критика, писателя, лектора, переводчика и культуртрегера не мешала философским устремлениям. В университетские годы он старался овладеть всеми философскими системами, чтобы на основе их построить собственную; во время первой мировой думал, как ввести европейскую катастрофу в центр универсализма и не опуститься с мессианских высот; в Петрограде, опираясь на Достоевского, в окружении русских романтиков-утопистов, поверил во власть идей в обществе, жизни личности, проповедовал: «Каждый должен сконструировать свое сознание так, чтобы можно было жить, чтобы мир мог существовать». В берлинской эмиграции стало очевидно, что практическая работа по соединению культур может увести его от решения задач «чистой философии». И наконец, в Лондоне, параллельно организаторской, просветительской и научной деятельности, Штейнберг сосредоточил свою духовную жизнь на исследовании собственного свободного сознания, в котором должна проявиться аксиома единства мира и множественность явлений, его составляющих. Он и раньше всячески доказывал эту аксиому в сочинениях по философии истории, истории религии и культуры, и раньше исследовал себя. «Приближается конец 83-го года моей личной истории. Она тянется и запомнилась как почти евклидова прямая: от Библии через Библию – с обрядами, с Субботой, Пасхой и Пятидесятницей. Но меня не раз подбивали покинуть прямой путь и свернуть в сторону. Это никому не удалось...» «Бессмертие личности в мысли», – говорил Мамардашвили, по-видимому ничего не слышавший о своем современнике.

– **Чем отличается ваша совместная с Владимиром Хазаном работа над книгой Штейнберга от известной одноименной книги, подготовленной Жоржем Нива и изданной в парижском «Синтаксисе» в начале 1990-х годов? Какие еще неожиданности нас ждут в исследовании архива Штейнберга?**

– Штейнберг не относится к числу хорошо известных деятелей культуры, его биография могла быть представлена лишь в общем виде. Архив позволил расширить ее, обосновать историю философского и духовного развития. Кроме того, сам текст воспоминаний был подвергнут проверке с точки зрения точности данных и событий. Следует пояснить, почему второе издание вышло под другим названием. Дело в том, что все время, пока Штейнберг работал над воспоминаниями, редактировал машинопись диктовок, он называл их «Литературный архипелаг первой четверти века». Но после опубликованного в Париже «Архипелага ГУЛАГ» возникла проблема. «Что же будет теперь с названием книги? Ведь слово “архипелаг” теперь неразрывно связано с Солженицыным», – писала Штейнбергу Фанни Каплан. Штейнберг согласился, но нового названия так и не нашел, в переписке они называли текст условно: «Воспоминания». Мы решили вернуть ему название, под которым он создавался, полагая, что по прошествии времени ассоциация с книгой Солженицына вряд ли вызовет у читателя вопрос о приоритете. Соответственно взглядам Штейнберга, все плоды духовной личности: черновики, рецензии, задуманное, наброски и планы, все зафиксированные контакты с миром – составляют ее наследие. «Архив как наследие» – можно сказать о нем. В двадцати трех картонных ящиках – документы на шести языках. Ждут публикации материалы по истории межвоенного еврейского ренессанса, культурной работе фонда Семена Дубнова, Кружка русско-еврейской интеллигенции, Всемирного еврейского конгресса, Пушкинского клуба в Лондоне, Лондонского отделения Идишского научно-исследовательского института, Общества друзей Еврейского университета, еврейской журналистики... Издание неопубликованных произведений и дневников готовится на родине Штейнберга, в Даугавпилсе.

– **Штейнберг писал: «Чем и как объяснить, что всю свою жизнь я дружу не с евреями, а главным образом с русскими? Мне приходит в голову, что известная поговорка: “Браки заключаются на небесах” простирается также на дружбу». Многие из тех, с кем он общался, – коллеги по Вольфиле – признавались в «особом» отношении к евреям, которых и там было немало. Многие и сегодня полагают, что и в петербургский период, и в берлинский Штейнберг мог бы резче относиться к проявлениям антисемитизма в среде элитной русской интеллигенции. Чем отличалась позиция Штейнберга от позиций Матвея Кагана, Михаила Гершензона, Израиля Цинберга?**

– У этой фразы, адресованной Карсавину, – сложный контекст. В буквальном смысле она справедлива относительно подростковых, университетских и петроградских лет, когда Штейнберг оказался в кругу русской интеллигенции, когда он, ученый секретарь, был окружен уважением членов Вольфилы и ее слушателей. В следующие периоды жизни в его окружении преобладали евреи. У фразы есть и принципиальный смысл. С точки зрения философского определения личности национальная принадлежность – лишь одна из граней «живого» человека, за ней не должна пропадать его сложность. А этими наблюдениями и занимается автор воспоминаний: наблюдает, что кроется за манерами и внешностью Брюсова, за улыбкой Блока, за порывистостью движений Белого, разгадывает «двойную душу» Горького, любит «самоцветными талантами» Замятина и Гумилева – на неповторимости каждого человека держится жизнь. Он не берется решить «еврейский вопрос» в масштабе России, но собирает материалы о коллективном российском антисемитизме, возникающем как предрассудок у каждого по-

своему. Блок подозрителен к евреям из-за их «косной» религии, Петрова-Водкина мучила совесть, что его жена Мари, хотя он и окрестил ее Марией Федоровной, была француженкой, и потому он брал реванш тем, что публично поносил Ветхий Завет. Иванов-Разумник, по происхождению полуармянин, тоже утверждал себя как русского и ни в коем случае не желал, чтобы инородцы завладели русской литературой. Белый – чистый сосуд духовной энергии, он уверен, что защищает от евреев самобытность русской культуры... Отдельная глава посвящена визиту к Розанову, юдофобские сочинения которого вызвали негодование молодого философа. Но, окунувшись в теплую семейную атмосферу розановского дома, жалея его дочерей, он смягчился. «Сердце мое беззащитно», – вспоминал Штейнберг через много лет свои ощущения. Свою задачу он, как представитель еврейской культуры, работавший одновременно в культуре русской, понимал по-своему, исторически и универсально, к чему «резкость» или «мягкость» выражения не имела отношения. Со всеми следует вести диалог. Карсавин считал, что еврейскому народу следует перейти в православие и его друг Штейнберг должен сделать почин, в крайнем случае, присоединиться к евразийству. Русский философ, выдвигающий такие идеи, от этого не становится антисемитом, с ним нужно спорить. Как спорить и с отказавшимся от еврейского имени Львом Шестовым. В 1928 году Штейнберг выступил с четким, полным спокойствия и уверенности «Ответом Карсавину», который в эмиграции оценили как самое достойное заявление, прозвучавшее от имени мыслящего русского еврейства.

– **Книга Штейнберга, вышедшая в «Синтаксисе», наделала много шума. Ее смакуют в Интернете даже сегодняшние антисемиты. Что, на ваш взгляд, она добавляет к уже сложившимся образам Брюсова, Иванова-Разумника, Мейера, о беседах и встречах с которыми вспоминает Штейнберг? Почему философ, «подводя итоги», обратился именно к этому периоду своей жизни, ведь запоминающихся встреч и «крутых маршрутов» было порядком?**

– Действительно, можно было вспомнить о бурной жизни в довоенной Германии, когда юный философ делал поразительные успехи в науке, или о своем блестящем участии в берлинской эмиграции, когда вместе с кучкой еврейских интеллигентов издавал газеты, открывал фонды, выпускал энциклопедии, писал, переводил – в надежде остановить еврейство от движения к ассимиляции. Не менее плодотворными были лондонские десятилетия, когда он уже чувствовал себя не эмигрантом. Приступив к написанию обширной автобиографии, Штейнберг начал с детства, но написал только одну главу – о революции 1905 года. Друзья торопили: «Мемуары, прежде всего, нужны ваши мемуары». Пришлось выбирать; оказалось, что лучше петроградского четырехлетия не было. Во-первых, он был молод, полон энергии – «еврейский мальчик», явившийся в русскую столицу с последними идеями немецкого неокантианства, во-вторых, он понимал «скифов», исповедовавших идеал мессианской философии, и они понимали его. Вместе смогли продержаться несколько лет, ибо совпали оба жизненных начала: талантливость и самобытность каждого из членов Вольфила и объединяющая их цель сохранить свободу мысли. Вольфила стала моделью человеческого содружества вообще. Вспоминая те годы, Штейнберг писал из Берлина: «Память о последних питерских годах живет во мне непрестанно, и на расстоянии я еще больше ценю наш небольшой кружок, цепляясь за который мы благополучно переплыли через эти годы».

ПРОСТОЕ СЧАСТЬЕ «ЕВРЕЙСКИХ УЛИЦ»

Υέοαί Θεί έαίυαοάεί, ίέίηαοάεί, ίάέέοέηο



– Целью Вольфилы, по неоднократному заявлению Аарона Штейнберга, было понять «смысл революции в духе философии». Изгнание вольфильцев из Советской России, их отъезд «по собственному желанию» свидетельствуют о том, что цель была достигнута, они о революции все поняли, а революция все поняла о них?

– Не знаю, как насчет цели «вообще», но конкретно Штейнбергу крах Вольфилы сослужил хорошую службу в плане избавления от известных иллюзий.

– Вы специалист, так сказать, по невезению Штейнберга, автор внятного и тонкого эссе об одном из самых ярких представителей «национально-культурной автономии», канувшей в вечность. Скажите, невезение Штейнберга, помимо всеобщих исторических черт, как-то связано еще с «еврейским счастьем», «броском костей»?

– Слово «невезение» применительно к Штейнбергу носит весьма условный характер. Да, он не составил себе имени в какой-нибудь науке или псевдонауке. Но всю жизнь после отъезда из Советской России занимался делами конкретными и чрезвычайно важными. Это просто счастье, что на «еврейской улице», столь бедной яркими или сколько-нибудь значительными личностями, был такой человек, как Аарон Штейнберг. Его вклад в возрождение еврейской, главным образом культурной, жизни в период после Холокоста трудно переоценить.

– Как отнеслись русские интеллектуалы – «скифо-вёрстовцы» и не только – к новому творческому этапу Штейнберга, к его знакомству с Семеном Дубновым, автором монументальной «Истории еврейского народа», которую Штейнберг начал переводить на немецкий язык?

– Думаю, никак. В конечном счете Штейнберг был в той компании чужаком. К тому же эмиграция – это всегда повод начать жизнь с чистого листа.

– Жорж Нива подмечает: «Он (Аарон Штейнберг. – А. М.) чрезвычайно быстро привлекал внимание своих собеседников и располагал их к себе своим блистательным умом и неким интеллектуальным восторгом, некой восторженной свежестью ума. У него был “неприлично молодой вид”». Не помешал ли в итоге Штейнбергу этот самый «неприлично молодой» вид стать крупным ученым, равным тем, кто вызывал у него когда-то восторг?

– Не внешний вид, но реальные обстоятельства времени сделали из Штейнберга того, кем он в конечном счете и стал, – политическим функционером, работавшим на ниве еврейской культуры. Было бы лучше, если бы он стал еще одним «крупным мировым философом»? Как посмотреть.

ОРИГИНАЛЬНО МЫСЛЯЩИЙ ЕВРЕЙСКИЙ ФИЛОСОФ

Ἀεὶαὲὶ ἐδ' Ὀαγαί, βεεῖεῖτ᾽ ἐπὶ ἰδέε εὐεὶ ὀδῶοὶδι



– Лихачев называл тексты, сопровождающие книгу, «текстологическим конвоем», – бывший лагерник имел на то право. Что за «текстологический конвой» окружил книгу, подготовленную вами совместно с Нелли Портновой? Насколько он, к примеру, отличается от конвоя, сопровождавшего труд Жоржа Нива? С кем Штейнберг общался, переписывался, когда работал над «Друзьями...»?

– Работа над книгой шла в двух направлениях: исследование общего мировоззрения автора – того, что принято именовать понятиями «картина мира», «жизненное и философское стедо», «мироощущение» и прочими, и собственно комментирование текста воспоминаний. Поскольку воспоминания эти с точки зрения привычно понимаемого мемуарного жанра представляют собой весьма своеобразное явление и зачастую сильно отклоняются в сторону, я не знаю, как это в точности определить, – литературно-философская проза, предположим (мы обсуждаем эту проблему во вступительной статье), – то пришлось в комментариях, с помощью упомянутого вами лихачевского «текстологического конвоя», восстанавливать реальную историческую картину. Разумеется, работа была непростой, поскольку пришлось просмотреть огромное количество литературы самого разнообразного характера, но крайне интересной и поучительной. Не испытывая к своим предшественникам, составителям первого издания, никаких других чувств, кроме уважения и благодарности (первым – трудней!), хочу подчеркнуть, что «Литературный архипелаг» с точки зрения «текстологического конвоя» и, стало быть, научной значимости, конечно, представляет собой более основательное и детально проработанное издание. Здесь сказались и сама установка на более скрупулезное комментирование текста, и, соответственно, более внушительный круг используемых источников, создающих вокруг текста мемуариста широкое информационное поле, и, конечно, самое главное – использование архивного материала (благо, архив Штейнберга для нас, иерусалимских жителей, оказался более доступным, чем для кого-либо). Как во вступительную статью, так и в комментарий, а также в приложения мы постарались ввести максимум архивных сведений, которые посчитали релевантными для данной книги. В том числе дневниковые записи Штейнберга, фрагменты эпистолярного наследия – скажем, из его переписки с близкими друзьями, Капланами, в которой проясняются некоторые важные аспекты мемуарно-философского замысла «Архипелага».

– Диалог Аарона Штейнберга с элитным крылом русской интеллигенции, представлявшей новое религиозное сознание, вышел плодотворнее параллельных ему диалогов, которые на протяжении нескольких десятилетий вели в России и за рубежом единоверцы и коллеги Штейнберга?

– Всекие абсолютизации и универсализации только мешают. Аарон Штейнберг действительно оригинально мыслящий еврейский философ, и опыт его участия в русско-еврейском диалоге, включая иудео-христианские корни, действительно имеет громадную философско-культурную, религиозную и моральную ценность. Достаточно напомнить только знаменитый ночной диалог между ним и Блоком в месте, не самом для того подходящем, – в камере чекистской тюрьмы. Или – случай совсем уж вашего вопроса – философско-религиозный спор Штейнберга со Львом Карсавиным, который велся на страницах эмигрантского журнала «Версты», на старую, но вечную тему о спасении Израиля через христианскую церковь. Несколько расширяя проблематику, о которой вы спрашиваете, хотя и оставаясь внутри нее, можно вспомнить и нескончаемый диалог, который с разных позиций вели между собой соплеменники и единоверцы Штейнберг и Лев Шестов, – в книге воспоминаний, о которой у нас с вами идет речь, этому отведена целая глава. Я уже не говорю о Вольфиле, секретарем которой был Штейнберг, последнем островке философской свободы посреди разваленной большевиками России и ее прежних ценностей и институций. Так что, конечно же, в истории диалектических со- и противостояний русской и еврейской мысли роль Штейнберга трудно переоценить. И тем не менее, возвращаясь к началу ответа, я не стал бы эту роль преувеличивать, тем более абсолютизировать. Будучи убежденным сторонником не «медальонного», а «сплошного» принципа, я полагаю не просто морально справедливым, но более того – научно объективным контекстное изучение проблемы русско-еврейского диалога, в котором «свет» и «тени» равномерно распределяются не только между вершинами, но и между всеми участниками. Если применить здесь новозаветную метафору, в споре Марфы и Марии мне ближе поведение Марфы, пекущейся о «многом», нежели Марии, думающей лишь о «благом».

– Насколько сильно было влияние на Аарона Штейнберга учителя по еврейским дисциплинам Залмана-Баруха Рабинкова, помогло ли оно Штейнбергу в освоении русской культуры?

– В пределах, допускаемых вступительной статьей, мы разбираем этот вопрос. Еврейское образование и воспитание Штейнберга, вне всякого сомнения, помогло ему если не в самом непосредственном освоении русской культуры (здесь, я думаю, сказался весь потенциал его незаурядной личности, включая, разумеется, близкий ему «германский гений»), то во взгляде на нее под весьма неожиданными углами и ракурсами. Знание Торы, Талмуда, каббалы, еврейской традиции в обширном понимании этого слова проявилось у Штейнберга прежде всего в том понимании Достоевского, которым он обозначил значительные веху и прецедент в рецепции философского наследия русского писателя в XX веке. Так что заслугу Рабинкова в этом отношении трудно переоценить.

– В петербургской тюрьме Блок спрашивает Штейнберга, не знает ли он, что есть такое антропософия, чем так страстно увлечен Боренька (Андрей Белый), и кто такой доктор Штейнер, – кажется, он просто «еврей-фокусник», заключает Блок. «Еврей-фокусник» о ту пору привлекал внимание не только немцев-аристократов. Ответ Штейнберга мне показался «деланно туманным»: кажется, что-то теософское. Мог Штейнберг, широта интересов которого общеизвестна, не знать, что такое антропософия?

– Мне не показалось, что в этом месте воспоминаний есть какие-то «туманности», о которых вы говорите. На вопрос Блока о ценности антропософии как науки Штейнберг прямо отвечает, что мало с ней знаком. «Я сам два раза видел учителя Бориса Николаевича – доктора Штейнера, – сообщает он Блоку. – Один раз на философском конгрессе, а второй – на докладе его в моем университетском городе Гейдельберге. Он меня не убедил, но я продолжаю интересоваться его учением». Вряд ли Штейнберг здесь увиливал от ответа. Для него, воспитанника Гейдельберга, возвращенного в духе классической традиции неокантианства, антропософская мистика была откровенно чужда и неприемлема, а сам Штейнер малоубедителен как философ. Разговор между ним и Блоком происходит еще до того, как «дорнахский Доктор» у Андрея Белого «жену отнял» (о чем рассказано в 3-й главе воспоминаний, «Белый за границей»), но сами-то мемуары надиктовывались Штейнбергом почти в конце жизненного пути, когда он подводил итоги своей долгой и насыщенной исключительно колоритными событиями жизни. Поэтому вольно или невольно люди, о которых он вспоминает, подаются им, так сказать, в отраженном свете рефлексий, которым еще только предстоит проявиться в перспективе. Но такова уж «мемуарная оптика» автора «Литературного архипелага», с которой приходится считаться. Если вернуться к тому, как изображена в воспоминаниях (я подчеркиваю именно слово «изображена», и вы здесь абсолютно правы, улавливая некоторую «деланность» сцены) ночная беседа Штейнберга с Блоком в чекистской темнице, то, безусловно, на отношение автора к Штейнеру накладывается не только оценка его собственно философских открытий, но и некий «личный момент» – метафизическая причастность, что ли, к разрушенной семейной жизни Белого. Эти достаточно отчетливые передвижки во времени авторских рефлексий являются одним из весьма характерных принципов построения данного текста, который из обычного «свитка воспоминаний» превращается в своего рода «мемуарный нарратив».

ЛОТЕРЕЯ И НОВОЕ «ФИЛОСОФСКОЕ» ХРИСТИАНСТВО

Ἐὰν ἴῃ Ἐἰσὲν ὁεῖτέτῃ ἐδὸ ἀπὸ οὐρανῶν



– Насколько Штейнберг был толерантен к философским системам/направлениям, им не исповедуемым?

– Пример – письмо Матвею Кагану, написанное, когда Шпет просто «послал» последнего с его еврейской философией. Наш герой совершенно замечательно реагирует на эти события: «Вы, Матвей Исаевич, меня, конечно, поразили, но другой реакции от Шпета я и не ожидал. Это реакция на принципиально чуждое, но оцените, по крайней мере, в этом признании акт личного к Вам доверия: по нынешним временам и это много». Ответ Штейнберга Кагану в упомянутом письме, на мой взгляд, пример настоящего философского и человеческого диалога. Ведь несмотря на трудности существования свободного философского творчества, в первые советские годы инерция бурного развития

русской мысли предыдущих двадцати – двадцати пяти лет сумела на какое-то время удержать эту мысль от распада. А высокие моральные качества диалога позволили в этой трудной ситуации сохранить человеческое достоинство.

– Почему в забеге русских философов предреволюционной и постреволюционной поры оказалось столько евреев? Хаскала, момент окончательного вживания в русскую культуру?

– Безусловно – «момент вживания», это во-первых, во-вторых, не надо забывать, что в середине XIX века не было процентных норм, а если были, то умеренные. Проблема, однако, заключалась в другом. Евреи густо пошли в университеты, по окончании коих (если не крестились) практически оказывались не у дел. Куда оставалось им идти? В журналистику... В глубинную русскую культуру – заказано: не было пока своей базы, не наметился еще разрыв с еврейством, желал лучшего уровень владения великим и могучим. И в этот-то момент вдруг меняются координаты. Теперь и для русских – и для разночинцев, и для дворян – путь вверх оказался возможен через университеты. А тут погромы 1880-х и процентная норма. Тогда выбор: крещение или полная русификация. Либо предсионизм билуйцев, либо найти себя как жителей Европы: говорят на немецком, на германском идише. С золотой медалью в России как-то можно было жить, но когда в районе 1910-х вводят то, что называлось лотереей, когда люди поступают в университет по жребию и независимо от способностей... Тогда евреи отправляются из России в немецкие университеты. Недаром «русские читальни» в этих заведениях были на 80% еврейскими. И тут новая проблема. Окончив немецкий университет и вернувшись в Россию, еврей не мог активно участвовать в университетской жизни и даже просто преодолеть ограничения черты оседлости: надо было пройти процентную норму. И масса их, не сдавших экстерната, отправлялись в провинциальные города. Отсюда эти Невили-Ковели-Витебски, где как бы вдруг возникли центры духовной культуры мирового уровня. Конечно, Хаскала сыграла свою роль, но Хаскала немецкая, на которую наложилась стремительно развивающаяся немецкая философия с ее немецко-еврейским ответвлением. Вот мы и получили взрыв, описанный моим любимым антисемитом Василием Шульгиным в книге «Что нам в них не нравится». Он говорил, как же можно так себя вести государству: если вы не хотите жидов образовывать – не надо, но если вы их уже образовываете, найдите для них место. Если хотите, чтобы они образовывались за границей, не пускайте их назад. Пустив назад, дайте им права обладателей русских дипломов. А тут люди с образованием, с высокой ответственностью и самооценкой прибывают в провинцию, где у них нет соперников, и оказываются горячим материалом для революций. Считаю, любой настоящий русский государственник должен был мыслить так же, как Шульгин. В сложившейся ситуации у русского еврея был простор для философствования, тем более что к тому моменту символом русской философии становится Владимир Соловьев.

– С твоей точкой зрения на русскую философию я ознакомился в статье «Между философией и любомудрием», в которой ты исследуешь книгу Эдит Клюс: в России были только два «чистых» философа – Чаадаев и Соловьев. Почему все-таки Соловьев, а не тот же Чаадаев? Ты имеешь в виду расположенность Соловьева к иудаизму и еврейству, его бесстрашные баталии с «антисемитическим движением в печати»?

– Соловьев не только сражался с «антисемитическим движением в печати», но оставил духовное завещание – «Краткую повесть об антихристе», из которой следует: только евреи могут определить, кто мессия, кто – нет. Прибавь к тому идеи Всеединства, объединения католицизма и православия, расположенных в России и Польше на базе

«средостения» иудаизма, центр которого располагался в Российской империи. «Повесть» появилась по одной простой причине: Соловьев отреагировал на Первый Всемирный сионистский конгресс. Казалось бы, для русских философов не столь важное событие, однако позже в журнале с симптоматичным названием «Новый путь» они начнут рассуждать на «еврейскую» тему. Розанов выпустит свой «Юдаизм» (не будем говорить, как им воспринятый), вслед выйдет «Эллинская религия страдающего бога» о Дионисе и прадионисийстве Вячеслава Иванова... Новый путь христианства оказывается синтезом, переходом иудаизма и язычества в иудео-эллинизм, в новое «философское» христианство. Когда в 1920 году Шпет в недавно опубликованных текстах определяет кризис современной культуры как распад христианства на составные элементы – «язычество» (в ницшеанской форме) и иудаизм в форме Хаскалы (Мендельсон и другие) и духовного сионизма Ахад а-Ама, он лишь делает новый шаг в описанном выше направлении.

– С одной стороны философская мысль сегодня в очевидном загоне, и дело тут не только в рейтинге книжного магазина «Москва», с другой стороны — растет количество публикаций Штейнберга, да и других еврейских философов. С чем связано такое несоответствие, как ты его оцениваешь и как на него реагировать?

– Исследователи русско-еврейской культуры должны высказаться со своей стороны, историки русской мысли – со своей. При этом они должны понимать друг друга, иначе их высказывания ни для кого. Мы изучаем период, когда реальный диалог реально существовал, материализовался в конкретных текстах. И вот, пожалуйста, получаем третий этап осмысления. Сегодня оба этапа – и 1900-х и 1920-х годов – возвращаются как архивный проект. Появились в записях протоколов Вольфины и в записях протоколов кружка Александра Мейера «Вторники» свидетельства живого еврейско-христианского спора, имевшего место после доклада Штейнберга «Достоевский как философ» в Вольной философской ассоциации. А в берлинской книге «Система свободы Достоевского» я вижу одну из реплик того диалога – ответ Мейеру, возражавшему на попытку Штейнберга описать самого русского из русских классиков как ветхозаветного пророка. Теперь ясно, откуда вышел Бахтин, книга которого о Федоре Михайловиче, столь близкая (до текстуальных совпадений!) к работе Штейнберга, стала хранилищем того духа философствования, который ушел с высылкой на печально известных «философских пароходах» цвета русской и русско-еврейской интеллигенции. Бахтин, на мой взгляд, не столько создал что-то оригинальное, сколько обобщил, сумел в виде логических формул, прикрытых разговорами о поэтике Достоевского, записать и максимально сохранить то, что звучало тогда, включая и иудейско-христианские мессианские споры с участием Штейнберга. Его книга о Достоевском сгодилась для всех: с какого абзаца ни возьми – Шестов, Мейер, Штейнберг, Федотов, Мережковский, Коген... Потому книга Бахтина и оказалась столь питательной. Не исключено, что именно описанная ситуация привела к тому, что Бахтин не ссылался в своей книге даже на тех авторов, которых можно было бы упомянуть в конце 1920-х. Цель его книги была не столько научной, сколько мыслесберегающей. Такое ощущение, что Бахтин – продолжатель дела Ямнийской академии, сохранившей в Талмуде не только опыт школ устного толкования Торы в период после гибели Иерусалимского Храма, но и тот тип мысли первых учителей Талмуда, который эффективен и сегодня.

Для Андрея Белого ЧЕЛОВЕК было понятием антропософским, Белый полагал, что каждый человек воплощает собою Чело Века. Пролетел XX век и безупречное положение Белого можно легко поставить под вопрос: о чем мы говорим после революций, мировых войн и Холокоста?! Но в том-то и дело, что далеко не все мы являемся ЧЕЛОВЕКАМИ. Потому и книга Аарона Штейнберга никогда не будет лидером

продаж. И как тут не вспомнить слова Николая Бердяева о том, что каждое следующее поколение хуже предыдущего. Да, дальше от Целого, потому и хуже, но это не значит, что следующие не должны хранить память о Целокупном. «Мемуарный нарратив», как точно выразился один из составителей книги русско-еврейского мыслителя Аарона Штейнберга, возвращает нам эту память о Целом, тем самым вселяя надежду на то, что кто-то из нас, при известном усердии, конечно, может сравняться с автором «Литературного архипелага».

ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2010 ТЕВЕТ 5770 – 1(213)

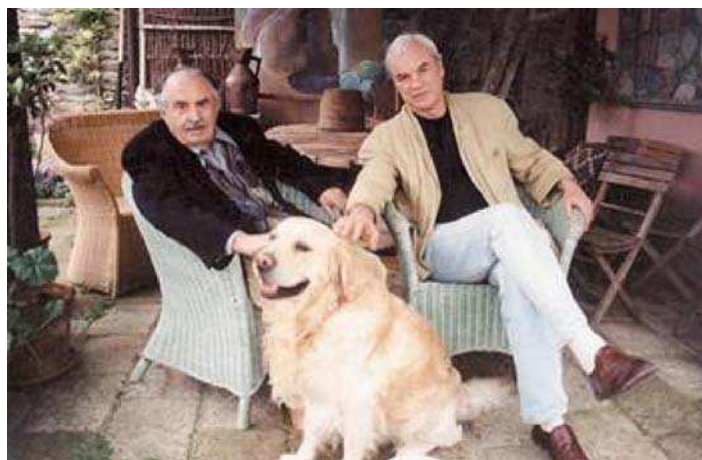
ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ:

«Я ДУМАЛ О ВАС...»

אגודת ישראל וְ אֲדוּלָּהּ בְּיָמֵינוּ

Федерация еврейских общин России вручила Владимиру Молчанову премию «Человек года 5766/2006» за документальный телефильм «Мелодии Рижского гетто».

На одном из телефестивалей я обратила внимание на список членов жюри. Против каждой из фамилий стояла строчка-две пояснений – чем заведует, где директорствует, членствует, что возглавляет. Против фамилии Молчанова стояло одно слово: «журналист». «Да, я просто журналист. А это сегодня не самая приличная профессия», – объяснил Владимир Молчанов. Действительно, профессия многими скомпрометирована. Молчанов же всю свою профессиональную жизнь сохранял – и при советской власти, и в «лихие девяностые», и при сегодняшнем откате назад – безупречную репутацию. Его программа «До и после полуночи» не выходит уже много лет, но ее помнят и сегодня. А уж тогда, в начале перестройки, когда еще и «Взгляда» не было, Молчанов выходил в эфир по субботам, а потом неделю о программе говорила вся страна.



С Тонино Гуэррой. 2000 год

– Я сочувствую нынешним начинающим журналистам. Нам было просто стать известными. Потому что, если я говорил про сталинские репрессии, это вызывало бурную реакцию, наутро ты просыпался популярным. Меня либо начинали ненавидеть, либо наоборот. А для меня это очень личная тема – мой дед был расстрелян, бабушка провела двадцать лет в ссылке, мама была исключена из Театрального училища имени Щепкина как дочь врага народа. И эту важную тему я не оставлял в покое.

До 1996 года Молчанов активно занимался политикой. После намеренно из нее ушел. Телегеничный, яркий, талантливый – на сегодняшнем ТВ он не очень-то ко двору. Но нашел свою нишу на радио «Орфей», где уже почти четыре года ведет программу «Рандеву с дилетантом».

– Дилетант – это я. Участники моих бесед – музыканты и вообще люди, которые интересно размышляют о музыке. Человек двести уже приходило. Это единственная радиостанция, которая транслирует одну классику. «Орфей» слушают только помешанные на классической музыке. У нас страшно консервативная публика. С моим приходом все начало немножко меняться... Давать сплошные записи 30–40-х годов – это сидеть в нафталине.

– **А как молодых заманишь?**

– Для этого саму станцию надо делать иначе. Менять ее. Можно звать кого угодно, кто музыку любит и говорит хорошо. Были артисты – Веня Смехов, Миша Козаков... Скоро начну математиков приглашать, врачей... Мне там очень нравится. Это отдушина после всего окружающего тебя на телеканалах. Когда на телевидении предложили вести «Частную жизнь», я, конечно, согласился – работы у меня было немного. Но те, кто охотно рассказывает о своей частной, интимной жизни, это же просто больные люди! Так я и относился к тем, кто приходил в программу. Конечно, есть люди, которым надо выговориться. Но почему это надо делать публично? А на радио отдыхаю душой. Мне дали приз лучшего ведущего, хотя есть сотни других радиостанций, где действительно прекрасные ребята работают! Это очень почетная премия, выбирали из всех радиоведущих, не только из музыкальных программ! Мог быть ведущий, скажем, из Читы, а мог – с «Маяка» или «Серебряного дождя». Представляешь, у меня соперник был Дима Быков!

ПОЧЕМУ «К СОЖАЛЕНИЮ»?

– Я вообще узнал, что есть евреи, довольно поздно, потому что среди них жил и вырос. Кто был вокруг меня? Ну, композиторы, музыканты – это ж евреи в основном. И первая моя влюбленность – Женя Фрадкина, дочь композитора, которой я написал записку с ошибками – объяснение в любви. Я ж не понимал, что она еврейка, а я русский. И Володя Фельцман, сын Оскара Фельцмана, нынче выдающийся пианист, – с ним дружили с самого детства – я никогда не думал, что мы разные. Павлик Коган и его сестра Нина – дети гениального скрипача Леонида Когана, с которым мой папа дружил, – это все еврейские дети, что меня тогда совершенно не занимало. В нашей деревне, Старой Рузе, летом собирались грузинские, армянские, азербайджанские композиторы. И все дети были смешаны в одной компании.

Девочка, в которую я влюбился в Риге, – Марика, вот она мне впервые рассказала про евреев и показала место, где их расстреливали. Трагическую историю с Михоэлсом родители рассказали, когда я уже что-то соображал. И она на меня страшное впечатление произвела, особенно, может быть, потому, что я дружил с Виктошей Вайнберг, внучкой Михоэлса. Мы жили в одном подъезде...

Когда я стал узнавать про антисемитизм через проблемы, с которыми сталкивались мои друзья и многие друзья родителей, – меня это доставало, бесило.

В Израиле мы с Чатой были не раз, и подолгу. (Чата – домашнее прозвище жены Молчанова Консуэло Сегуры. – М. Т.) Она брала и дочку, чтобы провезти по всем тамошним местам, – русский обязан побывать в Израиле. Когда я выступал перед публикой, в каждом зале встречал знакомых. Один раз жена встретила человека, с которым в детстве жила в коммуналке в центре Москвы.



С женой Консуэло Сегурой

– У вас и в Израиле друзья?

– А ты мне назови кого-нибудь, кто учился в медицинском, на филфаке, в консерватории, у кого там нет друзей. Да и не только там. Мой ближайший друг – Сергей Бокариус. Мы знакомы с семнадцати лет, он ленинградец, но приезжал в Москву, ухаживал за одной девчонкой с нашего курса. Я о нем сделал документальный фильм «У меня еще есть адреса». Фильм в виде письма – Сергей эмигрировал в Америку. Он окончил Военно-медицинскую Академию. Отправили его на подлодки в Североморск. И тут стали ему припоминать национальность мамы – называлось это тогда «борьба с сионизмом». А ведь все питерские врачи учились либо у его деда, либо у отца. Он внук одного из основателей русской судебно-медицинской экспертизы, профессора Бокариуса.

И эти же политруки, которые его третировали, небось лечили триппер у его мамы, она была главный лаборант-венеролог города Ленинграда. А Сергей парень очень крутой. Ну и были проблемы, серьезные. В общем, он решил валить из страны. Он тогда комиссовался, но семь лет не мог уехать – военная секретность. Сидел на берегу, делал

пункции спинно-мозговые, потом уехал. Я отговаривал... Я очень его любил и продолжаю любить – в том году летал к нему в гости в Сан-Франциско.

В Ленинграде антисемитизм был сильнее, чем в Москве. Пожалуй, я столкнулся в первый раз с антисемитизмом именно там, на премьере оперы моего отца «Ромео, Джульетта и тьма» по знаменитой повести Яна Отченашека. Мне было лет тринадцать. Сюжет оперы простой: оккупация Праги, еврейка Эстер встречает чеха Павла, вспыхивает любовь, он ее прячет у себя. Но на него настучали, и она, чтобы его спасти, ночью тихо уходит в гетто, на гибель. Он просыпается – ее нет. Мы поехали на первый спектакль. Очередь стояла километра на полтора – впервые что-то на запретную тему, про евреев, в питерском театре. Премьера – дикий успех. На второй спектакль пришел секретарь обкома Василий Толстик со своей камарильей. Он пришел после спектакля на сцену, всех поздравил, но сказал, что... еврейку надо заменить на партизанку. На этом оперу закрыли.

Словом, стал я понимать, что это такое, начал много читать на эту тему. А поскольку учил в университете голландский язык, с четвертого курса ездил в Голландию на переводы. Голландия тогда представляла Израиль в Москве, эмиграция происходила через их посольство. И я читал материалы с этим связанные, узнавал о еврейских проблемах.

– А помимо рассказов друзей и документов, тебе самому не приходилось наблюдать антисемитизм рядом с собой?

– Да ты что! Сколько я в дискуссии вступал! Где бы я ни выступал, обязательно спрашивали: «Не еврей ли вы?» Я отвечал: «К сожалению, нет». Эту поговорку придумал себе в Израиле на выступлениях. После чего, конечно, следовал вопрос: «Почему “к сожалению”?» Тогда я говорил: «Была бы у меня хоть капля еврейской крови, может, поумнее был бы».

– Ты не раз говорил, что жена гораздо умнее тебя. Это что же, кокетство?

– Какое кокетство?! Она действительно умнее и образованнее меня очень во многом, хотя я читаю больше, чем она, – читаю быстро. Но ведь образованность – это не количество прочитанных книг... Я только музыку лучше знаю.



С отцом, композитором Кириллом Молчановым

ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА

– Мы с Чатой вместе учились на филфаке, она на испанском отделении, я – на голландском.

– **Почему такой выбор – голландский язык?**

– Да потому, что выгоняли с факультета! Ты что ж думаешь, я мечтал о голландском языке? Я поступил-то на испанское отделение. Но при этом играл в теннис, был чемпионом СССР среди юношей, ездил на соревнования. Недавно показал внуку медаль, которую тогда завоевал. Маленькая, но золотая... Ну вот, я ездил, а все учили испанский. Они уже всю говорят, а я в теннис играю. И мне сказали: ты или уходи вообще, или снова на первый курс, там голландская группа открывается.

– **Значит, Консуэло раньше тебя закончила?**

– Нет, она на тот же курс из Гаваны перевелась. Она ведь жила с родителями на Кубе и училась в университете. Ее отец, Хосе, заставил уйти оттуда, просто выгнал: там не столько учились, сколько революционные песни пели и сахарный тростник резали.

– **Это у них вместо наших выездов «на картошку»?**

– Ну да, мы же тоже с ней на картошке познакомились. Или на морковке, что ли...

– **Есть какая-то легенда, что Консуэло выиграла тебя на спор. За бутылку коньяка.**

– Ну какой там коньяк у студентов. Портвейн, иногда водка. Так что я уж не знаю, что она там выиграла, какую бутылку. Она призналась мне в этом через несколько лет. Оказалось, она меня еще до колхоза заметила. На нашем филологическом факультете всегда было больше девушек... А у нас после той морковки пять или шесть пар поженилось. И только мы... нет, еще одна пара живет до сих пор, остальные расстались. Я через неделю после нашего знакомства поехал в Москву, на свой день рождения, мне исполнилось 18 лет. Показал отцу ее фотографию из студенческого билета и сказал: «Вот на ней я хочу жениться». На следующий день вернулся в колхоз, и мы с сокурсниками решили посмотреть дом Паустовского в Тарусе. Плыли на моторной лодке с абсолютно пьяным лодочником. Где-то на середине Оки лодка начала протекать, и в тот критический момент я предложил выйти за меня замуж.

– **А что она?**

– Не отказалась, как видишь... Страшно сказать, сколько лет мы женаты.

– **Вы все время работаете вместе?**

– Нет, только когда делаем документальное кино. Она всегда чувствует любую фальшь или ложь. Это очень важно. Причем, когда работаем, ругаемся страшно! Всю жизнь ругались.



**На монтаже программы «До и после полуночи».
Конец 1980-х годов**

ТАЙНЫ НАЦИСТА-МИЛЛИОНЕРА

– **Благодаря голландскому языку ты оказался на работе... Где?**

– В Агентстве печати «Новости», на Пушкинской площади, в редакции «Франция – Бенилюкс». Начал делать посольский журнал, который издавался в Голландии (со второго курса там практику проходил). Писал статьи. Однажды мне позвонил известный голландский журналист, главный редактор журнала «Акцент» Ханс Кнооп, он читал мои статьи... Ну и рассказал, что живет в Голландии миллионер, Питер Ментен, подозревавшийся в совершении военных преступлений. У Кноопа были сведения, что он расстреливал людей во Львовской области. Но сам он не мог туда поехать, ему был запрещен въезд в СССР... Я взял командировку и поехал по деревням с собкором АПН по Львовской области. Через три дня мы нашли следы этого убийцы. Приехали в деревню, и через 15 минут жители нам показали фотографии, которые потом стали самыми вескими доказательствами виновности этого Ментона. Позднее была эксгумация братских могил, я видел груды простреленных черепов, детские туфельки, бутылочки с сосками... Страшное потрясение.

– **Почему до тебя никто этого не нашел?**

– Ты можешь представить, какое количество живых нацистских преступников в мире было в 70-х годах? Целый отдел в прокуратуре этим занимался. После публикации моего очерка в «Комсомолке» они меня так полюбили, что дали доступ к своим архивам. Я утром приходил в АПН – там делать было нечего, а потом пешком по Пушкинской шел в Генеральную прокуратуру и сидел там ежедневно. Я был феноменально увлечен работой. Смотрел все папки, меня уже не контролировали... Эти папки никто и не трогал – да это и невозможно, их там тысячи. Заведены на тех, кто расстреливал на нашей территории, участвовал в карательных операциях... А что такое папка? Некоторые были заполнены документами, а в других могли лежать две странички из ученической тетрадки – акт ЧГК, это Чрезвычайная государственная комиссия. Кто в нее входил? Ну, учитель местной школы, доярка, секретарь райкома, какой-нибудь энкавэдэшник... После окончания оккупации организовывали комиссию и делали такие акты – представляешь, сколько их было? – и все стекалось в прокуратуру. Я даже нашел свою деревню, Рузу, – там тоже была оккупация в течение 90 дней. Работал с этим долго, лет семь. Издал книгу очерков «Возмездие должно свершиться». Второе ее издание, дополненное, вышло, когда папа уже умер, и я написал: «Памяти моего отца Кирилла Молчанова, чье творчество было посвящено антифашистской теме»... У папы очень много музыки, посвященной войне. Оперы, военные песни. Романс «Жди меня». Музыка для фильмов Стасика Ростоцкого – «А зори здесь тихие», «На семи ветрах». Семейная легенда гласит, что я родился под песню «Вот солдаты идут...». К тому же благодаря этой работе я был избавлен от занятий пропагандой, которой занималось АПН, от статей про диссидентов, про речи Брежнева, про всякий бред. И они же меня за это уважали. АПН рассылало публикации, как они это делали обычно, по всему миру. Поскольку мой очерк «Тайны нациста-миллионера» был опубликован в «Комсомольской правде», я окунулся в жизнь газеты. Там был потрясающий состав журналистов – Юра Рост, Василий Песков, Юра Щекочихин, Инна Руденко, Слава Голованов... Они старше меня были, и я очень рад, что познакомился тогда с этими людьми.



На съемках в Риге

«МЕЛОДИИ РИЖСКОГО ГЕТТО»

«Мелодии Рижского гетто» – это воспоминания пяти чудом уцелевших и доживших до наших дней обитателей гетто, которые сопровождаются кадрами кинохроники. В фильме поет оперная певица Инесса Галанте. Сын узника гетто, скрипач Гидон Кремер, рассказывает о погибших там родных.

– Мы с Чатой тогда работали в Риге, у нас была своя авторская программа на латышском телевидении. Однажды наш товарищ повез нас ночью показать гетто. А оно и сейчас такое же, как до войны, – ты видела в фильме. Деревянные домики, те же дворы, те же узенькие улочки, по которым людей гнали на расстрел... Мы в темноте стали ходить по улицам, слышали какие-то ночные звуки и почувствовали, что будем это снимать, – просто по ощущению, по настроению. Начали собирать материалы. Беседовали с директором Еврейского музея Латвии Маргером Вестерманом, который тоже прошел через Рижское гетто, помогали и сотрудники Латвийского архива кинофотодокументов.

– **А как разыскали оставшихся в живых стариков?**

– Элементарно. В Рижском еврейском центре все собрано – письма, документы. Когда-то в этом доме был еврейский театр, теперь библиотека, архивы, ящички, узнаешь, кто жив... Один из них – адвокат, другой был директором этого центра, третий профессор консерватории, четвертый – рабочий... Один из них бежал, прятался у русских баптистов. Потом крестился, стал баптистским пастором. Об этом отдельный фильм можно снимать. Он рассказывает в фильме о том, о чем выжившие стараются не

говорить, – что работоспособные мужчины могли остаться со своими семьями и пойти с ними на расстрел, но многие из них предпочли трудовой лагерь. Их матери, жены, дети нацистам были не нужны, а мужики какое-то время еще нужны. Это уже совсем другой фильм, с неразрешимыми нравственными проблемами.

– **Фильм получился таким личным... Как будто от рук эсэсовцев погибли свои.**

– Они и есть свои...

ЕВРЕЙСКИЙ АРХИВ

– В том же 2006 году Борис Краснов, наш знаменитый сценограф, увидев наш с Чатой фильм, пригласил делать на сцене Киевского оперного театра «Бабий Яр». Это была сценическая постановка, приуроченная к 65-летию трагедии. Были президенты Украины, Израиля, еще откуда-то. Из России не было. Я писал сценарий – текст для восьми актеров. Там играли великие актеры, говорили на нескольких языках. Богдан Ступка, Ада Роговцева говорили по-украински. Актер из Германии – по-немецки. Двое – мужчина и женщина из Израиля – говорили на идише, потому что в Киеве никто никогда на иврите не разговаривал. И конечно, на русском. Мы вместе с Консуэло опять сидели в архивах. Вот смотри – это мой еврейский архив – все эти папки, книги – эти полки только по Риге. А еще есть по Киеву, по Бабьему Яру... Все было построено на письмах и воспоминаниях. Моя жена сделала весь фото- и видеоархив, который был показан на огромном экране. А Борис Краснов попросил меня написать и произнести текст от автора.

– **Ты снова возвратился к тому, с чего начинал свою журналистскую карьеру. К Холокосту. Эта тема тебя всю жизнь не отпускает!**

– Я тебе так скажу. Недавно умер Симон Визенталь, он около тысячи нацистов выследил и посадил, а стал известен после дела Эйхмана. Это я для тебя рассказываю, а в журнале об этом можешь не писать, потому что про Симона Визенталья знает любой еврей – он национальный герой! Визенталь – из Львовской области, его семья пострадала при Советах, он был в концлагерях, никто не знает, как выжил, насчет этого много спекуляций было... Когда он вышел из лагеря, то весил 40 килограммов. Потом поселился, кажется, в Вене. Открыл Центр еврейской документации, связанный со всеми правительствами мира и занятый преследованием нацистских преступников. И вот, когда он уже был совсем старый, он сказал, что скоро его, как и всех, Г-сподь заберет. И там спросят, чем ты занимался. Один скажет, что дома строил, другой – детей учил... А он скажет тем евреям, которые погибли, были убиты, расстреляны, задушены газом, – он им скажет: «Я думал о вас». Я это прочел в одном из его интервью.

Вы читали?

Ī àò ààé Āáí áí ĭ ēūñēé.

Реакция. Автор, по сей день уверенно чувствующий себя в российском теле- и радиоэфире, решил высказаться на модную сейчас у путинско-медведевского истеблишмента тему: осудить фашизм – разумеется, не современный российский, то есть государственный фашизм, – а тот, давно ставший историей, гитлеровский. Ломануться еще разок в широко открытую дверь. По ходу дела еще и ритуально лягнув Украину (Латвия и Эстония уже в НАТО, их не достать, увы...) за «фашизм» борцов с москальской оккупацией 1939–1945 годов. Казалось бы, что тут такого особенного? «Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым», – а иногда даже в куклы играя. Но куда там!..

Поднялась буря, посыпались возмущенные газетные статьи, разгорелась полемика в Интернете. Ганапольского как участника полемики один из киевских телеканалов пригласил поучаствовать в телемосте, посвященном кукле Гитлера. И там аудитория, к его огорчению, признала его украинофобом. «В общем, я не смог убедить аудиторию, что я не украинофоб». Что неудивительно, после таких вот пассажей того же автора в том же «Лехаиме» об Украине: «По-моему, украинское общество, как и страны Балтии, сейчас на распутье. В Украине, с одной стороны, Вечный огонь и Бабий Яр. Но с другой – поиски человеческого лица у Шухевича и Бандеры. <...> То, что Шухевич и Бандера мечтали о независимой Украине без Сталина и Гитлера, – это прекрасно. Но то, что для достижения этой цели они как инструмент использовали элементы нацизма, – это не дает им исторического шанса». Интересно, какие это «элементы нацизма»? Уж не концлагерь ли Заксенхаузен, где Бандера и Стецько просидели с 1941 по 1944 год? Заксенхаузен – элемент гитлеровского нацизма, да; но сидеть в нем вряд ли было добровольным выбором вождей украинских повстанцев.

Ни в каких «поисках человеческого лица» Бандера, Шухевич, Стецько и прочие не нуждаются. Оно у них человечнее, чем у иных прочих политиков. Есть ли у палачей Чечни человеческое лицо, г-н Ганапольский? Но увы: наш обличитель согласится скорее мягко покритиковать Путина, чеченский геноцид или, скажем, современные выборы в России, чем «священную корову» путинско-медведевского режима, его опорный, стержневой миф – «победу над фашизмом в ВОВ» и «освобождение от фашизма» украинцев и прочих. Да и безопаснее кидать камни в подлинных героев украинского народа, в Бандеру, в легендарного генерала Чупринку – Романа Шухевича, главкома УПА, погибшего уже после окончания войны в боях с большевистскими колонизаторами Украины, чем в своих сегодняшних палачей, управляющих страной и красующихся на всех телеэкранах... Любопытную вещь, кстати, пишет Ганапольский в связи с этой темой и о Власове: «В России тоже были попытки найти человеческое лицо у генерала Власова, но потом договорились считать его предателем и преступником». Кто и с кем об этом договорился, г-н Ганапольский?

Холокост признан в Европе... Это в высшей степени справедливо. Но неплохо бы – и в Европе, и здесь – признать актами геноцида также и Голодомор украинцев, и депортацию в Сибирь/Казахстан чеченцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, крымских татар и пр. Потому что для этих народов депортация, после которой до Сибири доезжало 50 и меньше процентов от посаженных в теплушки на родине, – тоже была Холокостом. Гитлер стремился истребить всех евреев, но, по крайней мере, свой собственный народ он не уничтожал так бессмысленно, как сталинская банда. Не морил миллионы арийцев на

стройках вроде Беломорканала... Сталин – самый чудовищный тиран, преступник и палач в истории человечества. Немцы давно покаялись и отреклись от своего мрачного прошлого, тогда как совки продолжают цепляться за Сталина, он у них и в Интернете, и на праздничных демонстрациях, и в новооткрытых ему памятниках (в центре Москвы, хотя и стыдливо замаскирован сидящими рядом Рузвельтом и Черчиллем).

Казалось бы, картина ясна. Но нет, Ганапольский не согласен признать очевидное. Он ссылается на... Нюрнбергский трибунал. Нашел формальную зацепку. На самом деле Нюрнбергский трибунал – это тот самый суд, по поводу которого прежде всего возникает сформулированный классиком вопрос: «А судьи кто?» Это тот суд, на котором одна – победоносная – чума судила другую, проигравшую, при жалком и позорном участии западных демократий в роли статистов. Демократий, которые уже после этой их «общей победы» сумели запятнать себя несмываемым позором – вроде выдачи красновских казаков с семьями Сталину, на уничтожение... Это тот суд, где советским обвинением официально был приписан немцам расстрел пленных польских офицеров в Катыни, Осташкове, Медном... И все промолчали, западные демократии в том числе, хотя знали, что поляки были расстреляны Сталиным. Не могли не помнить и о таких чудовищных прецедентах, как винницкое дело (9432 трупа жертв расстрелов НКВД 1937–1939 годов, извлеченные в 1943-м из тайных захоронений в Виннице; все 700 опознанных родственниками трупов принадлежали людям, арестованным НКВД и, как отвечали родственникам в тюрьме на расспросы, «этапированным в дальние северные лагеря») – их тоже «Совинформбюро» тогда же, в 1943-м, пыталось представить жертвами гитлеровцев. Нюрнбергский трибунал – это тот суд, значение которого с морально-этических позиций необходимо признать ничтожным и навсегда прекратить на него ссылаться. Кстати, когда Ганапольский сетует: «Хорошо бы его устроить [процесс над Сталиным], но российское общество пока не готово...» – он не видит места для более острого диагноза, чем скромное «не готово»? И не хочет нам сообщить, когда же оно наконец будет «готово»? Не замечает прущего из всех щелей наглого, торжествующего, вульгарного сталинизма, великодержавно-имперского шовинизма. Не слышал разве наш уважаемый ведущий в 2000-х, совсем недавно, этих сетований, что, мол, вот Путин, жаль, не Сталин – тот бы, да, навел порядок; что вот, мол, с чеченцами справиться не можем, а Сталин их за одну ночь всех выселил!.. Не звонили Вам такие слушатели в студию, в прямой эфир, г-н Ганапольский?

Áī ðēñ Ñò ïì ààēí,

Ī īēē òçàēēp-áí íúé

НЕИЗДАННОЕ

איצחק עיטוב

Известный русско-еврейский поэт, прозаик, общественный деятель Довид Кнут, как кажется, в особом представлении не нуждается. Сегодня о нем сообщают словари и энциклопедии, множество материалов находится в Интернете. Поэтому ограничусь сообщением самой необходимой информации.



Д. Кнут. Первая половина 1950-х годов.
Израиль

Довид Миронович Фиксман (литературный псевдоним Кнут, которым стала девичья фамилия матери), родился 10 (23) сентября 1900 года в небольшом бессарабском городке Оргееве, в нескольких десятках километров от Кишинева. Учился в реальном училище в Кишиневе, куда после знаменитого Кишиневского погрома переехала его

семья. В 1920 году Фиксманы бежали из Бессарабии в Париж, где Довид, начинавший писать и печататься еще в родном Кишиневе, выдвинулся в качестве одного из самых талантливых поэтов молодого эмигрантского поколения, которое впоследствии будет метко названо «незамеченным». Он близко сошелся как с литературными мэтрами – И. Буниным, З. Гиппиус и Д. Мережковским, В. Ходасевичем, Г. Ивановым, Г. Адамовичем, так и со своими ровесниками, делившими с ним общую судьбу и участь, – Б. Поплавским, А. Гингером, Н. Берберовой, Б. Божневым, А. Ладинским и др. Помимо, однако, того, что сблизало Кнута с русской эмигрантской литературой, в нем с самого начала творческого пути резко и однозначно проявилось то, что делало его единственным и особым, – верность национальным традициям, приверженность еврейским темам и еврейскому взгляду на мир. Воспетый им «еврейско-русский воздух» стал его знаком-символом, поэтической эмблемой. В годы второй мировой войны Кнут и его тогдашняя жена Ариадна Скрябина (1905–1944), дочь русского композитора, перешедшая в еврейство и превратившаяся в Сару Фиксман-Кнут, создали подпольную еврейскую организацию, которая сражалась против нацистов. В этой борьбе погибла Ариадна-Сара, отдавшая жизнь за своих новых братьев – евреев. В 1949 году Кнут со своей новой женой – актрисой Виргинией (Леей) Шаровской (в первом замужестве – Кнут, во втором – Арав), Ариадниными и своими с ней детьми поселился в Израиле. Здесь, 15 февраля 1955 года, его не стало.

Когда больше десяти лет назад я готовил к изданию двухтомное собрание сочинений Кнута (Иерусалим, 1997–1998), мне то и дело приходилось наткнуться на вопросы, которые так и остались тогда открытыми. Главные из них были связаны с указаниями на тексты (сборники стихов, рассказы, пьесы и проч.), которые отсутствовали как среди опубликованных произведений Кнута, так и среди архивных материалов. Так, например, в газетных анонсах говорилось о том, что в скором времени должен выйти из печати сборник «Бычий край»: название однозначно указывало на стихи о Бессарабии, родине поэта, – сборник под таким названием, однако, никогда не появлялся. Собранные и републикованные мной «Кишиневские рассказы», в которых действует автобиографический герой Мончик и в которых автор, по существу, описывает собственное детство, по моим подсчетам, не отражали их реального количества – их должно было быть больше. Я встречал настойчивые свидетельства того, что, переселяясь в 1949 году из Парижа в Израиль, Кнут написал несколько пьес, связанных с темой «Евреи и фашизм»; сюжетов у него, одного из организаторов еврейского Сопротивления во Франции, было хоть отбавляй. Где это все? Каким загадочным образом исчезло?

С кнотовским архивом, который лег в основу упомянутого двухтомника, меня познакомила близкая приятельница поэта и его жены Ариадны Скрябиной-Кнут ныне уже покойная Ева Киршнер (1913–2006). Тонко-женственная, аристократичная, ярко-неординарная, Ева не только при жизни Кнутов была их добрым ангелом, но и после смерти хранила и сохранила светлую память об обоих. Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с этим человеком. Однако семейный архив Евы оказался в отношении Кнута неполным.

Все эти годы меня преследовала мысль о том, что подготовленное издание, несмотря на свой немалый объем (более 1000 страниц), увы, не является исчерпывающим. Где-то, по всей видимости, существуют, думал я, неизвестные тексты Кнута, если, конечно, они не утрачены безвозвратно. Мысль эта, однако, обитала на самом краю моего сознания, вытесненная другими делами, именами и проектами. Я полагал, что, исключая какие-то мелкие заметки, с новыми материалами о Кнута, представленными в скольконибудь значительном количестве, встретиться уже никогда не удастся.

Но, как известно, «рукописи не горят». Летом нынешнего года – о чудо! – мне удалось разыскать пропавшую, как казалось, навсегда часть кнотовского архива. И в нем все то, о чем я когда-то только слышал, читал, смутно догадывался и безуспешно искал. Так, например, в папке отпечатанных на машинке «Кишиневских рассказов» меня ждал сюрприз: среди хорошо известных текстов – неопубликованный рассказ «Первые лавры». Кнут печатал «Кишиневские рассказы» в издававшихся в Париже русских эмигрантских периодических изданиях: еженедельнике В. Жаботинского «Рассвет», журнале «Встречи» и, главным образом, в газете «Последние новости». Почему не были напечатаны «Первые лавры» – сказать не берусь. Тем интереснее эта находка сейчас, когда кнотовская проза получила известное читательское признание и первую исследовательскую рефлексию^[1]. Этот рассказ и предлагается читательскому вниманию.

Нет никаких сомнений в том, что интерес к творчеству Кнута – и как поэта, и как прозаика – со временем будет только нарастать, но для этого оно должно быть в полном объеме опубликовано.

В автобиографическом цикле «Кишиневские рассказы», объединенном одним героем – подростком Мончиком Крутоголовом, «Первые лавры» следуют после рассказа «Слава». В «Славе» повествуется о том, как Мончик впервые приносит свои стихи в газету «Бессарабский вестник» и, поскольку в редакции уже никого нет, передает их ночному сторожу:

Сонный сторож посмотрел на Моню с ленивой брезгливостью экономного на переживания и движения жирного человека и кратко изрек:

– Что ж так поздно? Оставьте. Передадим.

Мончик, трепеща, уже протягивал сложенный лист, но вдруг замялся, лизнул свой химический карандаш и тут же, стоя в передней, зачеркнул подпись «Э. Крутоголов» и проставил рядом «Сфинкс».

На улице он, не замечая мороза, сорвал с себя шапку и, радостный, облегченный, воскресший, помчался вприпрыжку домой.



**Д. Кнут (в центре) с поэтами Г. Ивановым (слева) и В. Ходасевичем (справа).
Париж. Середина 1930-х годов. Публикуется впервые**

После этого герой живет томительным ожиданием литературных лавров и громкой славы. Судя по тому, что в «Славе» изображена зима, а в «Первых лаврах» – наступающая весна, время ожидания тянулось долго. Но рано или поздно, час славы для Мончика все же пробил. Правда, сама она оказалась вовсе не такой, какой рисовалась в сладостных снах и грезах: вместо ее теплых лучей, в которых герой приготовился купаться, его подвергают в школе и дома жестокому и несправедливому наказанию. Литературная слава оказывается не чем иным, как мученичеством, а ожидаемый лавровый венок – венцом терновым. Писательский дебют, описанный Кнутом в беллетристической форме, точь-в-точь совпадает с мемуарным рассказом другого русско-еврейского писателя, Осипа Дымова, который, как и Кнут, будучи учеником реального училища – только не в Кишиневе, а в Белостоке, за публикацию в журнале «Вокруг света» (в № 4 за 1892 год) своей первой новеллы «Рассказ капитана» подвергся суровому педагогическому наказанию [2]. «Мой первый гонорар», как метафорически, по-бабелевски, можно было бы обозначить общую тему Кнута и Дымова, рисующих опыт первых страданий, которые выпадают на долю начинающего писателя, приобретает у того и другого характерный еврейский привкус. И это неспроста: общий страх перед пресловутым «захватом евреями русской литературы» проявился не только во взрослом, но и в детском мире. Причем еврейский подросток испытывает двойную силу слепого и нелепого негодования и карикатурного сопротивления-протеста – в школе и дома: не только инспектор обуреваем мыслью «тащить и не пущать», но и родитель начинающего автора озадачен выбором скользкой и опасной карьеры литератора. Иными словами, короткий и непритязательный кнутовский рассказ по существу бьет без промаха в одну из остро-болезненных тем русско-еврейских отношений – «своей», семейной и в то же время исходящей от официальных органов, государственной боязни напечатанного евреем слова вообще, и в особенности когда речь идет о 14-летнем «несмышленном» подростке.

В обнаруженном архиве Кнута имеются материалы, указывающие на практически неизвестную грань его творческой личности и деятельности – публициста, очеркиста, автора весьма небезынтесных, но по каким-то причинам оставшихся ненапечатанными статей. Одна из них – «Чарли Чаплин как еврейский национальный

поэт» – предлагается ниже вниманию читателей. Исходя из ложной, хотя и распространенной посылки о еврействе Чарли Чаплина, Кнут строит свою концепцию его творчества. Заблуждаясь относительно национального происхождения великого актера, он тем не менее интересен в рассуждении о «еврейскости» чаплинского образа и разворачивает весьма оригинальную аргументацию, которая одновременно характеризует его собственные «символы веры» во взгляде на еврейское искусство и его деятелей (например, любопытное соотнесение Чаплина и Шолом-Алейхема). В результате статья заслуживает внимания, хотя была написана лет 80 назад.

Наконец, касаясь темы и облика Кнута-стихотворца, следует сказать, что архив содержит множество его неизвестных текстов, представленных в основном в виде черновиков и разного рода редакций, но имеется немало и вполне законченных стихотворений. Как и в предыдущих случаях, затрудняясь назвать причину, по которой этот весьма впечатляющий массив не был в свое время опубликован (возможно, тексты были отвергнуты редакциями или стали жертвой излишне критического отношения автора к себе), полагаю, что не ошибусь, если скажу: литературное наследие Кнута – как русское, так и русско-еврейское, и поэзия в особенности – достойно, без изъятия, самого пристального внимания. Кнут – поэт настоящий, даже если какие-то отдельные его стихи или стихотворные строчки не дотягивают до высшего уровня. В данную подборку включено одно из его неопубликованных стихотворений – «Иудея», предназначавшееся для цикла «Прародина», но в конце концов в него не вошедшее. Этот цикл Кнут написал во время своего первого путешествия в Палестину летом-осенью 1937 года, и, судя по всему, именно на нем оборвалось его поэтическое дыхание: после обрушившейся вскоре на еврейский мир Катастрофы стихи безвозвратно ушли от него.

ПЕРВЫЕ ЛАВРЫ

Тягуче тянулись дни, плелись черепаши недели, и так прошли месяцы с того пушистого снежного вечера, когда Моня вручил свои патриотические стихи сторожу «Бессарабского вестника».

Нетерпеливое и уверенное ожидание уже сменилось сомнением, сомнение нечувствительно перешло в недоумение, переродившееся в свою очередь в надменную горечь, а там все растворилось в островатом чувстве незаживающей обиды.

Моня понял, что чья-то зависть, пугливая и действенная, преградила ему путь к славе, и брезгливо махнул рукой на человеческую низость с чувством: «Видит Б-г, последнее слово за потомством – нас рассудит история».

Вскоре он сроднился с постоянной, чем-то даже приятной и утешительной, печалью, небольно ноющей под левым соском.

Стояло золотое бессарабское утро. В огромном рекреационном зале жужжал начинающийся день. Дежурный сонно жевал слова утренней молитвы. За зеркальными окнами жизнерадостно трепетала веселая зелень, обрызганная солнцем и птичьим щебетом, и Моня самозабвенно слушал, как все в нем раскрывается, распрямляется, ширится навстречу зовам, трепету, соблазнам и обещаниям жизни.

Тревожный шмелиный шепот вернул Моню в темноватый высокий зал: грозно вращая глазами, но сохраняя жуткую неподвижность истукана, Красноханов протягивал ему деревянным жестом сложенную газету.

Моня повертел ее, посмотрел на сумасшедшие глаза Петьки – и чуть не зашатался от забившегося колотушкой сердца.

Наверху, в правом углу, под желтым масляным пятном и преступным отпечатком Петькиных пальцев, звонкими яркими буквами было выведено его имя. Редактор, значит, зачеркнул – умница! – дурацкого «Сфинкса» и заменил его гордым именем поэта. Еще бы! Вот они – все полностью – драгоценные буквы этого удивительного сочетания звуков: Эм-ма-ну-ил Кру-то-го-лов.

* * *

Г-споди, какое же это все-таки блаженство – дышать и жить в этом разогретом, солнечном, смешном и чудном мире!

Но в широко разлившуюся тему счастья внезапно упало стеклянное зерно испуга...

Покатилось, закружилось, зазвенело на самом дне, певуче разбилось вдребезги.

Брызги серебряных осколков, ледяные иглы, снежная пена, всплеск, бурно растущий гул, волна – и на Моню ринулся широкий шквал отчаяния. Задыхаясь, услышал далеко, в прошлом, в тьме египетской, в будущем, из потустороннего мира:

– Крутоголов! В учительскую!

* * *

В учительской инспектор бестолково дрыгал ножкой, тряс мальчишеским чубом, грозно шипел по слогам:

– Пи-са-тель. Писатель! Скажите по-жа-луй-ста.

Ядом мстительности было пропитано каждое слово.

– Я тебе покажу пи-са-тель-ство. Выкидайся – и приходи с отцом.

Моня впервые заметил, как долог, как бесконечно и мучительно долог путь из училища домой.



**Довид и Лея Кнут в Израиле.
Начало 1950-х годов. Публикуется впервые**

* * *

На следующее утро перед инспектором стоял Сруль Крутоголов с таким потерянным видом, как если б не его сынишка, а он сам напечатал стихи в «Вестнике».

Перед обкуренным инспектором переминался с ноги на ногу не тот Крутоголов, которого хорошо знали кишиневские коммерсанты – почтенный, в меру осанистый, с торжественным животом зажиточного еврея, добродушно-покладистый купец второй гильдии, и не домашний Сруль – громовержец и повелитель, ветхозаветный глава семьи, от взгляда которого цепенел даже безудержный Моня, – перед желтыми инспекторскими глазами мерцало некое удешевленное издание Сруля, поменьше форматом, беднее красками жизни, слабее и сиплее голосом, легче весом и осторожнее жестом.

Он виновато смотрел в цыплячий инспекторский ротик и умиленно повторял:

– Да, господин инспектор. Нет, господин инспектор. Так точно, господин инспектор. Я понимаю, господин инспектор.

И вдруг смелея, скороговоркой:

– Это у него с детства, господин инспектор. Книжки и стишки. Такое несчастье. Сколько раз я ему объяснял – прямо без рук остался: «Мончик, байструк, об чем ты себе думаешь!» Так он меня, извините за выражение, слушает сквозь пальцы... Прямо вылитый идиот, господин инспектор!

* * *

Дома напуганный Сруль долго гонялся за сыном по обеим комнатам квартиры, набитой хламом, ящиками и бакалейным товаром.

Отец задыхался от отчаяния, спотыкался об ящики и о стулья и все кричал:

– Я тебе покажу стихи!

Но показывал он не стихи, а суковатую дубинку, нервно ею потрясал...

Стратегически используя конъюнктуру, Моня вскочил на подоконник в спальней, мгновенно сплюснулся и проскочил сквозь оконную решетку.

Широкий путь к славе пролегал сквозь узкий чугун решетки, через законные отбросы и жестянки, густо обросшие лопухом, крапивой, ватой, обрывками газет и битыми аптечными склянками.

ЧАРЛИ ЧАПЛИН КАК ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЭТ

Прошло то время, когда кинематограф предназначался «галерной» публике. Из дешевой забавы он превратился в источник больших художественных наслаждений и для людей утонченных. И его уже богатое настоящее обещает нам невероятное будущее – ему суждены такие просторы, такое уловление народов, о котором даже не мечтало ни одно из существующих искусств.

Зачатый на театральных подмостках, еще не так давно бывший филиальным отделением театра, жалким, подражательным и еще более условным и искусственным, чем сам театр, ибо – лишенный такого орудия, как слово, кинематограф постепенно сознает свою сущность, от сущности театра отличную, освобождается от влияний театра и начинает жить самостоятельно, за свой собственный счет. Плевшийся раньше за театром, он вдруг остановился, чтобы свернуть на совершенно новую дорогу, где его ждут совсем иные задачи, возможности, свершения.

Наиболее независимые и чуткие из руководителей кинематографа поняли, что искусство кинематографа – новое искусство и, следовательно, способы его выражения также должны быть новыми. Кинематографические режиссеры поняли, что новому искусству нужны свои новые люди, и перестают вербовать для кинематографа театральных знаменитостей, которые роковым образом обесцвечиваются на экране хотя бы потому, что, играя по старой привычке, они бессмысленно и настойчиво шлепают на полотне губами.

Не будем сейчас останавливаться на сегодняшних – уже! – достижениях и завоеваниях кинематографа. Это нас отвлекло бы от нашей темы, и, кроме того, они у нас всех перед глазами.

Мне сейчас важно отметить, что одним из крупнейших факторов этого прозрения, осознания кинематографом своего существа, является Чарли Чаплин.

Его роль в истории кинематографа еще не оценена. И только в будущем, когда кинематограф наконец окончательно сбросит с себя ярмо театра и бесповоротно сойдет с рельс инерции и косности, чтобы утвердиться на своем пути, только тогда, оглянувшись, мы увидим, что одна из первых – первейших! – вех этой новой дороги – это Чарли Чаплин.

Но значение Чаплина не только в том, что он – один из первых – верно понял существо и задачи нового искусства. Чаплин, сверх того, гениальный актер. И этот универсальный мим, которому одинаково преданы сердца наивного африканца и рафинированного европейца, – специфический еврейский гений.

Чарли Чаплин – еврейский национальный поэт, и выражает он еврейскую душу.

В области кинематографа, искусства завтрашнего дня, искусства самого легкого и самого трудного, ибо – нового, еврейство дало миру не только гениального поэта-еврея, но, подчеркиваю, еврейского национального поэта.



**Посвящение Чарли Чаплину.
М. Шагал. 1929 год**

2.

Вы, вероятно, давно обратили внимание на то, что в Чарли Чаплине есть нечто, что категорически и безусловно отличает его от всех других мимов-эксцентриков того же жанра.

Те же, казалось бы, трюки, клоуничанье, кувырканыя, но... Вы знаете почему? Потому что нахальный и робкий, живой и флегматичный, восторженный, беспокойный и в то же время философски невозмутимый, Чарли Чаплин – еврейский актер. И его смешное тесно переплетено с печальным. И смех, который он вызывает в нас, всегда смешан с жалостью и сочувствием. Ибо его смех – еврейский смех. Его кувырканыя – не просто кувырканыя, оно лирично, трогательно, печально.

Ибо Чаплин – живой символ еврейства, прошедшего через голут, через бури и ветры стольких стран, прошедшего сквозь строй многих племен и народов и несущего с собой тяжелую память о многовековых унижениях.

Вот он ходит по улице.

Посмотрите на него: чересчур вежливого смешной, преувеличенной вежливостью загнанного человека, знающего, что его терпят, что все другие – люди, имеющие право, а он – так себе, между прочим...

Наступит ли ему кто на ногу, толкнет, получит ли он нечаянно чей-нибудь тяжеловесный локоть в бок – он же, испуганно и извиняясь, шаркнет ножкой, приподымет котелок, подберется и всей своей жалкой фигуркой изобразит: простите, пожалуйста, что натолкнулся на ваш кулак, что подвернулся под опорожняемый вами горшок, что полез, дурак, под ваш автомобиль.

Не только не догадается рассердиться – куда ему! – курица не птица! – но жалко улыбнется торопливой заискивающей улыбочкой, вскинет котелок и виновато засеменит прочь. Вообще, котелок его взлетает каждую секунду – порой заденет фонарный столб: улыбочка, взлет котелка, пардон. Это у него рефлекс. Привычка, видите ли, молоко матери.

И только после, заметив, что – столб, меланхолично постоит, подумает, почешется – и дальше.

И походка-то у него такая: не походка, а походочка – я, мол, так себе, между прочим, – поспешная какая-то, виноватая; и весь он как бы старается съежиться, уменьшиться, занять поменьше места, обмануть зрение – показаться меньше, чем он есть на самом деле.

Посмотрите на любого кинематографического мима-комика, хотя бы на того же Макса Линдера, до обидного превзойденного учителя Чаплина. Движения его широки и уверены, и глуп ли он, хитер ли, наивен ли, фланирует ли он, боксирует ли, ухаживает ли за пожарным, переодетым горничной, движения его жизнерадостны, беспечны, свободны. Он у себя дома. Чаплин же всегда не у себя. Он гуляет на чужой улице, танцует на чужой свадьбе, причем его никто на нее и не приглашал. Поэтому и движения его какие-то неуверенные, и пристает-то он к женщинам не так, как другие мужчины, и нахальство его какое-то не настоящее, часто – преувеличенное, чересчур нахальное нахальство робкого, и улыбка у него принужденная, и весь он какой-то ненатуральный.

И как бы ни сотрясалась в вакханалии слегка его курчавая еврейская голова, как бы ни прыгали от смеха смешные щетки его усиков, в его трогательных, наивных, простых глазах та же застывшая навсегда меланхолия, то же печальное недоумение. В этом секрет его обаяния.

Перед нами не только человек кувыркающийся, опрокидывающий лотки с яблоками, прыгающий, бегающий, падающий, перед нами чувствительное – такое чувствительное – бедное человеческое сердце, умеющее сжиматься от боли, жалости, холода, одиночества, обиды.

С Чарли Чаплиным вы не только смеетесь. Вы его жалеете, любите, вы к нему привязываетесь. И в то время, как вы совершенно равнодушны к судьбе какого-нибудь Линдера, Фатти и др., вы от всей души хотите, чтобы Чаплин избег дубины, поджидающей его за поворотом, наивного и беспечного, чтобы промахнулся стреляющий в него лавочник. Потому что вы его любите, потому что он вам дорог.

И вы уходите из зала, где вы хохотали, как сумасшедший, где стены дрожали от взрывов хохота, опьяненный какой-то смутной меланхолией и даже – признайтесь – тоской.

Этот виртуоз-эксцентрик и изобретательный акробат умеет затронуть в вас те же струны – те же! – жалости и сострадания к маленьким и униженным, что затрагивает в вас Шолом-Алейхем. Не Достоевский, а Шолом-Алейхем. Ибо Чарли Чаплин, изворотливый, находчивый, вечная причина всех бед, и умеющий находить выход там, где его нет, – еврей. И его творчество – еврейское творчество. И еврейские – этот смех, этот глаз и эта его трагикомическая повесть.

Представляете ли вы себе Чаплина без его тросточки? Безусловно, нет. Чаплин без тросточки – все равно что рыба без хвоста, что человек без носа. Они друг от друга неотделимы.

И вы, понятно, думаете, что здесь сказывается сила привычки, – и ошибаетесь.

Чарли Чаплин немыслим без своей бессмертной тросточки потому, что он еврейский мим, потому что он еврей, потому что его нервные, живые еврейские руки должны что-нибудь вертеть, гнуть, ломать. Хорошо, если подвернется пуговица соседа, но это же случайность и полагаться на нее нельзя.

Да и тросточка у него какая-то еврейская – гибкая, живучая, выходящая невредимой из самых скверных злоключений.

Чарли Чаплин – еврейский национальный поэт. В той же мере как Шолом-Алейхем. Тот же у него смех сквозь слезы, и повесть его – та же повесть, смешная и трогательная, о смешной и печальной жизни юркого, быстрого, изворотливого, живучего и – увы – хронически несчастного шолом-алейхемского неудачника.

Это та же жуткая повесть о страданиях и злой судьбе вечного жида, всюду чужого, гонимого, нелюбимого, несущего как проклятие тяжелую и несправедливую долю.

Но таков парадокс еврейской души: мы смеемся, читая Шолом-Алейхема, и нам так весело с Чарли Чаплиным...

Не по той же <ли> причине, по которой самые веселые еврейские народные песни написаны в минорном тоне и оведают вас дыханьем грусти и тайной – где-то в самой глубине – печали.

ИУДЕЯ

Ī īē:āēē ē ñò ðāñò í ī āūū ðāēē í á:āēū ī ū.

Ōāē - òāðñò āāí í ī - í ē ù ē ē ðāēē āā

Ī ðāē ðāñ ū á :ōē āū á ñó:í ū á í āēū ū

Ēā:āēēññí í à æ āñò ēēō ñò āñ ēāā

Ī āāí āí í ī p í ī ñò ōí ū p, ñò ðī ē í í ē ē āāñ í ē,

*Ñò õí àèè àáðáèþáù ááàèè,
Í à ñèèíí á ááñí èíáí íì, í à ôíí á ááçí áðí íì
Ðíáí íé è áðáæáááí íé çáì èè.
Í í èõ í áðáá àèè á áðíõí÷óíáí ÷óáá
Á èðíèàòíì ææéçííì áíçéá! -
È èíðíòéíøòáííúáííáíáèþáè
Ñáèñò áèè í à áðçíáèéá
Ñáèñò áèè í æèçí è ááçáðáøííé è ííáíé
Í á - íáàòíááí ííé çáì èá
Ááá ñ: áñò èá: òðóá íáíðèáí÷íí-ñðíáíé
È - ííòíì ííñéáííúé òéáá
Í òíì, ÷òí òáíé áðáò ñí íáà ñò àè ò ááá áðáòíì
È íðèí áò èõ áñóó íò÷èé áíí :
Õóáóþ íáóó èáááàèèñò à èç Õòàò à
È áááóøéó-ñò ðáæà ñ ðáæíáí .*

Публикация, подготовка текста и предисловие Владимира Хазана

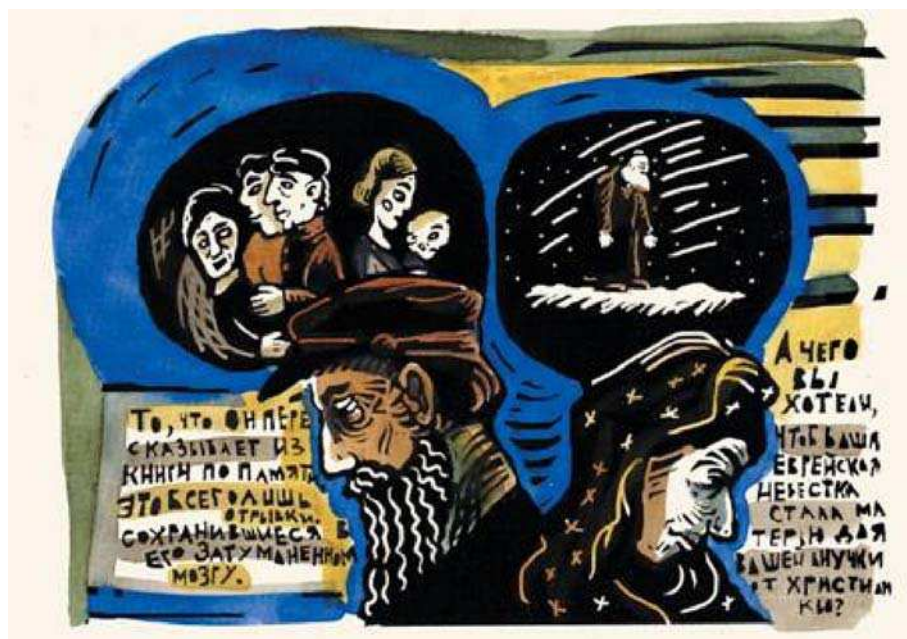
[1] См.: Хазан В. Довид Кнут: Судьба и творчество. Lyon: Centre d'Études Slaves André Lirondelle, Université Jean-Moulin <2000>; Федоров Ф.П. Довид Кнут. М.: МИК, 2005. С. 28–37.

[2] См. об этом: Дымов О. Минувшее проходит предо мною / Публ. и коммент. В. Хазана // Параллели: Русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах. 2005. № 6/7. С. 214.

ПОМЕШАННЫЙ РАВВИН

Ḥayî Ḥayî

Реб Мешулем Гринвалд, помешанный раввин, как его называли, каждый день с утра до вечера сидел в Немом миньяне и писал свое сочинение с поспешностью и напряженностью человека, пишущего письмо в последние полчаса перед уходом поезда. За неделю до Хануки, когда ледяной ветер уже резал лицо, реб Мешулем Гринвалд перестал писать и принялся останавливать аскетов в молельнях и людей на улице, рассказывая каждому, что его сочинение уже готово. Теперь самое время издать его, и тогда мир увидит, что немцы измыслили на евреев навет. Большое ясное лицо венгерского раввина, с черными пылающими глазами и белой кудрявой бородой, вызывало почтение, смешанное со страхом и жалостью. Он ходил в широком длинном лапсердаке, в еще более широкой раввинской накидке поверх лапсердака, но с распахнутой грудью, и не замечал, что уже зима. Ни у кого не было духу ответить ему: а если напечатают вашу книгу, так не будет войны? Поэтому, пока он говорил, слушатели молчали, опустив глаза, чтобы он не догадался, что его считают помешанным.



Распорядитель городской общины вышел из молельни на Синагогальном дворе. Реб Мешулем Гринвалд остановил его и снова принялся рассказывать то же самое: в своем сочинении он доказывает знамениями и чудесами^[1], что повсюду в Гемаре, где говорится о гоях, наши мудрецы имеют в виду прежних язычников, которые были убийцами и лжецами; но совсем не имеются в виду, Б-же упаси, нынешние христиане. Так почему же ничего не делается, чтобы напечатать его сочинение и спасти евреев, пока не поздно? Распорядитель городской общины стоял в растерянности. Венгерский раввин с белой растрепанной бородой казался ему пророком Самуилом, которого царь Саул вызвал из могилы перед своей последней битвой с филистимлянами.

– У меня нет средств, чтобы напечатать мои собственные сочинения по Торе, так что же я могу сделать для вашей книги? – оправдывался распорядитель.

– Я не писал сочинение по Торе, чтобы показать свой острый ум, я своим сочинением хочу спасти евреев от гибели, – реб Мешулем Гринвалд сказал это, резко повернулся и вошел в синагогу Семерых Вызываемых к Торе, из которой распорядитель только что вышел. Там уже читал предвечернюю молитву свежий миньян, и кантор у бимы уже произносил «Высокую кдушу», чтобы это заняло меньше времени[2]. Как только молящиеся отстояли тихую молитву восемнадцати благословений, венгерский раввин поднялся на биму и ударил по столу.

– Эти, с позволения сказать, мудрецы, эти немецкие профессора пишут в своих книгах, что Талмуд учит евреев, как устраивать подкоп под царства и учинять революции. Я доказываю в моем сочинении, что по еврейскому закону нельзя поддерживать восстания против царства. Великий алахический авторитет выносит постановление, что, если известно о еврее, который изготавливает фальшивые деньги или другие подделки, надо обязательно выдать его царству[3]. Я трудился над моим сочинением годами, но я не требую ни денег, ни почета, и я готов издать это сочинение без упоминания моего имени, лишь бы спасти евреев, прежде чем будет поздно.

Молящиеся еще не закончили молиться, соблюдающие траур еще должны были сказать поминальную молитву – в молельне воцарилась мертвая тишина и евреи стали выходить из нее один за другим. Когда реб Мешулем Гринвалд спустился с бимы, перед ним стоял только помощник служки с открытым ртом и с кружкой для пожертвований в руке, словно он хотел показать венгерскому раввину без слов, что из-за него молящиеся разбежались и не положили в кружку той пары грошей, которые он, помощник служки, получает за то, что собирает миньян.

Больше, чем от всех остальных, реб Мешулем Гринвалд требовал помощи от владелицы хлебопекарни, которая летом каждую пятницу подшивала новую чистую тетрадь к его сочинению. Теперь венгерский раввин заходил не только по пятницам, но и по несколько раз в день, говорил пару слов и быстро выходил. Продащицы потребовали от хозяйки: пусть она поставит у двери специально нанятого дворника, чтобы он не впускал помешанного, потому что, когда он входит и начинает говорить, у домохозяек опускаются руки. Вместо того чтобы покупать печенье и сладкие бабки, женщины хватают буханки хлеба и бегут домой, словно уже началась война и свирепствует голод. Хана-Этл Песелес не искала спасения. Но ей было до боли в сердце жалко больного ребе, и она едва дождалась, чтобы в пекарню зашел лесоторговец Рахмиэл Севек. Хотя они больше не собирались пожениться, они остались добрыми друзьями и даже немного больше того.

– Почему вы ничего не делаете, чтобы напечатать книгу венгерского раввина? Он ведь еще, не дай Б-г, совсем сойдет с ума, – говорила Хана-Этл со слезами на глазах. – Я даю на печатание книги первые сто злотых, а если потребуется, добавлю еще.

– А если вы дадите тысячу злотых, разве это поможет? – печально и мягко улыбнулся Рахмиэл Севек. – Наборщики из типографии не смогут набрать ни одной страницы этой книги. Я тоже думал, что надо для этого раввина что-то сделать, и попросил его показать мне рукопись сочинения. Почему я хотел увидеть сочинение? Потому что я слышал от изучающих Тору, что все написанное венгерским раввином перекручено и переверчено, ну вот как сейчас метель на улице. Он мне показал пачку сшитых вами тетрадней, он путался и перепрыгивал со страницы на страницу, и сам не сумел прочесть даже пары строк, настолько там все перепутано. То, что он пересказывает из книги по памяти, это всего лишь отрывки, сохранившиеся в его затуманенном мозгу. А на бумаге у него нет ничего ясного.

По обеспокоенному лицу Рахмиэла Севека Хана-Этл Песелес поняла, что, говоря о больном ребенке, он имеет в виду и собственные беды. Хана-Этл знала, что разведенный сын Севека уже женился на своей прежней еврейской невесте и обещал ее родителям, что никогда не приведет в дом ребенка от первой жены-христианки. Из-за этого Рахмиэл Севек так несчастен. Владелица пекарни сказала, вложив в слова всю горечь своего тяжелого сердца:

– А чего вы хотели, чтобы ваша еврейская невестка стала матерью для вашей внучки от христианки? Эту христианку и ее ребенка вам жалко, а когда ваша еврейская невестка хочет вести еврейский дом и занять с вашим сыном еврейских детей, этого вы не хотите или не можете понять. Дайте мне грош за вашу доброту.

Лесоторговец уже давно не надеялся, что посторонние смогут разобраться в его бедах. Он передразнил владелицу хлебопекарни с такой злобой, словно они были мужем и женой, которые прожили вместе целую жизнь и теперь понемногу ссорятся из-за своих наследников. Вот она какая добрая мама для всех еврейских детей? Рахмиэл Севек покрутил головой в деланном удивлении. Но он считает, что его еврейская невестка – корова, а ее родители – бессердечные люди. Как невестка и ее родители могут верить его сыну, этому бугаю Хаце, что он еще будет хорошим мужем и отцом, если они требуют от него, чтобы он отказался от своего предыдущего ребенка, от собственной плоти и крови? Возмущенный лесоторговец ушел бы на этот раз, не попрощавшись, если бы он не зашел по делу. Рахмиэл Севек в последнее время стал чаще бывать в Немом миньяне и начал поддерживать аскетов. Чтобы им не приходилось отменять изучение Торы и унижаться, ходя и прося за себя, лесоторговец определил им недельную плату. Он составил список обывателей, которые ему не откажут, и обходил их, собирая деньги.

– Я пришел за недельной платой для аскетов. – Худыми пальцами Рахмиэл Севек потер свою сухую колючую щеку.

Получив с Ханы-Этл пятерку, он улыбнулся.

– Изучающие Тору сидят в вашей молельне, каждый получает от вас выпечку, хлеб, так вы еще и доплачиваете наличными. И все-таки важно, чтобы обыватели знали, что и владелица двора и молельни платит аскетам.

Рахмиэл Севек сунул свой длинный и тонкий нос в маленькую книжечку со списком жертвователей и долго смотрел в нее, прищурившись. Потом он закрыл книжечку с улыбкой человека, который делает это себе назло. Когда эта шикса Хеленка была женой его сына, Хаця никогда не думал о том, чтобы разделить с отцом. Но с тех пор, как он вернулся к своей еврейской невесте, он только и мечтает выйти из компаньонства. Конец лесоторговой фирме «Рахмиэл Севек и сын»! А когда Хацю спрашивают, что делает отец, он отвечает: «Что ему делать, этому старому сумасброду?»

Лесоторговец вышел на улицу и поднял воротник поношенного пальто, чтобы защититься от снега и ветра, сразу же бросившихся ему в лицо. Владелица хлебопекарни смотрела ему вслед в окно двери и думала, что с его сгорбленной спиной, худым морщинистым лицом и замерзшим кончиком носа он выглядит как человек, который сам нуждается в поддержке, а он при этом жертвует щедрой рукой, даже щедрее, чем может себе позволить. И так как он щедро раздает пожертвования, между ним и его сыном нет мира. Рахмиэл недавно рассказал ей, что именно его христианская невестка не поддерживала мужа, когда он ссорился с отцом из-за того, что тот раздает слишком много

пожертвований. Хана-Этл заглянула в пекарню и увидела, что чужих нет. На ее лице расцвела свежая улыбка, и она сказала продавщицам:

– Хороший еврей этот Рахмиэл Севек, правда?

Она сразу же покраснела до корней волос под шерстяным платком, как молодая невеста, которая забылась и слишком сильно похвалила собственного жениха.

Но сразу же ее лицо снова стало серьезным. О том, что Рахмиэл Севек ссорится с сыном, знают все, но о том, что и между ней и ее дочерьми в последнее время резко ухудшились отношения, она никому не рассказывает, даже Рахмиэлу Севеку. С тех пор как поляки хотят превзойти немцев в своей ненависти к евреям, дочери и зятя упрекают ее, что по ее вине они еще годы назад не уехали за море. Когда отец был жив, он не хотел продавать двора, потому что это наследство дедов, и после смерти отца мать считала также. А ведь в те добрые годы, говорят дети, не было нехватки в охотниках купить двор и перестроить квартиры в магазины. Тогда бы они получили большую сумму денег и, приехав в новую страну, были бы людьми с положением. Но мать возражала, а они не хотели оставлять ни ее, ни своего наследства, с позволения сказать. Теперь ни в Америку, ни в Южную Африку больше не пускают, а на доход, который приносит их нищий двор, его даже нельзя отремонтировать. Она отвечает детям, что для нее этот двор с молельней стоит не меньше, чем могила их отца, – и даже больше, потому что двор – это живой памятник ее мужу и бедные квартиросъемщики благословляют имя покойного реб Шмуэля-Йосефа Песелеса. Чтобы избежать споров, она перестала заходить к детям, а обитатели двора и аскеты Немого миньяна стали ей еще дороже.



Из-за его благородного лица и манер венгерский раввин был ей особенно дорог. Но, услышав от Рахмиэля Севека, что в сочинении реб Мешулема Гринвалда все перепутано, как и в его голове, Хана-Этл вздрагивала каждый раз, когда входил венгерский раввин. Он казался ей утопленником, выбравшимся из-под льда зимней реки, такой белой и промерзшей была его борода.

– В моем сочинении я привожу выдержки из святых книг, указывающих на то, что ворующий у христианского соседа будет потом воровать и у соседа-еврея. В моем сочинении я с корнем выдираю все наветы врагов Израиля. Не напечатав мою книгу, вы обрушиваете несчастье на весь народ Израиля! – говорил владелице пекарни реб Мешулем Гринвалд голосом, доносившимся из его бороды, как из глухого заснеженного леса, и выходил на улицу с тем же пылом, с каким входил.

Пару дней он не показывался, и Хана-Этл благодарила Б-га. Она думала, что, если ей повезет, он придет только в пятницу, когда аскеты Немого миньяна приходят к ней за халой на субботу. В пятницу первым зашел «эта напасть», как низенькая продавщица с проворными руками прозвала вержбеловского аскета. Но даже она, продавщица со злым языком, которая всегда передразнивала реб Довида-Арона, на этот раз просто онемела, потрясенная изменениями в его поведении и внешнем виде.

Всего две недели назад, в среду, он зашел расфуфыренный и подстриженный, как молодой парень-жених, и рассказал историю, что его приглашают раввином в какое-то местечко. Ушел он тогда каким-то очень уж обиженным и даже не пришел в пятницу за халой. На этот раз он снова зашел, как в старые времена, оборванный и съездившийся. Но он больше не ступал меленькими шажками и не начинал, как раньше, говорить то ли по-еврейски, то ли по-немецки: «Извините меня, пожалуйста, что я отнимаю у вас ваше драгоценное время». Он сразу начал говорить сердито и на простом идише:

– С тех пор как я сижу и изучаю Тору в Немом миньяне, я никогда не брал подаваний, никогда!

Так воскликнул реб Довид-Арон Гохгешталт и оглянулся со страхом. В Немом миньяне он действительно никогда ни от кого ничего не брал. Но знает ли Хана-Этл Песелес, что совсем недавно он потихоньку ходил по молельням и собирал деньги, чтобы приодеться? Благодарение Творцу мира! По ее взгляду на него видно, что она ничего не знает. Абсолютно ничего. Не знает она, эта еврейка, что он готовился к будущему, к тому, чтобы встать с ней вместе под свадебный балдахин, пока не увидел собственными глазами, что она ничем не отличается от его проклятой жены. И реб Довид-Арон Гохгешталт стал говорить еще резче.

Хотя он не брал подаваний, он считал, что не зазорно получать плату за то, что он проводит всю жизнь свою в сидении над Торой и служении. Но когда он намекнул об этом столяру Эльокуму Папу, этому наглецу и самозваному старосте Немого миньяна, тот посоветовал реб Довиду-Арону заняться ощищиванием гусиных тушек. Будет ли он, один из лучших учеников Тельзской ешивы, пускаться в спор с человеком из толпы? С простым ремесленником, вырезающим из дерева птичек и коробочки для благовоний? Он промолчал. А теперь получается, что лесоторговец Рахмиэл Севек часто заходит в Немой миньян. Поскольку он в Немом миньяне новичок и не знает разницы между одним сидящим в шатре Торы и другим, он очень уж восхищается аскетом, который тоже новичок в молельне, – реб Гилелем Березинкером. Лесоторговец Рахмиэл Севек говорит ему: «Мир вам, ребе. Вы хорошо поступили, сделав Немой миньян вашим местом изучения Торы». Реб Гилель Березинкер отвечает ему сердито и рыча, как лесной зверь: «Все благодарят меня за то, что я сижу здесь и изучаю Тору. Но о том, чтобы мне было на что жить, никто не заботится; и чтоб мне было что посылать на пропитание моим жене и детям, тем более никто не заботится». Лесоторговец Рахмиэл Севек ему отвечает: «Не беспокойтесь, ребе, я уж позабочусь о том, чтобы вам было на что жить». Так вместо того, чтобы поблагодарить, реб Гилель Березинкер выдвинул еще бóльшие претензии: «Не просто вспомоществование нужно мне, а полное содержание для меня, моей жены и моих

детей!» И вот лесоторговец Рахмиэл Севек бегает уже целую неделю, собирает деньги для этого реб Гилеля Березинкера. А теперь он хочет знать, подвел итог реб Довид-Арон Гохгешталт, почему он получает меньшую поддержку, чем реб Гилель Березинкер? Чем он хуже какого-то реб Гилеля Березинкера? Может быть, тем, что не поспорил со всеми евреями города, он хуже? Может быть, тем, что он появился в Немом миньяне не вчера и не позавчера, он хуже?



– Кто говорит, что вы хуже? – нетерпеливо крикнула Хана-Этл, замученная разговорами и наговорами вержбеловского аскета. – Надо помочь вам, надо помочь этому новому аскету, реб Гилелю Березинкеру, слепому проповеднику реб Манушу Мацу, а также венгерскому раввину Мешулему Гринвалду.

И владелица хлебопекарни подмигнула старшей продавщице, которая сразу же протянула аскету бумажный пакетик с халой на субботу.

– Как дела у венгерского раввина? – продолжила разговор Хана-Этл. – Раньше он заходил каждый день, а вот с понедельника я его уже не видела.

– Вы еще не знаете? – Вержбеловский аскет спрятал пакет с халами под пальто. – Реб Мешулем Гринвалд еще во вторник утром собрал свои вещи в мешок и пошел на поезд. Больше его не видели.

У Ханы-Этл Песелес закружилась голова. Колени у нее чуть не подогнулись, и она тяжело опустилась на стул, раскинув руки.

– В такую погоду, в такую метель без теплой одежды он отправился странствовать? – И она расплакалась.

– Он сказал, что он едет искать город с хорошими евреями, которые напечатают его сочинение, прежде чем будет поздно, – сообщил реб Довид-Арон Гохгешталт и начал выходить из пекарни спиной вперед с кислой обиженной улыбкой: к любому другому аскету Хана-Этл гораздо внимательнее, чем к нему.

Из глаз Ханы-Этл струились слезы. Высокой и пухлой добросердечной продавщице тоже хотелось плакать. Но она сдержалась и стала утешать хозяйку, что куда бы ни забрел помешанный раввин, там найдутся евреи и не дадут ему пропасть. Может быть, он вспомнил страну и город, где он оставил своих жену и детей, и уехал к ним? Вторая продавщица, низенькая, умная и злая, крикнула своей товарке, что та что-то крутит.

– Он что, поехал за границу к жене и детям? Ну а деньги и паспорт у него есть? Дай Б-г, чтобы ему хватило на билет до какого-нибудь местечка в паре станций от Вильны. Пошляется там немного и вернется, наверняка вернется.

Хана-Этл Песелес слышала, но ничего не отвечала. Она спрятала лицо в ладони и печально качала головой, словно только сейчас стала вдовой и плачет, благословляя субботние свечи в своем пустом доме.

Перевод с идиша Велвля Чернина

В серии «Проза еврейской жизни» издательство «Книжники» в ближайшее время готовит к выпуску первое русское издание «Немого миньяна» Хаима Граде.

[1] То есть с бесспорной очевидностью. Цитата из библейской книги «Дварим» (Второзаконие), 4:34.

[2] Кдушa – буквально «святость», отрывок из молитвы восемнадцати благословений. Обычно эта молитва в предвечернюю службу целиком читается дважды: сначала каждым молящимся про себя, а затем кантором. Однако существует возможность «ускорить» предвечернюю службу. В этом случае кантор сначала читает вслух молитву восемнадцати благословений до кдуши включительно, после чего каждый из молящихся дочитывает молитву про себя.

[3] Имеются в виду нееврейские гражданские власти.

НАСТОЯЩИЙ ЕВРОПЕЕЦ

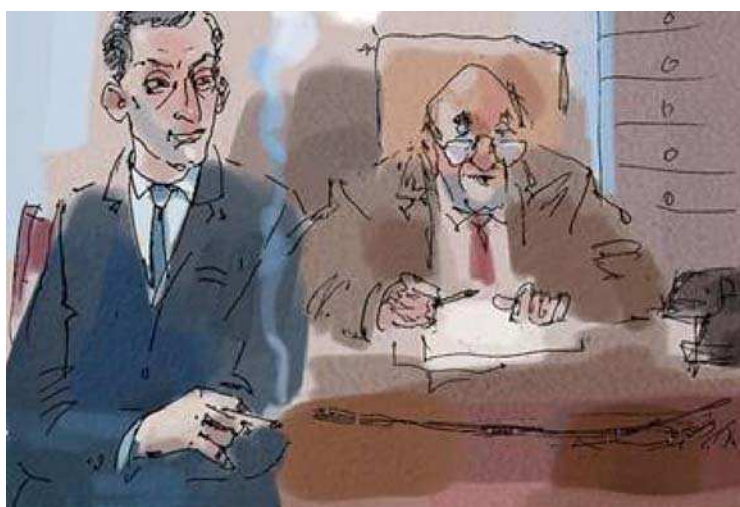
Dè-àdä Oò-àdä

1.

Мистер Вебер сошел с ума: для большинства служащих это было приятным сюрпризом, а для Гарри Пфайфера лишь подтверждением тягостной истины.

Пфайфер был «нью-йоркским напарником» мистера Вебера – стал им сразу, как пришел работать в «Ди-Джей Интернэшнл», то есть почти через год после того, как приплыл из Гамбурга. Четырнадцать лет он слушал рассказы про мистера Вебера, и они его нисколько не забавляли: беженец из Германии, он насмотрелся на безумие у власти. В его обязанности входило читать многословные официальные отчеты Вебера, а вскоре выяснилось, что он еще должен выполнять личные просьбы, присовокупляемые к каждому посланию. Ежемесячно он отправлял свою секретаршу в киоск за комиксами, которых требовали дети Вебера; дважды в год звонил в «Блумингдейлз»^[1] – заказывал двадцать четыре банки арахисового масла и два бочонка соленых крекеров – столько ухитрялись поглощать американцы в Сен-Жермен-ан-Ле. С меньшей регулярностью поступали заказы на банки «Санки»^[2], упаковки бумажных носовых платков, лампы для радиоприемников, бритвы «Санбим», нейлон, сигариллы, и все это упаковывал и посылал сотрудник компании по одну сторону Атлантики, а принимал и распаковывал сотрудник компании по другую сторону Атлантики.

Веберы прожили в Европе девять лет, а до этого – десять лет в Буэнос-Айресе. Все эти годы в них крепла страсть к американским товарам, которая в конце концов вытеснила все иные теплые чувства к родной стране. Ежегодные поездки в Нью-Йорк нисколько ни смягчали ситуацию.



Во время этих посещений Пфайфер и наблюдал Арнольда Вебера, после чего возвращался домой, к жене, пророчески, как оказалось, бормоча: «Он псих!»

Последние события подтвердили его правоту. Торжествующий Пфайфер сидел у себя в кабинетике и смотрел, как снаружи служащие рассказывают, искажая каждый по-своему, эту историю. Он-то, по-видимому, знал самую достоверную версию – от мистера Крейна, который разговаривал с Шантелу по трансатлантическому телефону.

Оказывается, Вебер пришел на работу подавленный, бурчал себе под нос что-то про европейцев. Просидев в кабинете час, он послал за Шантелу и де Рубеном. Войдя, они увидели, что он голый висит на брусках (он оборудовал в кабинете спортзал). Они подошли спросить, чем ему помочь, а он с криком «Лягушатники вонючие!» запрыгнул де Рубену на плечи, повалил на пол и укусил в шею. Услышав вопли о помощи, в кабинет ринулись служащие – унимать Вебера. Вызвали его шофера, и они с Шантелу одели Вебера и отвезли к врачу. Диагноз гласил: тяжелейший нервный срыв. Его необходимо было поместить на неопределенный срок в клинику, причем в американскую – ввиду его очевидно параноидальной реакции на Европу и европейцев. Заказали билеты на самолет до Нью-Йорка, наняли двух медсестер, которые должны были сопровождать его в Штаты.

В три тридцать секретарша Пфайфера покрутила у виска указательным пальцем. Пфайфер зашнуровал свой ортопедический ботинок и заковылял по коридору к кабинету Белмана. Он прекрасно понимал, что разговор пойдет о Вебере, но заботило его не столько это. Последние полчаса он размышлял о деле Вебера лишь в свете того, поможет ли оно ему осуществить намерение закурить в присутствии Белмана. По пути в кабинет он решил, что Белман, возможно, настолько взбудоражен этими новостями, что и не заметит дерзкого новшества.

Мисс Пинни жестом показала, что Пфайфер может пройти в кабинет, и он вытащил из кармана брюк пачку «Честерфилда». Мистер Белман не поднял головы от бумаг. Пфайфер сел и чиркнул спичкой.

– Садитесь, Гарри, – сказал Белман, продолжая изучать бумаги.

– Благодарю вас. – Пфайфер, несмотря на невыгодную позицию, закурил. Он задерживал дым, пока едва не пропитался им насквозь, а потом выдохнул, отвернувшись от стола к окну.

Белман поднял на него огромные голубые глаза:

– Вы слышали про Арнольда?

Пфайфер кивнул и снова затянулся, бледнея от усилия сдержать дрожь в руке.

– Я отправляюсь туда завтра – посмотреть, что можно сделать. Единственное, чего я не могу, Гарри, так это остаться там.

Пфайфер выпустил дым себе в колени.

– Мы беседовали об этом с Крейном. И считаем, что это место следует занять вам. – Он пододвинул Пфайферу пепельницу, и тот затушил сигарету. – Понимаю, такие вопросы с ходу решать трудно, но ответ нужен как можно скорее, Гарри. Вы можете все взвесить за выходные? Если решите отказаться, дайте мне телеграмму в «Георга Пятого». В ином случае мы закажем вам билет на следующий четверг. Семья может присоединиться к вам позже. Паспорт у вас есть?

– Только старый немецкий – храню как сувенир, – сказал Пфайфер.

– Ясно. Так займитесь первым делом этим. Если не согласитесь, компания потеряет всего десять долларов. – Он открыл сигаретницу с дамасской мозаикой. – Попробуйте эти. Кажется, румынские.

– Благодарю, – сказал Пфайфер и взял сигарету.

– Две сотни франками там, три сотни здесь, все расходы франками либо любой местной валютой. Желаю приятных выходных, Пфайфер. Надеюсь, вы согласитесь нам помочь. Скорее всего, это где-то на полгода. Арнольда не так-то просто привязать к койке. Надеюсь, вы отлично проведете время. Вы с женой там никогда не бывали?

– Нет, – ответил Пфайфер.

– В таком случае повеселитесь. Посмотрите на Европу глазами американцев.

– Да, очень любопытно, – сказал Пфайфер.

– Там у нас Шипли резвится, – продолжал Белман. Шипли работал в компании с незапамятных времен, и последние лет десять Белман искал способы вычеркнуть его имя из платежной ведомости. – Вы ведь с ним приятели?

– Он привел меня в компанию.

– Может, развлекая вас, он отработает хоть часть получаемых им денег.

– Я обсужу все с женой, мистер Белман. Благодарю за оказанное доверие.

– Надеюсь, вы его оправдаете, Гарри.

– А пока что я займусь паспортом.

Когда Пфайфер открыл дверь, Белман крикнул ему вдогонку:

– Гарри, лучше вас с этой работой никто не справится. Если скажете «да», Джилли закажет вам номер в «Кастильоне». Славный отель, там куда спокойнее, чем в «Георге Пятом». Думаю, он вам больше понравится.

Пфайфер оставил румынскую сигарету в пепельнице мисс Пинни. Хоть это он исполнил.

– Леопольд, – обратился он к помощнику бухгалтера, сидевшему в общем зале за столом, заваленном бухгалтерскими книгами, – Скажите Джилман, пусть закажет мне билет в Париж на следующий четверг. Я сейчас еду в паспортный отдел.

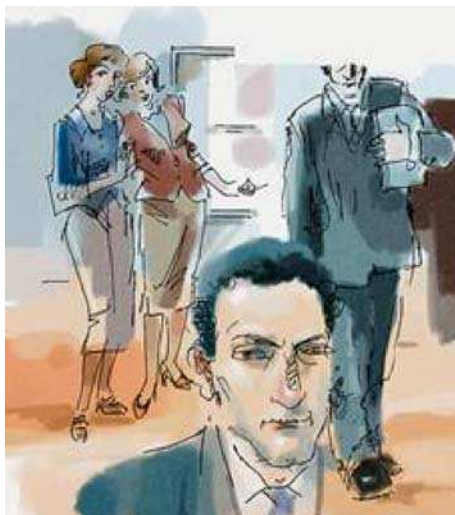
– Sie fahren nach Paris?[3]

– В четверг.

– Und zuru..ck?[4]

– Кто его знает.

Пфайфер надел пальто и заковылял к лифту. Он никогда не бывал в Париже. В Страсбурге был, а в Париже нет. Через три месяца, а то и через месяц он, быть может, снова его увидит. И Германию увидит: во Франкфурте было отделение «Ди-Джей». Может, даже снова побывает в Бебельсхаузене. Или в Гамбурге, хотя Гамбурга он больше никогда не хотел видеть, даже в руинах, в облаках пыли, застилающих солнце.



2.

Гамбург был последним городом в Европе, который видел Пфайфер. Пятнадцать лет назад. Он тогда звался Хайнцем Пфайфером, и он пять часов бродил по улицам Гамбурга – не мог посидеть ни в ресторане, ни в вестибюле отеля, не мог сходить в кино или отдохнуть в парке, где и на скамейках висели таблички «Für Hunde und Juden Verboten»^[5]. Он шел, опустив голову, прячась от посторонних взглядов – любопытных или смущенных, и лишь в районе пристани купил у уличного торговца две булочки и съел их стоя, прислонившись к стене.

Однако покидал он все же не столько Германию, сколько Европу, и поэтому испытывал не только огромное облегчение, но и сожаление: он сожалел о тех чудесных условиях, которые позволили ему, увечному мальчишке-недоростку, сыну немецкого еврея-бакалейщика из Бебельсхаузена-на-Рейне, считать себя ein guter Europa.er^[6] и быть таковым в глазах товарищей. Он учился в Мюнхене, Женеве, Страсбурге, Гейдельберге, Берне, и всюду он держался одинаково: чувство юмора в сочетании с упорством – идеальный склад характера для буржуазного европейского студента двадцатых и тридцатых. Его любили и мужчины, и, невзирая на увечную ногу, женщины.

Тревоги почти не ощущалось, ничто не предвещало того, чему суждено было случиться. Пфайфер запомнил единственный инцидент и то главным образом потому, что он имел поразительное, но, к счастью, краткое продолжение. Это было весной 1930 года, когда они с приятелями решили проплыть по Рейну. Много пили, пели, танцевали. Пфайфер танцевал весьма неплохо для своего увечья, и когда он кружился в танце с одной из самых красивых девушек на пароходе, его кто-то толкнул раз, другой. На третий раз он обернулся и увидел здорового парня из другой компании, парня, который, как он знал, был членом молодежной нацистской группы в Гейдельберге.

– Еще раз меня толкнешь, – сказал Пфайфер, – я тебе по морде врежу.

Парень расхохотался, и Пфайфер ему врезал. Тут же подоспели его друзья, пригрозили швырнуть парня в Рейн и выпили за героизм Пфайфера.

Продолжение последовало через пять лет. Как-то вечером Пфайфер сошел с поезда в Дюссельдорфе, где собирался подписать договор, дававший ему право на выездную визу. Он был на улице один, когда увидел шагнувшего ему навстречу того самого типа в форме и с кобурой на бедре. «Я погиб, – подумал он. – Все кончено. Эта свинья вышибет мне мозги, а тело бросит в сточную канаву». Он закрыл глаза и услышал, как шаги прогрохотали мимо.

Годом раньше он вернулся из Берна в Германию. Он не собирался возвращаться, пока не переменится политическая ситуация, но тетя написала, что его мать умирает. На границе его остановили двое полицейских и спросили: «Пфайфер, где бумаги?» Пфайфер ответил, что они, должно быть, что-то напутали, потому что он всего лишь студент-юрист из Берна. Они не стали спорить, отели его в участок, раздели догола, заглянули и в рот, и в задний проход, располосовали его ортопедический ботинок, осмотрели увечную ногу и сказали, что это идеальное место для тайника. На границе его продержали двое суток, и он так и не узнал, какие бумаги они искали. До Бебельсхаузена он добрался, когда мать уже похоронили, а дом с бакалеей на первом этаже продали за двадцатую часть настоящей цены.

Следующие два года Пфайфер прожил у тети. Все это время он не выходил из дому, даже во двор, пока не отправился в Дюссельдорф и в конце концов в Гамбург.



3.

Первые три недели в Париже Пфайфер работал с восьми утра до девяти вечера. Он думал только о том, как выбраться из лабиринта, в который завела компанию некомпетентность Арнольда Вебера. Эта некомпетентность была хуже умышленного небрежения. Самым трудным было понять, когда этот безумец принимал верное решение.

На четвертой неделе он наконец все для себя прояснил. Хватку Вебера удалось ослабить, хоть и дорогой ценой. Изучив отчеты, Пфайфер понял, что девятилетнее правление Вебера обошлось компании почти в восемьсот миллионов франков на одном только французском рынке. Он написал длинную телеграмму мистеру Белману и, послав ее, улегся на три дня в своем номере в «Кастильоне» и только спал, читал Агату Кристи и заказывал из «Ла Кремайер» огромные ужины, которые подкатывали к его кровати на столах, сервированных чеканным серебром и весенними цветами.

Вечером третьего дня позвонил Шипли и пригласил его выпить.

– Гарри, я позвонил бы раньше, но мы только что вернулись из Рима. Как ты? Я слышал, у тебя работа – лучше не бывает: замещаешь Арнольда. Я собираюсь телеграфировать Дольфу о твоих успехах. Приходи в половине пятого, хорошо? Мы с Белль ужинаем в шесть.

К своему удивлению, Пфайфер обрадовался предстоящей встрече с Шипли. Единственным человеком в Париже, с которым он общался помимо работы, был Шантелу. Половина обедов было безнадежно испорчено рассказами француза про Вебера, рассказами о его мании, которые вполне подтверждали выводы Пфайфера, сделанные на основе изучения бухгалтерских книг, рассказами о спортивном уголке (который Белман по приезду в Париж велел разобрать), о тигре – его взяли напрокат для «рекламных фотографий», но держали в соседнем кабинете, чтобы Вебер мог жечь его взглядом, пока однажды тигр не разодрал ему руку, когда он через прутья решетки стукнул спящего зверя по носу.

– Вы, американцы, психи, – заявил, рассказав это, Шантелу.

– Американцы? – вскинулся Пфайфер, но сдержался и не стал говорить, что безумие интернационально, вдобавок сам он не больший американец, чем Шантелу.

После такого общения даже Шипли был в радость. Он сам открыл дверь, великолепный, в классическом костюме жителя Флориды – малиновых сандалиях, широких зеленых брюках и лиловой спортивной рубашке.

– Давай я покажу тебе нашу обитель, Гарри.

Обитель представляла собой пять огромных комнат, где, как растения, пересаженные на чужую почву, но вполне к ней приспособившиеся, располагались роскошные кушетки, кровати, столы, картины, гобелены. В дальнем углу самой большой комнаты сидела седовласая женщина – когда они вошли, она даже головы не подняла.

– Белль! – завопил Шипли. – Белль!

Женщина улыбнулась и подошла к ним. Она была в черном, а за ушами у нее было по хризантеме.

– Гарри, ты ведь знаком с Белль?

– Кажется, я не имел удовольствия, – сказал Пфайфер, взяв руку миссис Шипли.

– Гарри, она тебя не слышит, – сказал Шипли.

– Извините, я плохо слышу, – сказала миссис Шипли. – Билли, ты рассказал ему, что со мной приключилось?

– Во время взрыва в римской прачечной у нее лопнули барабанные перепонки. Даже кусочек уха оторвало. – Он приподнял одну из хризантем, и Пфайфер мельком увидел изуродованную ушную раковину. – Мы пили чай по соседству, и вдруг –

бабах! – Он ткнул кулаком в ладонь. – Больше в этом месте ни одной барабанной перепонки не лопнет, это я тебе точно говорю.

– Очень вам сочувствую, миссис Шипли, – сказал Пфайфер.

– Она тебя не слышит, – сказал Шипли. – Называй ее Белль.

– Я принесу вам выпить, – предложила миссис Шипли.

– Черта с два принесешь, – сказал Шипли и заорал: – Аннетта! – А Пфайферу сказал: – Мы платим этой распустехе семь тысяч франков в месяц.

Появилась горничная, и Шипли сказал:

– Скотч с водой – два, – и показал два пальца, – и лимонад – один, – и показал один палец.

Миссис Шипли устроилась в одном углу с журналом. Пфайфер сел в другом, напротив Шипли.

– Видишь картину? – Шипли показал на маленький уличный пейзаж Утрилло у себя над головой, при выключенной подсветке его было трудно разглядеть. – С ним вместе и сдавали. Его написал современный Рембрандт, и по этой причине в том числе я плачу за эту чертову квартиру шестьсот тысяч франков в месяц. Знаешь что? Мне пришлось два раза в год залезать в свою нью-йоркскую зарплату. Как тебе такое? Я написал об этом Дольфу. Я сказал: «Дольф, если хочешь, чтобы здесь компания была на отличном счету, если хочешь, чтобы лучшие сотрудники ради того, чтобы компания выжила, бросали родину, дом, друзей, то и относись к отличным кадрам на отлично». Тем, что выдают на расходы, и собачью конуру не оплатить, не говоря уж об этой распустехе и барабанных перепонках Белль. Тебе сколько платят?

Пфайфер ответил, прибавив в обоих случаях по сотне.

– Для начинающего неплохо. Хотя, помню, когда я подобрал тебя в сточной канаве... – Пфайфер тогда получал стипендию в Колумбийском университете, – ...и посадил в конторе на тридцать пять долларов в неделю, ты был так счастлив, что был готов мне задницу целовать.

Пфайфер заметил тревожные признаки надвигающихся воспоминаний и обреченно настроился растянуть под них виски – на вторую порцию рассчитывать не приходилось. В шесть появилась горничная и сообщила, что ужин подан.

Шипли прервался на середине фразы, крикнул:

– Белль! – А когда она обернулась, ткнул пальцем в раскрытый рот. – Жаль, что ты не можешь остаться, Пфайфер, – сказал он и, приобняв Пфайфера за плечи, проводил к двери. – Да, – сказал он перед тем, как закрыть дверь, – не стоит оставлять родину ради того, чтобы отложить доллар-другой на старость. Старым корням больно, когда их рубят. Вот поживешь здесь, и сам все поймешь, Гарри.

Пфайфер прогулялся по Елисейским Полям, чтобы музыка европейских сумерек выветрила Шипли из головы.

На следующее утро пришла телеграмма от Белмана. «Несмотря на все ошибки Арнольда Вебера, его рвение, благородство, честность и сила духа помогли увеличить финансовый и духовный капитал компании вчетверо. Мы надеемся, что вы, Гарри, удержите позиции, которые он для нас завоевал. Мы верим, что вы отлично справитесь. Поезжайте домой за семьей. Подробнее все обсудим в конторе. С приветом, Дольф».

4.

Если бы Пфайферу пришлось описать свои впечатления полгода спустя, перед первой поездкой с инспекцией во франкфуртское отделение, он бы отметил, что такой легкости он не испытывал со студенческих времен. Он обосновался с женой и сыном неподалеку от отеля «Этуаль», в чудесной семикомнатной квартире, где за всем надзирала сноровистая французская супружеская пара, и когда он уезжал в Германию, тревоги, которую он испытывал, покидая Европу, не было и в помине. Глядя на жену в новой каракулевой шубке, стоявшую у машины с малышом Генри и махавшую ему на прощанье, Пфайфер преисполнился такой уверенностью в себе, что ему сам черт был не брат. Правда, когда он направился к самолету, жена окликнула его, схватила за руку и сказала:

- Pass mal sehr gut auf, mein Lieber[7].
- Зачем? – оборвал ее Пфайфер. – И Генри все слышит.

Они никогда не говорили по-немецки при сынишке. Он еще раз поцеловал ее на прощанье, наклонился к сыну, который ткнул в него маленькой моделью Эмпайр-стейт-билдинг – ее прислал ему в подарок на отъезд Белман.

– До свидания, родной мой, – сказал Пфайфер, отвел модель в сторону и поцеловал сына.

Предостережение жены пошатнуло уверенность Пфайфера, и он не мог унять дрожь, когда самолет пролетел над Франкфуртом и пошел на посадку на аэродроме Рейн-Майн. На земле он уставился на чиновников в синей форме, которые осматривали его дорожную сумку. Один из них сказал на английском, куда лучше, чем у Пфайфера:

- Такси вы найдете вон там, сэр.

«Да провались ты ко всем чертям», – подумал Пфайфер на еще лучше английском.

Дела в немецком отделении оказались в относительном порядке, но не в идеальном, и через неделю все вздрагивали, когда герр Пфайфер вызывал их звонком, поскольку он хоть и был вежлив, но выискивал мельчайшие ошибки и строго взыскивал даже с наименее виновных в их появлении.

Вечером Пфайфер вернулся во «Франкфуртер Хоф», поужинал, просидел час в вестибюле, читая парижский выпуск «Геральд трибьюн», после чего поднялся к себе в номер и лег спать. Во второй вечер он отправился в кино, но показывали комедию, и, услышав, как зрители смеются, он ушел. «С чего они смеются? – спрашивал он себя. – С чего?»

Он прошел вдоль реки к знаменитому Dom[8], где много веков короновали императоров Священной Римской империи. Разрушенный собор одиноко возвышался

среди груд камней, оставшихся от фахверковых домов на Ромер-плац, которые Пфайфер считал самыми красивыми зданиями во Франкфурте. Картина разрушения ему была даже приятна. С другой стороны, приятно было видеть и строительство, которое вели по всему городу. «Они тоже могут начать заново», – отметил он.

На второй неделе своего пребывания Пфайфер стал ужинать со своей франкфуртской секретаршей фрейлейн Ютой фон Бенсхаймер и ее американским возлюбленным Джимми, который работал на «Высокую союзническую комиссию», орган Госдепартамента в Германии. Говорили они по-немецки, потому что его Джимми знал лучше, чем Пфайфер английский, хотя три года назад, приехав сюда, Джимми не знал по-немецки ни слова.



Фрейлейн фон Бенсхаймер была немкой незнакомого Пфайферу типа – очаровательная аристократка, сдержанная, но остроумная и раскованная. Порой эта раскованность переходила в разнузданность, чего Пфайфер и предположить не мог в девушке ее происхождения и образования. Как-то раз она попеняла Джимми, что тот не купил им новую кровать.

– Наша ужасно жесткая и скрипучая, – объяснила она Пфайферу.

Пфайфер стал понимать, что подобная разнузданность играла в новой Германии важную роль. Он видел ее признаки повсюду. Газетные киоски ломились от журналов по физической культуре, где перед похотливыми камерами извивались обнаженные девушки. В разговор на Кёнингштрассе часто врывались непристойные выкрики, и издавали их не только бесчисленные проститутки – девиц с такими жесткими лицами он прежде не встречал, – которые прогуливались там с американскими солдатами из казарм рядом с заводом «Фарбен». Несмотря на множество знаков нынешнего и предрекаемого процветания, Пфайфер, наблюдая эту разнузданность, пришел к выводу, что немцы – конченная нация; смехом и непристойностью они прикрывали тяжкое предчувствие конца.

Он стал откровенно говорить об этом с Джимми и Ютой. Они отнеслись к нему с пониманием и сочувствием. Юта как раз и посоветовала ему перед возвращением в Париж съездить в Бебельсхаузен.

– Кто знает, может, это поможет вам избавиться от тягостных воспоминаний. Вдруг да и поможет залечить ужасные раны, от которых вы так страдаете. Может, если вам удастся преодолеть кошмар тех лет, вы и думать станете иначе.

Они с Джимми предложили его отвезти, но он решил поехать с шофером компании, и в субботу уже сидел в «мерседесе», который несся вдоль Рейна, по Вюртембергским холмам к Бебельсхаузену. Примерно такое возвращение снилось ему не раз.

Бебельсхаузен хоть и разбомбили, но казалось, он почти не изменился. Пфайфер узнавал многие дома и лавки и раз или два с тревожным волнением узнавал лица. Он проехал мимо своей старой школы – ее разбомбили, мимо леса – он поредел вполовину, – где он играл и где впервые был близок с женщиной. Он показал водителю дорогу к своему дому.

Дома уже не было, осталось пустое место, и он проглядел бы его, если бы не пара дубов, затенявших западную часть дома, к которым летом на американский манер привязывали огромный гамак. «Слава Б-гу», – подумал он, увидев, что деревья уцелели. Он вылез из машины, доковылял до них, сел лицом к реке и стал глядеть между холмами, туда, где рейнский ветерок рассеивал клубы дыма с фабрики термометров. И тут он увидел на дереве поменьше свои инициалы – «Х. П.», вырезанные в метре с небольшим от земли. Напряжение, сковывавшее его пятнадцать лет, внезапно отпустило, и Пфайфер издал полустон, полуплач, отчего шофер сначала посмотрел на него, а затем отвернулся.

Вечером он пытался рассказать Юте и Джимми, что с ним произошло; ему удалось сказать об этом так, что они сочли это важным для него опытом.

Это он понял. Он вернулся домой, и то, что имело значение, никуда не исчезло. Несчастья его страны были сродни его несчастьям; в ее распушенности и глупом позерстве он видел неуклюжую попытку искупить вину за несчастья, которые она в своем безумии нанесла за те пятнадцать лет, когда отошла от европейских традиций.

В Париж он вернулся исполненный уверенности, которую до поездки только имитировал. Когда он рассказал жене о своих открытиях, она сказала, что в следующий раз поедет с ним, и они даже решили взять сынишку. В разговоре они перешли на немецкий, несмотря на то, что сынишка был рядом – строил из кубиков Эйфелеву башню.

Следующая неделя в Париже была счастливейшей в их жизни. Они пошли в театр, и оказалось, что они понимают все без труда. Рубен познакомил их со своими французскими и испанскими приятелями, они приглашали друг друга на ужины, начали планировать поездки по вновь обретенной Европе. Когда они были на вершине счастья, пришла телеграмма от Белмана.

Арнольд Вебер полностью восстановил силы после электротерапии (лечение шоками). Хочет вместе со мной и всей компанией поблагодарить вас за то, что вы в его отсутствие держали форт. По возвращении в Нью-Йорк вы найдете материальное подтверждение нашей благодарности в конвертах с недельными выплатами. С искренними наилучшими пожеланиями вам и вашему семейству, Адольф Белман.

На третий день путешествия через Атлантику Пфайфер подумал: «Возможно, мне стоило остаться», но было уже поздно, а еще позже он и сам не мог понять, имел ли он в виду «остаться в Европе» или «в Америке».

1956

Í áðamä nái æééééä Áaðú Í ðíðéíæé

- [1] «Блумингдейлз» – один из крупнейших универсальных магазинов Нью-Йорка.
- [2] «Санка» – марка растворимого кофе без кофеина.
- [3] Вы едете в Париж? (нем.)
- [4] А обратно? (нем.)
- [5] Собакам и евреям сидеть запрещается (нем.).
- [6] Настоящий европеец (нем.).
- [7] Смотри, будь осторожнее, дорогой (нем.).
- [8] Собор (нем.).

ПРЕДЪЯВИТЕ ПРАВА!

Éàà Áóðíéé

- Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась!

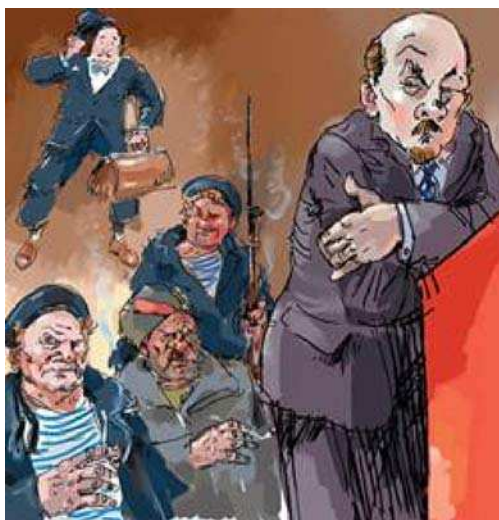
Громкий голос Ленина сначала взмыл к потолку, отразился от капителей бело-серых коринфских колонн и похожих на огромные аптекарские весы желтых люстр, а уж затем с торжественной неторопливостью опустился на толпу вооруженных людей в солдатских шинелях и матросских бушлатах. Еще мгновение – и зал Смольного взорвался бы продолжительными аплодисментами...

– Э нет, так не годится!

Грациозно переступая через ноги в солдатских обмотках и матросских клешах, по узкому проходу к трибуне шел невысокий, гладко выбритый господин в замечательно пошитой черной фрачной паре. За ним деловитой грачиной походкой следовали еще двое фрачников с увесистыми кожаными портфелями в руках.

По залу пробежал ропот – еще не столько гневный, сколько удивленный: так реагирует медведь на атаку ежика-самоубийцы.

– Вы еще кто такие? – спросил у гостей матрос с забинтованным ухом. – Здесь чего забыли? Или, может, дверь перепутали?



Гладковыбритый остановился на полпути к трибуне, раскланялся во все стороны и, слегка грассируя, отрекомендовался:

– К вашим услугам, Морис Палеолог, посол Французской Республики в России. Со мною мсье Жанвье и мсье Лапуэнт, из Протокольного отдела. – Оба грача с портфелями кивнули в унисон. – А дельце у меня пустяковое, на пять минут. Я лишь хотел предупредить мсье Ульянова, что сейчас он нарушает международное право...

Зал угрожающе взрыкнул, по углам защелкали затворы, однако Ленин жестом опытного дирижера за пару секунд восстановил тишину.

– Вы только взгляните, товарищи, как переполошились господа из Парижа, – с удовлетворением сказал он. – Мы с вами насыпали соли на хвост мировому капиталу, товарищи! Видите, до чего не по вкусу Антанте наша с вами социалистическая революция!

– Отнюдь, мсье Ульянов, отнюдь! – Посол торопливо приложил руку к груди. – Заверяю вас, что Франция исторически приветствует и поддерживает любые проявления либерте, эгалите и фрaternите. Позволю себе, однако, заметить, что в данный момент вы имеете право называть происходящие события переворотом, бунтом, народным восстанием... но никак не революцией!

– Вам что же, не нравится это наше слово? – удивился Ленин.

– Наоборот! – с готовностью отозвался Палеолог. – Очень даже нравится! Только оно, мсье Ульянов, извините, наше, а не ваше.

Посол щелкнул пальцами, фрачники тотчас же раскрыли портфели, и на свет была явлена какая-то бумага, украшенная печатями.

– У нас тут неоспоримый приоритет, и вы, будучи юристом, должны это признать, – продолжал француз. – Вот, извольте видеть, документ от 15 жерминаля 1793 года: Национальный Конвент зарегистрировал как товарный знак слово «революсьон» и переводы его на все языки, включая русский. Таким образом, употребляя это слово публично, вы нарушаете наши авторские и смежные права. Если вам хочется и впредь пользоваться этим словом без судебных последствий, настоятельно рекомендую заплатить. В противном случае нам, увы, придется конфисковать в счет погашения долга российскую собственность во Франции... И кстати, мсье Ульянов, до меня дошли слухи, что сегодня вечером вы вступите в должность Председателя Совнаркома – то есть Совета Народных Комиссаров. Заранее поздравляю, но спешу опять-таки напомнить о приоритетах: термин «комиссар» в значении «уполномоченный» возник во Франции еще в XVII веке, а как товарный знак оформлен 7 брюмера 1794 года, вот свидетельство. – Фрачники извлекли из портфеля еще одну солидного вида бумагу. – Без заключения соответствующего договора с правообладателем весь ваш Совнарком будет признан контрафактной продукцией, подлежащей уничтожению по суду. Ничего личного, мсье Ульянов, закон есть закон.

– Да вы с ума сошли, гражданин Палеолог. – Ленин озадаченно потер макушку. – В жизни не слыхивал эдакого архивздора.

– Уж извините, – развел руками посол, – это не мое решение. В данном случае я всего лишь выполняю поручение Раймона Пуанкаре, президента Французской Республики, и...

– Стоп-стоп, мистер Палеолог! Прошу минуту!

В дверях зала возник высокий усатый джентльмен в неброском, но добротном темно-синем шерстяном костюме с позолоченными пуговицами. За спиной усача молчаливо возвышались двое угрюмых верзил в полувоенной форме. К запястью одного из них был пристегнут цепочкой плоский фибровый чемоданчик.

– А вы-то сюда зачем пожаловали, мсье Фрэнсис? – не слишком дружелюбно поинтересовался француз.

Посол Северо-Американских Соединенных Штатов в России Дэвид Роуланд Фрэнсис широко улыбнулся и сделал еще несколько шагов.

– За тем, зачем и вы есть тут, – с заметным акцентом произнес новый гость. – Следить за соблюдением закона об авторских и смежных правах. Вы, по-моему, только что употребили термин «президент». Верно? Я не ослышался, мистер Палеолог?

– Употребил, ну и что с того? – нервно спросил француз.

Прежде чем ответить, Дэвид Фрэнсис коротко кивнул ближайшему верзиле, и из чемоданчика была извлечена внушительного вида бумага, украшенная геральдическим орлом с оливковой ветвью.

– Как вам известно, мистер Палеолог, – сказал американец, – институт президентства в нашей стране имел быть узаконен в 1787 году, то есть на шесть десятилетий раньше, чем во Франции. А недавно юристы обнаружили в Библиотеке конгресса один документ.

– Какой еще документ? – Посол Франции и два протокольных грача тревожно переглянулись между собой.

– Очень интересный, – заверил американец. – Оказалось, еще в 1789 году Джордж Уошингтон сразу после вступления в должность распорядился запатентовать нашу форму государственного правления вместе со словом «президент» на всех языках. То есть теперь наша страна обладает исключительными правами на этот товарный знак. У вас есть выбор: или платить нам за франчайзинг, или менять форму правления. Лично я рекомендую первое. Но мы пойдем, если вы захотите вернуться к монархии. Хотя у нас в Америке...

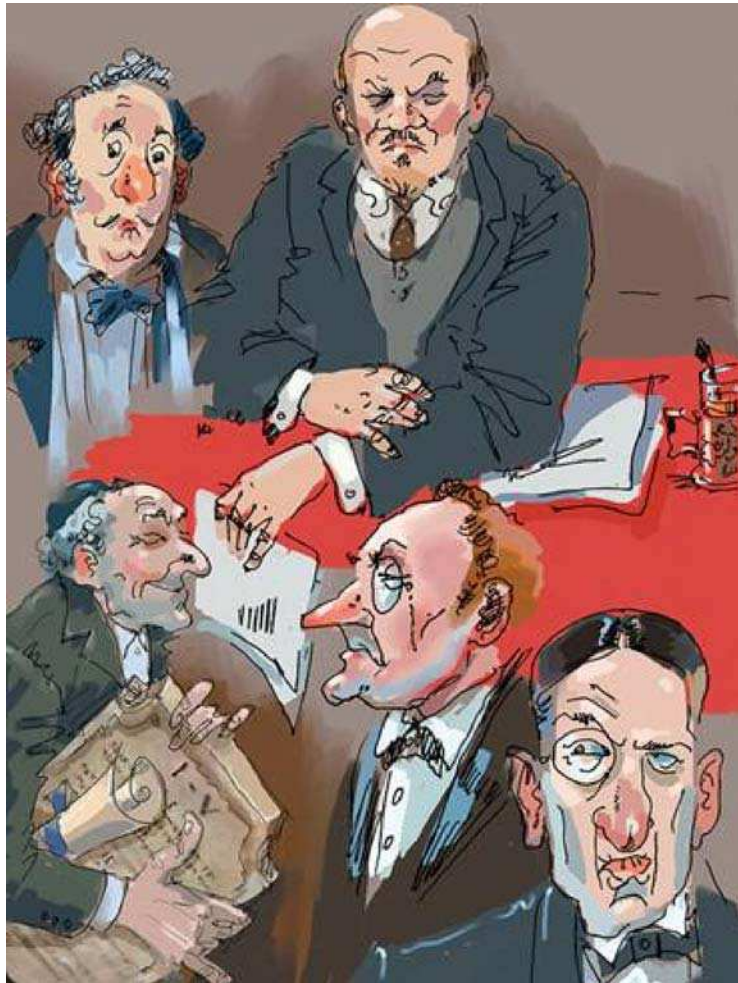
– Уно моменто! Хорошо, что я вас всех застал...

Сгибаясь под тяжестью двух саквояжей, в зал вступил маленький кудрявый человечек в длинном, до пола, кашемировом пальто.

– А вы еще кто такой? – удивился американец.

– Луиджи Ломбарди, третий секретарь посольства Королевства Италии в России, – быстро проговорил коротышка и водрузил свою ношу на пол. – Уф! Посол его величества маркиз Андреа Карлотти де Рипабелла очень извиняется, что не может присутствовать лично – неотложные, знаете ли, дела. Поэтому миссию урегулировать все наши имущественные споры он доверил мне.

– Разве у нашей страны и Италии есть предмет спора? – холодно осведомился американский посол.



– Самая малость, синьор Фрэнсис, – итальянец показал фалангу мизинца. – В архивах Генуи отыскалось завещание нашего славного соотечественника Америго Веспуччи. Представьте: он перед смертью успел оформить бессрочные права на свое имя и все его производные – в том числе название вашей, извините, страны. Юристы уже подтвердили подлинность лицензии, а поскольку прямых наследников синьора Веспуччи не осталось, права переходят к государству. Вы можете заплатить нам за право называться «Юнайтед Стейтс оф Америка» или придумать какое-нибудь другое слово. Попробуйте «Колумбия»: мне кажется, синьор Колумб не оставил завещания. По крайней мере, наши юристы пока его не нашли...

– Абсурд какой-то! – выдохнул мистер Фрэнсис.

– Я бы попросил вас выбирать слова, – кротко заметил итальянец. – Как вы, наверное, знаете, в 4-м разделе 2-й редакции Кодекса Юстиниана за государством закрепляются имущественные права на всю национальную лексику. А поскольку на днях именным указом нашего короля Виктора Эммануила III Италия официально признана правопреемницей Римской империи, каждая латинская словоформа автоматически переходит в разряд зарегистрированных товарных знаков. К примеру, слово «абсурд», которое вы, синьор Фрэнсис, только что употребили бесплатно, имеет латинское происхождение. Как и слово «президент», разумеется. Как и слово «республика», дорогой синьор Палеолог. Как, кстати говоря, и слова «диктатура», «пролетариат», «социалистический» и «федеративный». Это я уже к вам обращаюсь, синьор Ульянов, да-да, к вам... – В полной тишине смольнинского зала Ломбарди приподнял от пола оба своих саквояжа и встряхнул. Внутри что-то зашуршало. – Советую хорошенько обдумать мое предложение, уважаемые синьоры. Мне кажется, лучше все решить... как это по-

русски... полюбовно, о да. Захотите судиться с нами, выйдет гораздо дороже. Ну так что: будем платить или...

– Э-э-э... Я таки очень извиняюсь, господа и товарищи!

В дверях возник человек в лапсердаке и черной ермолке. Под мышкой он держал каменную табличку, а в руках – свиток.

– Когда Б-г создал Землю и все живое на Земле, – сказал он нараспев, – какому народу, как вы думаете, Он поручил охрану Своих авторских прав? А?

МОЙШЕ-ЛЕЙБ ГАЛПЕРН

Ààààé Àùì øèö

Поэт Овсей (Шике) Дриз, отвечая на вопрос своего друга, художника Виктора Пивоварова, о том, кто его «боги» в поэзии, назвал Вийона, Бернса и «одного еврейского поэта, живущего в Америке, Гальперина», а потом добавил: «совершенно изумительный поэт, которого тут в России никто не знает». Речь шла о Мойше-Лейбе Галперне, которого тогда, в 1960-х годах, конечно, уже давно не было в живых. Зато все остальное правильно. К первой части определения могли бы присоединиться все знатоки еврейской поэзии, а ко второй – те немногие из них, кто живет в России.

Мойше-Лейб Галперн (1886, Злочев, ныне Золочев, Львовская область, Украина, – 1932, Нью-Йорк) – несомненно, крупнейший еврейский поэт и один из крупнейших поэтов XX века, чье творчество оказало влияние на всю еврейскую поэзию. К сожалению, он до сих пор совершенно не известен в России. В возрасте десяти лет семья Галперна переехала из Злочева в Вену, где будущий поэт закончил гимназию и Академию художеств. Он был не только превосходным графиком (в том числе иллюстратором собственных книг) и портретистом, но, став поэтом, продолжал зарабатывать на жизнь именно как художник. В 1908 году Галперн вернулся на родину, в Галицию, и под влиянием поэта Ш.-М. Имбера и Черновицкой конференции (на которой присутствовал) неожиданно увлекся языком своего детства, уже полузабытым идишем. В тот же год будущий поэт уехал в США.

Многих литераторов-евреев, как опытных, так и начинающих, переезд в США подтолкнул к окончательному переходу на идиш как на язык творчества. Они меняли русский или немецкий на еврейский, который в Нью-Йорке был гораздо более востребован. Галперн не стал исключением, тем более что до эмиграции он успел опубликовать в Вене только несколько стихотворений по-немецки.

В первый период своего творчества Галперн был близок к литературной группе «Ди Юнге» («Молодые»), разделяя общую для них неоромантическую поэтику и увлечение творчеством Гейне. И все-таки его голос звучал иначе, чем у других членов группы. В нем было гораздо меньше наивного эстетства, гораздо больше социальных мотивов, злой иронии и горечи. В его поэзии с самого начала начисто отсутствовала всякая ностальгия по штетлу, столь характерная, например, для Мани Лейба. Галперн стал и оставался всю жизнь поэтом Нью-Йорка. Его Нью-Йорк – это, конечно, ад, но и вместе с тем естественная «среда обитания» для «проклятого поэта». Итогом этого первого периода стала книга «В Нью-Йорке» (1919), которая сразу поставила Галперна в первый ряд среди сверстников-поэтов.

Вообще, если говорить о поэзии Галперна в целом, то один из главных ее приемов – создание многочисленных поэтических масок, многие его стихи написаны от имени различных, часто иронически изображаемых персонажей. Один из них, представленный в этой подборке, это чудаковатый «Мойше-Лейб, дер поэт» («Мойше-Лейб, поэт»), который совсем не равен своему автору-тезке.

С самого начала поэтика Галперна необыкновенно разнообразна. Мрачный экспрессионизм поэмы «Ночь» соседствует с множеством лирических, сатирических и

юмористических стихотворений. Уже во второй своей книге, «Золотая пава» (1924), он отказывается от традиционной силлаботоники и начинает бесконечный ряд формальных экспериментов со свободными метрами. Само название этой книги представляет собой наиболее популярный образ еврейских народных песен. Но если для других поэтов золотая пава – это, прежде всего, волшебная птица, связывающая их с романтизированными традициями штетла и еврейского фольклора, то для Галперна – предмет сложной и иронической игры, в которой вино народной песни давно перебродило в едкий укус безысходности.

Экспериментальный характер поэзии Галперна сделал его стихи неприемлемыми для массовых еврейских изданий. Наибольшую эстетическую свободу предоставляла коммунистическая газета «Фрайхайд» («Свобода»). Галперн сотрудничал с ней, как и многие лучшие еврейские писатели и поэты Нью-Йорка. Однако твердолобое доктринерство коммунистов, так же как и неприемлемая проарабская позиция, которую они заняли после погромов в Палестине (1929 год), заставили Галперна порвать с коммунистической печатью.

После смерти поэта его стихи последних десяти лет жизни были собраны в двух томах. Многочисленные опыты в прозе остаются до сих пор не собранными и не изданными.

В настоящей подборке в основном представлены стихи из первой книги – «В Нью-Йорке». Позднее творчество Галперна еще ждет своих переводчиков.

Наш садик

Вот так садик, где едва

Семь листочков – вся листва,

И вздыхает ветка зло:

«Как сюда нас занесло?»),

Вот так садик, вот так садик,

Где сквозь лупу в силах вы

Разглядеть чуть-чуть травы –

Саду ль нашему под стать

Так с зарею расцветать?

Да наш, конечно, садик... Какой же еще садик...

Вот так сторож – ой, беда! –

С толстой палкою всегда:

Будит он в траве чужих,

За ворота гонит их.

Вот так сторож, вот так сторож.

Ни за про что рушит сон,

Хвать за шиворот – и вон.

Что за сторожу под стать

На заре так поступать?

Да наш, конечно, сторож...

Какой же еще сторож...

Вот так птица, что птенцов

И не вспомнит – к ним на зов

Не потащит в клюве снесь,

На заре не учит петь.

Вот так птица, вот так птица.

Улететь не рвется прочь,

Дремлет сиднем день и ночь.

А кому из птиц под стать

Эдак вот зарю встречать?

Конечно, нашей птице... Какой же еще птице...

Перевод Валерия Шубинского

Таков наш удел

Рыбаки заводят песню – вод морских

просторней,

Кузнецы поют – и песня, будто пламя в горне,

Мы – как полные развалин мертвые места:

Так поем, как в непогоду стонет пустота.

Детвора в саду, играя, песню затевает –

И любовь всех мам в той песне сразу оживает.

Нас же будто не рожала мама никогда:

Обронила, напевая, нас в пути Беда.

С той поры мы, бедолаги, эдак напеваем,

Как на жердочке пристало хныкать попугаям,

Как пристало ухають ночью в камышах

жабью,

И от ветра на веревке всхлипывать белью.

Или пугалу, что в поле высится уныло,

Позабыто – а давно уж осень наступила.

Перевод Валерия Шубинского

Вот так

Помойка во дворе, и ветерок

Клочок бумаги в вышину повлек.

Рубашки на веревке надувались.

Окно напротив, где уже с утра,

Как и вчера,

Муж и жена ругались.

Кричит он: Где носки, жена?

Но к черту шлет его она,

Кулак он ей к лицу поднес,

Но фигу получил под нос,

Орут,

Плюют,

А в небе вьется дым,

И облако над ним.

Перевод Исроэла Некрасова

Дым из труб

Утром парень деревенский

Слышит птичье пенье,

Я же слышу стук бидонов

И часов хрипенье.

Видит парень: за окошком

Ввысь гора стремится,

Я же вижу толстых женщин

Восковые лица.

Ловит бабочек на поле

Парень утром рано,

Ну а я с крыльца гоняю

Только кошек драных.

Кабы парню пару крыльев!

Пусть себе летает

И в саду соседском вишни

Спелые срывает.

Или вовсе с неба носит

Золото горстями,

Чтобы покупать обновки

И себе, и маме.

Кабы мне судьба такие

Крылья подарила,

Я б сидел в железной клетке

Мрачно и уныло

Или, может быть, смотрел бы,

Залетев на крышу,

Как рубашку на веревке

Дым из труб колышет.

Перевод Исроэла Некрасова

С добрым утром, солнышко

Закрываются пивнушки,

Я тоскую по подушке

И иду себе домой:

Солнце над землей.

Дама уличная тоже

Не спала давно, похоже.

Тоже тащится домой:

Солнце над землей.

Сонно головой кивает,

Шляпка с головы спадает,

Чтоб в пыли найти покой:

Солнце над землей.

Утомлен ночной работой,

Сторож борется с зевотой

И мотает головой:

Солнце над землей.

Перевод Исроэла Некрасова

Watch your step!

Дорого время в стране золотой,

Золото – время. Взмахнули рукой,

Хлопнули двери – и в черную щель
Поезд летит, в бесконечный тоннель.
Ветра быстрее, мгновенней, чем взгляд, –

А за окном убегает назад
В звездах, зеленых и красных, стена –

Жизнь зелена, а погибель красна.

Мчится сигнал на разведку вперед,

Путь расчищает и грозно ревет.

С лязгом колесным, легки и быстры,

Реют составы – то ввысь, то с горы,

Птицы из золота и из огня

Реют – желанье в крови у меня

Жарче, чем пламя, и злата светлей.

Ух! Ну и птички! Поймать бы, ей-ей,

Птичку такую – да только никак:

В миг ускользнет она искрой во мрак.

В миг улетают, блистают, растут

Искры светлее – то там, то уж тут,

Искры светлее, одна за другой –

Птицы златые страны золотой.

Перевод Валерия Шубинского

В собвее

Избитый кнутом, падал раб, своей цепью

звения.

Теперь твоя речь, будто кнут, избивает меня.

Стучит беспокойство во мне, будто молотом,

зло,
Точь-в-точь как по рельсам колеса стучат
тяжело.
И кровь, обжигая меня, в моих венах горит,
Вагон электрическим светом слепящим
залит,
Горящим вот здесь, над твоей и моей головой.
Еще остановка, и я распрощаюсь с тобой.
Я, скрипнув зубами, слегка поклонюсь:
мне пора,
По улицам буду шататься один до утра,
Пока, будто кровью из раны, не брызнет
восход,
И боль свою песню уныло во мне заведет,
Как пес, перепуганный уличным шумом
ночным,
Хозяином брошенный, богом собачьим своим.

Перевод Исроэла Некрасова

Уличный барабанщик
Напевает вольно птица,
Грозный царь дрожит, страшится,
А страшиться – срам!
Мне, как птице, тут и там
Петь для вас
И подчас
Затевать безумный пляс,

Будто вихрь – по мостовой!

Болен я, и стар, и сед?

Что за город? – Нужды нет!

Добывая грошик свой,

В барабан я звонко бью,

Пляску завожу свою,

И верчуся, невесом –

Джин, джин, бом-бом-бом,

Джин, джин, бом!

Вот проходит чаровница –

Что-то вдруг во мне рождается:

Я верчусь еще дичей,

Зубы сжав, бегу за ней,

Слышу свой

Крик: «Постой! –

Руку дай, кружись со мной –

Вместе – жарче танцевать.

Экая, как ты, змея,

Бросила на днях меня!»

И, чтоб зря не тосковать,

В барабан я звонко бью,

Пляску завожу свою,

И верчуся, невесом,

Джин, джин, бом-бом-бом,

Джин, джин, бом!

Ребятня смеется звонко.

Покажу себя я – вон как!

Гей, ребята! Кто бойчей?

Хрясь – по голове моей,

И – плевок!

Со всех ног –

Мчатся дальше – скок-поскок.

Что ж, беда – в привычку мне.

Хлеба черствого кусну

Да из фляжки отхлебну,

Пот ручьями, кровь в огне –

В барабан я звонко бью,

Пляску завожу свою,

И верчуся, невесом,

Джин, джин, бом-бом-бом,

Джин, джин, бом!

Так иду я, размалеван,

Размалеван, измордован –

В край из края – где мой дом? –

Как о стенку бьюся лбом.

Грызть зубам

Всякий хлам –

Камень с гнилью пополам.

Псы да воры, хлад и зной –

К чужакам наш мир жесток

Ни рубашки, ни порток,
Ни детишек нет с женой.
В барабан я звонко бью,
Пляску завожу свою,
И верчуся, невесом:
Джин, джин, бом-бом-бом,
Джин, джин, бом!

Перевод Валерия Шубинского



Манхэттенский мост. Нью-Йорк. 1914 год

Б-г тебе в помощь, солнышко!

Полдень. Улица поет,
Солнце, как угли, печет.
Он – с лотком на мостовой,
Тихий, бледный и худой.
Все снуют туда-сюда,
Мимо, мимо. И тогда,
Острый напряжив кадык,
Он заводит громкий крик.
Все бежать бросают вдруг,

Все становятся вокруг.
Шеи гнутся, как лоза,
Глупо лупают глаза.
Что-то он берет рукой,
Поднимает над собой.
Плотно стиснут, сдавлен он,
Прет народ со всех сторон.
Отовсюду прет народ,
Он со лба стирает пот,
Он картуз снимает свой
И рубаху – с плеч долой,
Тянет руку голяком,
И ладонь горит огнем.
Громко улица шумит,
Не поймешь, что он кричит.
Больше не на что глядеть,
И толпа давай редеть.
Он, и бледный, и худой,
Вновь один на мостовой.
Вновь – опять, опять, опять
Начинает он кричать,
Только улица глуха
К звонким кличам петуха.
И роняет он ладонь,
И лицо склоняет он,
И берется за шнурки,

**И шнурует башмаки,
И со лба стирает пот,
И сигарку достает,
И, глаза подняв, следит,
Как по небу дым летит.**

Перевод Александры Глебовской

Кровь рабов

**Стены высятся, как скалы,
Башни тянутся все выше,
Солнце утреннее светом
Красит улицы и крыши;
Пыль, и дым, и свет смешались,
Поезда несутся мимо,
И, как буйволы, шагают
Люди сквозь завесу дыма;
Сотней ртов работа мелет
Может камни жрать горстями,
Человечину глотает,
На зубах скрипит костями.**

Кровь рабов, ты кровь собачья!

Помирай себе спокойно!

Пусть пророк придет и плюнет:

Ты другого недостойна.

Перевод Исроэла Некрасова

Я играю

Человек – слепой дурак.

Я ребенком стал, вот так!

Значит, купят для меня

И тележку, и коня.

Это значит, с папой в среду

Я на ярмарку поеду.

Папа будет торговать,

Будет сласти покупать.

Эти сласти есть я буду,

Дурака совсем забуду.

Перевод Папой стать хочу скорее –

Сшил из ваты сыновей я,

Всем рубашки заказал

И меламеда позвал.

Пусть детей получше учит,

Горстку пуговиц получит.

Сын игрушек попросил –

Я б хоть дом ему купил,

Но без мамы сыновья

Плачут, – плачу с ними я.

Перевод Исроэла Некрасова

Расскажи

Приди, будь мне мамой. Я слышал от мамы

Про мост из бумаги чудесный рассказ,

Про то, как весной возвращаются птицы,

А ты мне расскажешь об этом сейчас.
Прогонишь мои сновиденья пустые,
Чтоб больше тревожить меня не могли.
Приди, расскажи мне, что ангелы с неба
Спустились, звезду для меня принесли.
Бьет колокол. Уши зажмешь мне и скажешь,
Что это часы, и пускай себе бьет.
Пусть ветер за ставнями плачет.
Скажи мне,
Что это отец за молитвой поет.
Приди, расскажи мне про теплое лето,
Как с песней крестьяне шагают с полей,
И может, тоска моя сразу утихнет
И в мире моем сразу станет светлей.

Перевод Исроэла Некрасова

Разговор с самим собой
– Ну что ты стоишь у окна?
Там улица. Манит она.
– Она для торговцев. Они
Доходами меряют дни;
Летают по ней поезда,
Как птицы, туда и сюда;
Там дети, коты мельтешат,
Как в неводе рыба, кишат;
По улице пьяные в хлам
Гуляют, шатаются там,

Теряют там тысячи дней,
Впустую болтаясь по ней.
– Побрился бы, шляпу надел,
Пошел бы, в кафе посидел.
– В кафе? Там за стойкою в ряд,
Как в бане, раздевшись, сидят.
Ползет каждый вверх и вперед
И сам себя хлещет и бьет,
Как будто на скользком полке,
Зажав мокрый веник в руке.
Там все про себя говорят,
Про женщин, постель и разврат,
Устав, засыпают потом,
В тарелку уткнувшись лицом.
– Тебя еще ждут, может быть.
Пойти бы, цветы ей купить.
– На что мне спесивая злость
На лицах, застывших, как кость?
Там шелком фальшивым кричит
Богатство, забывшее стыд.
На что мне в оправе перстней
Огонь драгоценных камней?
Мне эта любовь не нужна:
Себя выставляет она.
Там будут смеяться опять
Над тем, что способно страдать.

– Брось город! Ведь мир так широк!

Ты в путь бы отправиться мог.

– Да, знаю, богата земля,

Еще есть леса и поля,

И может, решусь как-нибудь

Отсюда отправиться в путь.

Я просто отсюда сбегу.

Мне душно. Я ждать не могу,

Что чудо придет наконец.

Я жив, но при этом мертвец,

Который все ходит, немой,

По миру, покрытому тьмой.

Перевод Исроэла Некрасова

Ноль

Жизнь сама мне говорила: «Все не ново!

Что копаться?

Кудри русые с годами сединой засеребрятся.

Только вылупившись, птичка сразу же в полет

стремится,

Прижимая к губкам пальчик, смотрит

в зеркало девица,

Носит царь свою корону, а ишак –

мешок с мукою.

Ты, мой звездочет, навечно мне останешься

слугою.

На коленях стоя, смотришь в телескоп зимой

и летом

И на цифры переводишь расстоянья

и планеты,

Только результат расчетов все равно нолю

подобен.

Начертить кружок такой же (0) и дурак

любой способен».

Перевод Исроэла Некрасова

Просто так

Ночью встает Мойше-Лейб как-то раз

Обдумать, что с миром творится сейчас.

Вот он задумался, глядя во тьму,

Но вдруг кто-то на ухо шепчет ему:

– Что ровно, то криво, и тысячи лет

Только на этом и держится свет.

Мойше соломинку спрятал в кулак

И улыбнулся.

Чему?

Просто так.

Мнет он соломинку. Тихо вокруг,

Снова о чем-то подумалось вдруг.

Мысли летят вереницей во тьму.

Опять кто-то на ухо шепчет ему:

– Кривого, мол, нет, но и ровного нет,

И только на этом и держится свет.

Мойше соломинку спрятал в кулак

И улыбнулся.

Чему?

Просто так.

Перевод Исроэла Некрасова

Ж-ж-ж

Как младенец, Мойше спит,

Муха в комнате жужжит,

Устремляет свой полет

На нос, как пчела на мед.

Слышит Мойше-Лейб сквозь сон,

Говорят: Смотрите, он

Гениальнейший поэт,

Лучше в целом мире нет!

Мойше начал делать вид,

Что не слышит, просто спит.

Муха принялась опять

Мойше-Лейба донимать,

Все жужжит и лезет в нос.

Снова кто-то произнес:

Я поклясться вам готов:

Больше нет таких ослов!

Кто сказал? А ну, стой!

Тихо в комнате пустой.

Мойше, муху отогнав,

Нос немного почесав,

Ерунда, – решил, чихнул,

Отвернулся и заснул.

Перевод Исроэла Некрасова

Memento mori

Представьте, поэт Мойше-Лейб

вам расскажет,

Что как-то увидел он смерть на волнах,

Как в зеркале видят свое отраженье,

А было лишь десять утра на часах, –

Что можно сказать на это поэту?

А если он скажет, что издали смерти

Рукой помахал и спросил, как дела,

В то время как дикая радость жизни

У тысяч тонувших на лицах была, –

Что можно сказать на это поэту?

И он поклянется: поверьте, что к смерти

Его потянуло с такой же тоской,

Как вечером тянет под окна к любимой,

Которую ты считаешь святой, –

Что можно сказать на это поэту?

И если он смерть нарисует не серой

И мрачной, а в ярких, богатых тонах,

Как видел ее между морем и небом,

Когда было десять утра на часах, –

Что можно сказать на это поэту?

Перевод Исроэла Некрасова



Обычный день жителей Нижнего
Ист-Сайда. Нью-Йорк. Начало XX века

Кто плачет

Кто плачет? Кто в ночи поет?

В такой ночной тоске

Хотя бы бедствия сигнал услышать вдалеке,

Хотя бы отблески огня на небе увидеть.

Как жернов, песня тяжела: не сдвинуть,

не поднять.

Как жернов каменный. Все так же песня

холодна,

Как женщина, которая на берегу одна,

Седую голову склонив, закутавшись в туман,

Глазами, красными от слез, глядит на океан.

И снова песня – это ужас, вечный и слепой,

Который отобрал твой сон, разрушил твой

покой,

И, будто облако, развеял он в ночи твой сон.

И это проклятого крик. Звучит безмолвно он

В твоей крови. И это кровь, которая болит

Той тяжестью и пустотой, которой ты
налит.

Никем не заданный вопрос вовек неразрешим,
И, как ни бейся, никогда не справишься ты
с ним.

Перевод Исроэла Некрасова

Из поэмы «Ночь»

– Сними свою руку, что сердце гнетет!

– Нет, брат, не рука твое сердце гнетет.

Дары мои – тяжкая ноша твоя:

Из дальней земли их принес тебе я.

– Змею убери – она сердце гнетет!

– Нет, брат, не змея твое сердце гнетет.

Князь Жизни с тобою порою ночной,

Когда ты на ложе с нагою женой.

– Сними этот камень – он сердце гнетет!

– Нет, брат, твое сердце не камень гнетет.

Беда-Незадача засела в углу,

Опершись на череп и глядя во мглу.

– Сними паука – как он сердце гнетет!

– Нет, брат, не паук твое сердце гнетет.

Отныне болезнь роковая твоя:

Пугаться ничтожеств – таких же, как я.

Перевод Валерия Шубинского

Хи-Хи

Птица опускается с высот,
Карлика Хи-Хи она везет.
Видит карлик, что поэт рыдает,
Дал ему письмо: пусть почитает.
Правящая Солнечной страной
Королева собственной рукой
Написала письмецо поэту,
Посылает дюжину приветов.
Встрепенулся радостно поэт,
Тотчас милой написал ответ
И спешит скорей его отправить,
Прямо в руки приказал доставить.
Карлик головой кивнул слегка,
Птица воспарила в облака,
И исчезли оба с глаз поэта
В небесах, окрашенных рассветом.

Перевод Исроэла Некрасова

Мадам

Мадам, повелите уйти – я уйду,
И сразу же – в воду, имейте в виду.
С моста Вильямсбургского в реку нырну,
Ударюсь о воду и шею сверну.
Потом пузыри побегут по воде,
Вот был, дескать, некто – и нету нигде,
И все. Разве что полисмен на посту

Разок засвистит, разогнав по мосту
Бродячих котов, что умчатся во мрак;
Да разве задумчивый некий чудак
Отвесит по лысине звонкий удар,
Которая блещет, что твой самовар,
И вперит во тьму свой испуганный взор,
И только прошепчет: «Освистан, позор!»

Затем делегация рыб под мостом
Меня подберет, увенчает венцом
Из блещущих золотом чешуек-монет;
Затем, демонстрируя свой перманент,
Со дна дева-рыба ко мне подплывет,
Обнимет, хрустальную дверь распахнет,
И громко воскликнет: «Жених, в добрый час!
Возлюбленный мой Мойше-Лейб среди нас!»

Затем на заре на морском берегу,
Мой труп попадет на глаза рыбаку;
Затем, приходя в ежеутренний раж,
Газетчик такой настроит репортаж:
«Вчера найден труп у прибрежной черты,
Лилово-багровое портит черты
Пятно на носу» – и сомнения нет,
Что тот неизвестный – известный поэт,
Что даму увлек за бокалом вина,
А дама – та самая, это она
Его укусила за нос, и поэт,

Поссорившись с ней, не снимая штиблет,
Бултых в океан. Ах, как стильно и как
Все оригинально – будь все это так
Взаправду! – Но я, уж простите вы мне,
К подобным кунштюкам готов не вполне.
И мне горше яда морская вода,
А если соскучусь по морю, тогда
Мне хватит того, что простерлось, мадам,
У Гейне в «Nord-See» по книжным листам.
И в этой связи, поругавшись со мной,
Рискуете, право, остаться одной,
Налейте ж вина мне без споров и слез...
Терпеть не могу, когда тяпнут за нос.

Перевод Валерия Дымшица



Иммигранты. Остров Эллис.
Бухта Нью-Йорка. 1910 год

Птица

С костылем под крылом прилетела птица.

Что ты вздумал, говорит, на замок

закраться?

Отвечаю: за дверьми

Воры страшные вельми,

Что хотят отнять мой сыра кус.

Я, чтоб не украли, на него сажусь.

Птица в скважину замочную рыдает,

Что она – мой братец Мэхл, уверяет.

Дескать, знал бы ты, бедствий каких

Средь валов я натерпелся морских,

Пока плыл на пароходе к тебе

На высокой пароходной трубе.

Что за птица она, понял теперь я.

Так что пусть уж лучше постоит за дверью.

Заодно еще о том

Размышляю я при том,

Как бы лучше спрятать сыра кус:

Поплотнее на него сажусь.

Из под-крылышка глазками скосила

(Как мой братец!) – и опять что есть силы

В скважину замочную орет:

Мол, чтоб я так жил, как ей везет! –

Разглядела, где мой сыр лежит –

За него башку мне размозжит.

Понимаю я, что дело-то скверно.

Подвигаюсь к двери медленно, но верно,

А под задом прячу сыра кус

(А рукой за табурет держусь!),

И чем попусту кричать «Караул!»,
«Не замерз ли ты?» – вопросик ввернул.
«Век не видел, милый брат, такой стужи.

Отморозил я на холоде уши, –
Отвечает мне птица со слезой, –
А разок – во сне, порой ночной,
Свою ногу съел я. А потом...

Расскажу подробней, колипустишь в дом».

Как услышал я, что что-то съел он –
Испугался так, что грешным делом
Чуть не позабыл про сыра кус
(Зря я, что ли, на него сажусь?),
Но пощупал: он на месте. Коли так,
Остальное – попросту пустяк.

Что ж, сказал я ей, посмотрим, право слово,

Кто из нас пересидит другого:
Я – на стуле, в комнате своей,
Или ты – у запертых дверей?
То-то будет славная игра:
Запасть терпением пора.

Так здесь и осталась эта птица,
И уже лет семь все это длится,

«С добрым утром!» – я кричу ей чуть свет.

«И тебе того же!» – слышу в ответ.

Я прошу: «Братишка, дай мне покой!»

А она – «А ты мне двери открой».

**Но я знаю, что случится, поверь я
Этой птице – пусть стоит себе за дверью.**

Она хочет отнять мой сыра кус.

Я плотнее на него сажусь,

И ощупываю: там он. Коли так,

Остальное – попросту пустяк.

Перевод Валерия Шубинского

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

עלילת אשף אלהים על ילד

Три желания



Фрамполь. Так называлось это местечко. Там имелось все, что положено: синагога, ешива, богадельня, раввин и несколько сотен жителей. Четверг был во Фрамполе базарным днем, из окрестных деревень приезжали крестьяне, чтобы продать зерно, картошку, кур, телят, мед и купить соль, керосин, башмаки и все, что им может понадобиться.

Жили во Фрамполе трое ребятишек, которые часто играли вместе: Шлойме, или Соломон, семи лет, его сестричка Эсфирь шести лет и их друг Мойше, ровесник Шлойме.

Шлойме с Мойше ходили в один хедер, и там им кто-то сказал, что на Ошана раба, а это последний день Праздника кущей, глубокой ночью раскрываются небеса. У тех, кто это видит, есть минута, чтобы загадать желание, и что бы они ни пожелали, все непременно исполнится.

Шлойме, Мойше и Эсфирь часто об этом вели разговоры. Шлойме говорил, что его желание – стать мудрым и богатым, как его тезка, царь Соломон. Мойше хотел стать таким же сведущим в религии, как знаменитый мудрец рабби Моше Маймонид. Эсфирь же мечтала быть такой же красавицей, как царица Эсфирь. И вот они решили дожидаться Ошана раба, не спать всю ночь и, когда небеса раскроются, загадать свои желания.

Детям положено рано ложиться спать, но эти трое дождались, когда родители заснут, тихонько выбрались из дому, встретились во дворе синагоги и стали ждать, когда небеса чудесным образом раскроются.

Это было настоящее приключение. Ночь выдалась безлунная и прохладная. Дети слышали, что демоны часто высматривают людей, которые осмеливаются разгуливать посреди ночи, и нападают на них. Рассказывали им и про мертвецов, которые после полуночи молятся в синагоге и читают Тору. Случись кому в столь поздний час оказаться у синагоги, и его могли – вот страх-то! – вызвать для чтения Торы. Но Шлойме с Мойше надели рубашки с бахромой – цицит, а Эсфирь – два передника, спереди и сзади. Это должно было защитить их от злых духов. Однако детям все равно было страшно. В это время заухала сова. Эсфирь когда-то слышала, что по ночам свои гнезда покидает множество летучих мышей, и если какая-нибудь из них запутается у девочки в волосах, то та в течение года умрет. Поэтому Эсфирь туго повязала голову платком.

Прошел час, другой, третий, а небеса все не раскрывались. Дети устали и проголодались. Но тут вдруг ударила молния – и небеса раскрылись. Дети увидели ангелов, серафимов, херувимов, огненные колесницы и лестницу, которая приснилась Яакову. По ней, как и написано в Библии, ходили вверх-вниз ангелы с крыльями. Все это случилось так неожиданно, что дети позабыли свои желания.

Первой заговорила Эсфирь:

– Я такая голодная. Вот бы мне блинчик съесть.

И тут же перед детьми возник блин.

Шлойме понял, что сестра потратила свое желание на пустяк, рассердился и крикнул:

– Глупая девчонка! Лучше бы ты сама стала блином!

И Эсфирь тут же превратилась в блин. Из румяного круга выглядывало только ее бледное испуганное личико.

Мойше, сколько себя помнил, всегда любил Эсфирь. Он увидел, что его любимая превратилась в блин, и страшно огорчился. Нельзя было терять времени. Минута уже заканчивалась, поэтому он воскликнул:

– Я хочу, чтобы она стала такой, как прежде!

Так и случилось.

И небеса тотчас закрылись.

Дети поняли, как глупо распорядились своими желаниями, и расплакались. Стояла непроглядная ночь, и они не могли отыскать дорогу домой. Место казалось им совершенно незнакомым. Во Фрамполе никаких гор нет, а дети почему-то взбирались на какую-то гору. Они попробовали спуститься обратно, но ноги сами несли их наверх. И тут перед ними предстал старик с седой бородой. В одной руке у него был посох, а в другой фонарь со свечой внутри. На нем была длинная рубаха с широким белым поясом. Дул сильный ветер, но свеча горела ровно.

Старик спросил:

– Куда вы идете и почему плачете?

Шлойме рассказал ему, что с ними случилось: как они ждали всю ночь, а потом потратили свои желания впустую.

– Добрые желания нельзя потратить впустую, – сказал старик и покачал головой.

– Наверное, это демоны нас запутали и заставили забыть свои желания, – предположил Мойше.

– В святую ночь Ошана раба демоны теряют свою силу, – сказал старик.

– Тогда почему небеса сыграли с нами такую шутку? – спросила Эсфирь.

– Небеса ни с кем не шутят, – ответил старик. – Это вы хотели сыграть шутку с небесами. Никто не может стать мудрым, не набравшись опыта, никто не может получить знания без учения. А что касается тебя, девочка, то ты и так уже хорошенькая, но красота тела должна сочетаться с красотой души. Маленькая девочка не может так сильно любить и быть такой преданной, как царица, которая была готова пожертвовать жизнью ради своего народа. Все вы желали слишком многого, поэтому не получили ничего.

– Что же нам теперь делать? – спросили дети.

– Идите домой и постарайтесь своими силами добиться того, что хотели получить без труда.

– А кто же вы? – спросили дети.

И старик ответил:

– Наверху меня называют Смотрителем Ночи.

Едва он произнес эти слова, как дети снова оказались во дворе синагоги. Они так устали, что, вернувшись домой, легли и тотчас заснули. О том, что с ними случилось, они не рассказали никому.

Шли годы. Шлойме учился со все большим старанием. Он оказался на редкость способным и прочитал столько книг по истории, торговле и финансам, что стал советником польского короля. Его самого называли королем без короны и польским царем Соломоном. Он женился на дочери знатного вельможи и прославился своей мудростью и милосердием.

Мойше посвятил себя религии и знал Библию и Талмуд почти наизусть. Он написал много религиозных книг, и люди называли его современным Маймонидом.

Эсфирь выросла и стала не только красивой, но и образованной и добродетельной девушкой. К ее родителям засылали сватов многие юноши из богатых семей, но Эсфирь любила только Мойше, а он – только ее.

Когда умер старый фрампольский раввин, его место занял Мойше. У раввина должна быть жена, и рабби Мойше женился на своей Эсфири.

На свадьбу пришли все жители Фрамполя. Брат невесты, Шлойме, приехал на свадьбу в карете, запряженной шестеркой лошадей, впереди и позади которой скакали слуги. Играл оркестр, все танцевали, и молодые получили множество подарков. Поздно вечером жених и все гости танцевали с невестой, и невеста по обычаю держалась за один конец платка, а ее партнер за другой. Когда кто-то спросил, все ли потанцевали с невестой, распорядитель свадьбы сказал:

– Все, кроме ночного сторожа.

Едва он произнес эти слова, неизвестно откуда возник старик в рубахе с белым поясом. В одной руке он сжимал посох, в другой держал фонарь. Жених, невеста и ее брат

узнали старика, но промолчали. Он положил посох и фонарь на скамейку, подошел к невесте и стал с ней танцевать, и все взирали на старика с изумлением и благоговением. Никто прежде его не видел. Оркестр перестал играть. Стало так тихо, что было слышно, как потрескивают свечи, а за окном стрекочут кузнечики. И тут старик взял свой фонарь, протянул его рабби Мойше и произнес:

– Пусть этот свет показывает тебе верный путь, когда ты изучаешь Тору. – Посох он отдал Шлойме со словами: – Пусть этот посох защищает тебя ото всех врагов. – Эсфири, державшей его белый пояс, он сказал: – Пусть этот пояс навсегда свяжет тебя с твоим народом и его нуждами.

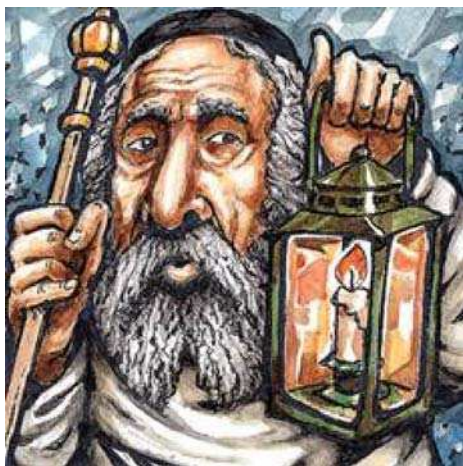
Сказав это, старик исчез.

С тех пор евреи часто приходили к Эсфири и просили ее заступиться за них перед правителями. Она опоясывала стан подаренным ей стариком поясом, и всякий раз ей удавалось помочь своему народу. Все называли ее царицей Эсфирь.

Всякий раз, когда рабби Мойше затруднялся понять какую-либо тонкость в Законе, он открывал ковчег, где хранился фонарь, горевший негасимым светом, и ему тотчас все становилось ясно. А когда Шлойме оказывался в беде, он брался за посох, и его враги теряли силу.

Все трое дожили до глубокой старости. Только перед смертью рабби Мойше открыл жителям Фрамполя, что случилось в ту ночь Ошана раба. Он сказал:

– Великие чудеса и удивительные сокровища ожидают тех, кто готов сделать усилие. Для них небесные врата открыты всегда.



Мазл и Шлимазл, или Молоко львицы

Началось это в одной далекой стране солнечным весенним днем, когда небо было синее, как море, а море – синее, как небо, и земля зеленела, влюбленная в обоих. Шли по деревне два духа. Одного звали Мазл, что значит «удача», а другого – Шлимазл, что значит «неудача».

Человек не может видеть духов, а сами они друг друга видят.

Мазл был молод, высок и строен, с пшеничными волосами и румянцем во всю щеку. Он носил зеленую куртку, красные бриджи для верховой езды и шляпу с пером. На сапогах позвякивали серебряные шпоры. Пешком Мазл ходил редко – обычно он ездил на коне, который тоже был духом. Но в тот самый день он решил прогуляться по деревне.

Рядом ковылял, опираясь на суковатую палку, Шлимазл – старик с изможденным лицом и злыми глазками под кустистыми бровями. Крючковатый нос у него был красным, потому что Шлимазл частенько прикладывался к бутылке, а борода – седая, как паутина. Он шел в черном пальто и островерхой шляпе.

Шлимазл слушал, как Мазл хвастается.

– Всем я нужен, все меня любят, – говорил Мазл, – и радуются, куда бы я ни пришел. Конечно, видеть люди меня не могут, потому что я дух, но все равно они ждут меня с нетерпением – купцы и моряки, врачи и сапожники, влюбленные и игроки. Во всем мире звучат призывы: «Приди ко мне, Мазл!» А тебя, Шлимазл, никто не зовет. Признай, ведь так оно и есть!

Шлимазл поджал губы и почесал бороду.

– Да, тут никуда не денешься – обаять человека тебе ничего не стоит, это ты умеешь, – согласился он. – Но миром правят не обаятельные, а сильные. То, что ты сделаешь за год, я могу разрушить в один миг.

Так сказал Шлимазл, и теперь уже Мазл в раздражении прикусил губу.

– Что ты умеешь разрушать, все мы знаем, – ответил он. – Но ты очень однообразен – либо убиваешь, либо сжигаешь, а то еще насылаешь болезнь или голод, войну или бедность. Я же всегда полон новых идей. Я знаю миллионы способов сделать людей счастливыми.

– Да у меня миллиарды способов сделать их несчастными.

– А вот и нет! Ты всегда используешь одни и те же старые приемы, – настаивал Мазл. – Готов биться об заклад, что ты не придумаешь никакого нового способа испортить то, что я сделаю.

– В самом деле? И на что спорим? – спросил Шлимазл.

– Если ты выиграешь, – сказал Мазл, – я дам тебе бочонок драгоценного вина – вина забвения. Если же проиграешь, то пятьдесят лет не будешь совать свой красный нос в мои дела.

– Договорились, – согласился Шлимазл. – И что же такого хорошего ты сделаешь?

– Я войду в самый бедный дом во всей деревне и осчастливлю того, кто там живет. Я пробуду с этим человеком целый год. Как только год пройдет, можешь браться за дело, но с одним условием: не убивай его, не насылай болезнь, не превращай в нищего. Одним словом – не смей пускать в ход свои старые, всем надоевшие штучки. Так сколько тебе понадобится, чтобы испортить то, что сделаю я?



– Всего миг, – ответил Шлимазл.

– Тогда по рукам.

Мазл протянул свою руку. На среднем пальце блеснуло кольцо с изум-рудом, камнем надежды. У Шлимазла рука была костлявая, морщинистая, со скрюченными пальцами и ногтями, походившими скорее на когти. И еще, несмотря на теплый день, она была холодна как лед.

Когда они расстались, Мазл отправился к самой убогой хижине. Бревна в ней сгнили и поросли мхом, соломенная крыша почернела от времени. Печной трубы не было вовсе, и дым выходил через дыру в кровле. Окна давно уже остались без стекол, и их заколотили досками.

Чтобы пройти в низенькую дверь, Мазлу пришлось нагнуться. Внутри на голых стенах росли поганки.

На колченогой лежанке, покрытой соломой, сидел молодой парень, босой и голый по пояс. Мазл спросил, как его зовут.

– Там, – ответил тот.

– Что ж ты в такой нищете живешь?

Видеть Мазла Там не мог, но ответил, думая, что говорит сам с собой.

– Были у меня отец с матерью, – сказал Там, – да только они оказались невезучие. Отец умер от чахотки. Мать пошла в лес по грибы, и ее укусила ядовитая змея. Они мне оставили клочок земли, да такой каменистой, что там ничего не растет. К тому же в прошлом году случилась засуха, да еще саранча налетела, а в этом году урожая вообще не жди – сажать-то мне было нечего.

– Нельзя терять надежду, – сказал Мазл.

– Да на что мне надеяться? Не посеешь – так и не пожнешь. Хожу в лохмотьях, все деревенские девушки надо мной смеются. Жизнь у неудачника хуже смерти.

- А вдруг что хорошее случится? – сказал Мазл.
- Когда?
- Скоро.
- Да как же это?

Мазл не успел ответить – послышался звук трубы и топот копыт. Двадцать четыре королевских стражника скакали впереди кареты, запряженной шестеркой белых лошадей. Всадники были в красных штанах, желтых мундирах и шлемах с перьями. За каретой скакали придворные.

Поглазеть на королевский кортеж высыпала вся деревня. Те, кто был в шапках, их поснимали. Некоторые бухались на колени, а девушки почтительно приседали.

Поначалу все решили, что карета проедет через деревню, не останавливаясь, и на короля даже одним глазком не удастся посмотреть. Но Мазл уже все просчитал. Перед хижиной Тама у кареты отлетело колесо, и она едва не перевернулась. Всадники осадил лошадей, и вся процессия остановилась.

Дверца кареты распахнулась, и оттуда вышел король, а за ним семнадцатилетняя принцесса Несиха, его единственная дочь. Слава о красоте Несихи гремела и на родине, и за ее пределами. Король и его придворные возвращались с бала, который давал в ее честь правитель соседней страны. Золотистые локоны принцессы рассыпались по плечам, была она голубоглаза, белокожа, с длинной шеей и тонкой талией. Подол ее белого платья касался туфелек. Король всегда баловал принцессу – ведь ее мать умерла, когда Несиха была еще совсем маленькой. Но сегодня он сердился на свою красавицу дочь.

Дело было вот в чем. Этот бал устроили, чтобы познакомить принцессу с принцем Типишем, которого прочили ей в женихи. Однако Несихе Типиш не понравился, и он стал уже седьмым принцем, которому она отказала. Первый, по ее мнению, слишком громко и часто смеется. Второй мог говорить только о том, как мастерски он охотится на лис. Третий бил свою собаку, и принцесса это увидела. Четвертый имел несносную привычку каждую фразу начинать со слова «я». Пятый обожал розыгрыши. Шестой рассказывал одну и ту же историю по нескольку раз. Что до Типиша, то тут Несиха просто заявила, что у него дурацкие сапоги.

- Как это – сапоги дурацкие? – спросил ее отец.
- Когда ноги дурацкие, то и сапоги дурацкие, – ответила Несиха.
- Как это – ноги дурацкие? – не отставал отец.
- Если голова дурная, то и ноги дурацкие, – объяснила Несиха.

Несиха всякий раз находила причину отвергнуть жениха. Король уже стал опасаться, что она останется старой девой.

По законам этой страны Несиха могла стать после смерти отца королевой только в том случае, если у нее будет муж, который поможет ей управлять страной. Если

бы она не вышла замуж, трон унаследовал бы первый министр по имени Камцан – интриган, трус и скряга. Он был так скуп, что на золотую свадьбу, когда принято дарить что-то золотое, преподнес своей супруге жестяной наперсток, завернутый в золотую бумажку.

Когда от кареты отвалилось колесо, король, который и так был сердит, пришел в ярость. Он обвинил своих подданных в том, что они поставили под угрозу его жизнь, и пожелал выяснить, кто из них сможет быстрее других поставить колесо на место.

Там не очень-то знал, как чинить колеса, и совсем ничего не понимал в каретах. Но поскольку у него за спиной стоял Мазл, он, осмелев, воскликнул:

– Это могу сделать я, ваше величество!

Король удивленно покосился на полуголового парня. Он колебался, но тут снова вмешался Мазл, и король сказал:

– Можешь – так делай, только поскорее!

Крестьяне, знавшие, что от Тама толку не дождешься, со страхом наблюдали за происходившим. Они думали, что у Тама ничего не получится и тогда королевского гнева не миновать всей деревне.

Но когда за спиной у человека стоит Мазл, у него все получается. С Тамом так и произошло. Мальчишкой он немного поработал в кузнице, но ему казалось, что он забыл все, чему его учили. Однако стоило ему взять в руки колесо, как он все вспомнил. Король с удивлением наблюдал за ловкой работой парня. Когда дело было сделано, король спросил, как же так вышло, что такой умелый работник ходит в лохмотьях и живет в лачуге.

– Это все потому, что я невезучий, – ответил Там.

– Бывает, удача приходит внезапно, – сказал король. – Поезжай с нами во дворец, мы найдем тебе занятие.

Все случилось так быстро, что крестьяне глазам своим не поверили. Король просто распахнул дверцу кареты и велел Таму сесть. А потом дал приказ отправляться в путь.

Там до смерти боялся, что колесо опять отскочит, но, хоть лошади и неслись во весь опор, оно сидело крепко.

Король с Несихой стали расспрашивать Тама о деревенской жизни. Парень держался скромно, отвечал коротко и по делу. Его устами говорил Мазл. Король обернулся к Несихе и сказал на иностранном языке, которого Там не понимал, но зато его понимал Мазл:

– Посмотри, какие умные молодые люди встречаются среди наших крестьян!

Несиха ответила на том же языке:

– Многим принцам есть чему у него поучиться. – А потом задумчиво добавила: – Он еще и собой хорош. Ему бы только одеться поприличнее.

Поскольку у Мазла был в запасе всего год, события стали развиваться стремительно. В тот же день, как только они прибыли во дворец, король распорядился приготовить Таму ванну, дать ему чистое белье и новое платье. Его отправили работать в королевскую кузницу.

Вскоре Там начал проявлять недюжинное мастерство. Он умел чинить даже те кареты, которые считались вовсе непригодными. Он мог подковать норовистых лошадей, к которым другие кузнецы и подходить-то боялись. Вдобавок он оказался отменным наездником. Не прошло и месяца, как его назначили начальником королевской конюшни.

Раз в год при дворе устраивали королевские скачки. Таму разрешили в них участвовать, и он почти сразу умудрился очаровать придворных, знатных гостей, королевских советников – да, собственно говоря, всю страну.

Там выбрал незнакомую лошадь, но с помощью Мазла она оказалась самой быстроногой из всех. С Тамом в седле она перепрыгивала широченные рвы, брала самые высокие преграды и завоевала все призы. Ее наездник выглядел так изящно, что в него влюбились все придворные дамы.

Само собой, Несиха полюбила его с первого взгляда. Как это бывает со всеми, кто серьезно влюблен, Несиха считала, что ее чувства к Таму – тайна для окружающих. На самом деле об этом знал весь двор и даже ее батюшка, король. А еще он знал, что влюбленные на редкость упрямы. И поскольку гордый король не хотел выдавать свою дочь замуж за крестьянского сына, он решил дать Таму такое трудное поручение, с которым тот бы не справился. Он послал его с небольшим отрядом в дальние земли – покорить дикое и своевольное племя, с которым не мог совладать ни один королевский военачальник. С помощью Мазла Там не просто выполнил задание, но еще привез великолепные дары королю и принцессе Несихе.

Слава Тама все росла. Барды и менестрели слагали песни о его подвигах. Министры приходили к нему за советом. Его любили и им восхищались во всем королевстве. Когда простолюдины достигают успеха, они нередко становятся заносчивыми и забывают тех, среди кого выросли. Там же всегда находил время помочь крестьянам и беднякам.

Чем выше поднимается человек, тем могущественнее его враги. Первый министр Камцан, который мечтал о троне, плел козни против Тама. Он и его приспешники пустили слух, что Там колдун. Как иначе мог убогий крестьянин преуспеть в том, что не давалось вельможам? Стали поговаривать, что Там продал душу дьяволу. В тот год каждую ночь на небе можно было наблюдать комету с длинным хвостом, и враги Тама утверждали, будто этот дурной знак – предупреждение, что Там навлечет на короля беду и погубит всю страну.

Шлимазл пообещал Мазлу оставить Тама в покое на целый год, но это не мешало ему тихонько готовить западню, в которую Таму в надлежащее время предстояло угодить. Шлимазл с нетерпением ждал того момента, когда он, выиграв спор, получит бочонок вина забвения. Один глоток этого вина давал радости больше, чем все прочие земные наслаждения. Шлимазл уже давно мучился бессонницей и кошмарами. Он знал, что вино забвения наконец даст ему отоспаться и подарит сладкие сны о серебряных

морях, золотых реках, садах с хрустальными деревьями и женщинах небесной красоты. К тому же он мечтал показать своим ученикам – демонам, гоблинам, домовым, бесам и прочим злым духам, – что он могущественнее Мазла и может его перехитрить.

Король внезапно заболел. Лучшие доктора королевства не могли понять, что с ним такое. Наконец после долгих обсуждений они пришли к выводу, что короля поразила редкая болезнь, от которой лечит только молоко львицы. Где взять молоко львицы? В столице был зоопарк, но ни одна из львиц не выкармливала львят. Король так верил в Тама, что послал за ним и попросил его добыть молоко львицы. На месте Тама любой, услышав такую просьбу, испугался бы. Но поскольку у Тама за спиной стоял Мазл, он просто сказал:

– Конечно, мой король! Я найду львицу, подою ее и принесу вам ее молоко.

Короля так тронул бесстрашный ответ Тама, что он обратился к своим придворным с такими словами:

– Будьте свидетелями! В тот день, когда Там вернется с молоком львицы, я отдам ему в жены свою дочь.

Среди придворных был и первый министр Камцан, который больше не мог сдерживаться.

– Ваше величество, – сказал он. – Никому не удастся подоить львицу и остаться в живых. Там дал обещание, которого не сможет сдержать.

– А если он и принесет молоко, откуда нам знать, что это молоко львицы? – добавил один из приспешников Камцана.

– Ваше величество, я найду львицу и подою ее, – твердо повторил Там.

– Иди, и да сопутствует тебе удача, – сказал король. – Но предупреждаю: не смей меня обманывать, не приноси молока другого животного.

– Если я обману ваше величество, пусть карой мне будет смерть, – ответил Там.

Все думали, что Там вооружится с головы до ног и возьмет сеть, чтобы опутать зверя, или же прихватит с собой трав, которыми можно усыпить львицу. Они и поверить не могли, что он пустится в путь без слуг. Но он скакал один, без оружия, прихватив с собой только сосуд для молока.

Увидев это, даже те придворные, которые верили в Тама, засомневались. Он уехал в такой спешке, что даже не попрощался с Несихой, которая очень волновалась. Друзья Камцана тут же пустили слух, что Там испугался сложного поручения, которое дал ему король, и попросту сбежал. Все мудрецы сошлись на том, что никакая львица не даст человеку себя подоить.

Однако никто из них не знал, что вместе с Тамом пустился в путь и Мазл. Там проскакал меньше часа и увидел на пригорке огромную львицу и с ней рядом двух львят.

Со смелостью человека, которому помогает Мазл, Там подошел к львице, присел перед ней на корточки и стал доить ее, как доят корову. Он наполнил сосуд теплым львиным молоком, аккуратно его закупорил, встал и потрепал львицу по голове. Только тут львица и поняла, что произошло. Взгляд ее желтых глаз словно говорил: «Как я такое допустила? Неужто я забыла, что я – царица зверей? Где моя гордость, мое достоинство?» И тут она издала оглушительный рык. К счастью, Там уже успел сесть на лошадь, которая, испуганно вздрогнув, понеслась что было мочи в сторону столицы.

Там вернулся слишком быстро, и все решили, что молоко, которое он принес, вовсе не львиное. Львы жили в пустыне, в той части королевства, до которой от столицы было несколько недель пути. Всем стало ясно, что Там решил обмануть больного короля, чтобы после его смерти править страной вместе с Несихой.

Эти подозрения разделял и сам король. Однако он приказал Таму явиться к нему. Там вошел в королевскую опочивальню, неся двумя руками сосуд с молоком.

Опустившись перед королем на колени, он сказал:

– Ваше величество, я принес вам то, за чем вы меня посылали, – молоко собаки.

Наступила гробовая тишина. Глаза короля налились гневом.

– Ты смеешь смеяться над моим несчастьем? Ты принес мне молоко собаки! За это ты поплатишься жизнью.

Почему Там сказал, что он принес молоко собаки?

Получилось так, что Там предстал перед постелью больного короля в тот самый миг, когда год Мазла закончился и его место занял Шлимазл. Он-то и заставил Тама сказать «молоко собаки», а не «молоко львицы».

Шлимазлу удалось в одно мгновение разрушить то, что Мазл пестовал целый год. Причем Шлимазл, как они и договаривались, не использовал ни одной из своих старых уловок.

Там пытался исправить ошибку, но вместе с удачей у него пропал голос, и он стоял не в силах произнести ни слова. По знаку короля Камцан приказал двум стражникам схватить Тама и заковать его в цепи. Его бросили в темницу, где держали приговоренных к смерти.

Несиха, услышав о случившемся, впала в отчаяние. Она кинулась в отцовские покои – умолять его пощадить Тама. Но король впервые в жизни отказался принять дочь.

В тот вечер во дворце, да и во всей столице было темно и тихо. Только Камцан и его приспешники тайно праздновали низвержение Тама. Они знали, что король скоро умрет, а поскольку Несиха так и не вышла замуж, трон должен был достаться Камцану. Первый министр угощал своих гостей хлебом и пивом. Он был скрягой и всегда заставлял гостей самих платить за угощение. Однако на сей раз он взял с них плату только за пиво.

А в самом глубоком подземелье дворца, где, как считалось, обитали привидения, встретились Мазл и Шлимазл. Шлимазл думал, что Мазл будет расстроен и зол – как

любой, кто проиграл спор. Но Мазл умел проигрывать. Он, как всегда, был спокоен и уверен в себе.

– Ты победил, Шлимазл! Прими мои поздравления, – сказал он.

– Ты понимаешь, что твоего счастливчика Тама на рассвете повесят? – спросил Шлимазл.

– Понимаю.

– Ты не забыл принести мне вино забвения?

– Не забыл.

Мазл вышел и вскоре вернулся, катя перед собой запыленный и опутанный паутиной бочонок. Он поставил его на дно и протянул Шлимазлу кубок:

– Пей, Шлимазл, сколько душе угодно.

Шлимазл вынул из бочонка затычку, наполнил кубок и с жадностью осушил. Его бесовское лицо расплылось в ухмылке.

– Хоть я и повелитель несчастливцев, – усмехнулся он, – сам я – точно счастливчик.

Он выпил еще и сказал заплетающимся языком:

– Слушай, Мазл, может, хватит тебе со мной бороться? Присоединяйся-ка ты ко мне. Мы вместе таких дел наделаем!

– Хочешь сказать, вместе мы разрушим мир? – спросил Мазл.

– Именно так!

– А что потом? Ничего не останется, и нам нечем будет заняться.

– О чем беспокоиться, пока у нас есть вино забвения?

– Чтобы получить вино, надо, чтобы сначала кто-то развел виноградники, – напомнил ему Мазл. – Потом кто-то должен собрать виноград и сделать вино. Из ничего и не получится ничего, даже вина забвения.

– Если это вино подействует, меня не заботит будущее.

– Оно скоро подействует, – пообещал Мазл. – Выпей и забудь обо всем.

– Мазл, друг мой, и ты выпей.

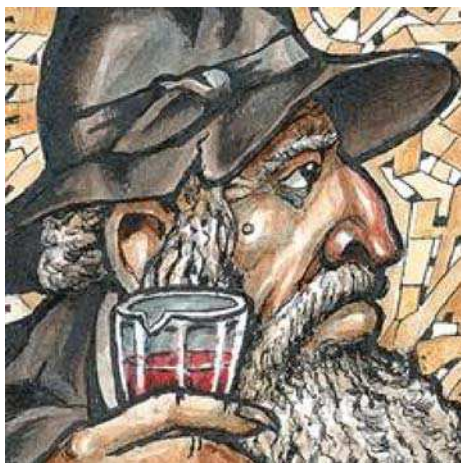
– Нет, Шлимазл, забвение не для меня.

Шлимазл пил кубок за кубком. Его морщинистое лицо то ли плакало, то ли смеялось, и он, как это часто бывает с пьяницами, стал рассказывать о себе.

– Я родился не Шлимазлом, – начал он. – Мой отец был добрым духом. Он был водоносом в раю. Моя мать была прислужницей у святого. Родители отдали меня в школу к рабби Зайнвлу. Они хотели, чтобы я стал серафимом или хотя бы ангелом. Но я ненавидел родителей за то, что они заставляли меня учиться. И назло им я связался с бандой бесов. Мы творили множество безобразий. Мы воровали манну, объедались краденой звездной пылью, лунным молоком и другими запретными лакомствами. По ночам мы спускались на землю, забирались в конюшни и пугали лошадей. Залезали в кладовки и портили еду. Притворившись волками, гоняли овец. Чего мы только не вытворяли! Однажды я превратился в лягушку и спрятался в табакерке рабби Зайнвла. Он захотел понюхать табаку, открыл ее, а я как выскочу, как укушу его в нос! Я медленно, но верно делал карьеру злого духа, пока не стал тем, кто я есть сейчас, – Шлимазлом, повелителем неудачи.

Шлимазл снова наполнил кубок и запел хриплым голосом:

*- Nêîüêî í è ñò àðàèîñ, Î àçè, í îçàááüü ì á:òú:
Î íáááèòüü ì áíÿ, Øèèì àçèà, í á ñü ááóü òú.
Êîèè àçÿèñÿ ÿ çà ááèî, ò î ñü ì í áí è é í àò,
× ò î í îèàæ àò ñÿ ñ í á:è í éó Øàì ó ááèü é ñáò.
Bçîèî ì ááç ì áðü òðáü èàò Î àçè, à í îèà
Áðàòü ñ ò í á Øèèì àçè ñðàçó çà ðí ñ áú è á
Î í á:àèó Î àçè ì í æ àò áú ðààò üñÿ áí áðáü,
Î í è òè í áèó ñò áí àò ÿñáí èó áí ðáüü èñîíá
Î ðñòüü í ááðá:áí î í è æàèîé, í ðñòüü ñ æó î í í à àèá,
Î í Øèèì àçè í ðñò ì çáñ í à áñü æ á í í áááèò.*



Закончив петь, Шлимазл рухнул бревном и захрапел.

Этого-то Мазл и ждал. Времени оставалось мало – близился рассвет, и придворные уже собирались у дворца, чтобы посмотреть на казнь. Стражники вывели закованного в цепи Тама. В толпе вельмож выделялся Камцан в окружении льстецов. Он уже успел набрать взятки и пообещать самые высокие должности тем, кто заплатил ему больше.

Камцан дал знак, и барабанщики ударили в барабаны. Палач в маске, одетый в красное с черным, приготовился накинуть петлю на шею Тама. В этот момент появился Мазл. Его никто не видел, но все почувствовали его присутствие. Неожиданно взошло солнце и озарило все розовым светом.

Теперь, когда Шлимазл лежал в пьяном забытьи, а рядом с пленником стоял Мазл, Там снова исполнился смелости. Он сказал громко и четко:

– Господа, по обычаю приговоренный к смерти имеет право на последнее желание. Мое желание – увидеть короля.

Барабанщики в замешательстве опустили свои палочки. Камцан хотел было возразить, но другие вельможи взяли верх и велели отвести Тама к больному королю, который лежал в своей опочивальне.

Там опустился перед королем на колени и сказал:

– Ваше величество, разрешите мне объяснить, почему я сказал вам, что принес молоко собаки. Всем известно, что лев – царь зверей, но по сравнению с вами, мой повелитель, лев – всего лишь жалкий пес. И львицу я назвал собакой в знак уважения и восхищения вашим величеством. Я принес вам молоко львицы. Молю вас, выпейте его, и вы поправитесь. Клянусь своей любовью к Несихе, что говорю правду.

Поскольку рядом с Тамом стоял Мазл, король ему поверил.

– Но молоко вылили! – вмешался Камцан.

Несиха, которая не спала всю ночь и молилась о том, чтобы Там каким-то чудом спасся, услышала, что происходит, и кинулась в комнату отца. Когда Камцан сказал, что молоко вылили, она воскликнула:

– Нет, Камцан, я сберегла его! Я попросила слуг отдать его мне, потому что верила Таму!

Она сбегала за молоком и принесла его отцу. Король выпил молоко до капли, и все с изумлением за этим наблюдали. Молоко подействовало так быстро, что королю на глазах стало лучше. Щеки зарумянились, взгляд из тусклого стал живым и бодрым, к больному вернулись силы. Весь двор ликовал – разумеется, за исключением Камцана и тех, кому он успел распродать высокие должности в королевстве. Больше всех была счастлива Несиха.

Она припала к ногам отца и сказала:

– Отец, Там спас тебе жизнь. Все, что он сказал, было правдой. Теперь сдержи свое обещание и дозвожь нам пожениться.

Король немедленно приказал готовиться к свадьбе, достойной будущей королевы. Пригласили королевские семейства и знать из всех соседних стран. На бракосочетание прибыли короли, королевы, принцы и принцессы со своими придворными. Они привезли ценнейшие подарки.

Несиха восхитительно выглядела в свадебном платье со шлейфом длиной в десять ярдов, который несли двадцать пажей. На голове у нее красовалась корона с выложенным алмазами изображением львицы. На мундире Тама сияла высшая награда королевства – орден Беззаветного Служения.

Там и Несиха были самой счастливой парой во всей стране. Несиха родила мужу семерых детей – четырех принцев и трех принцесс, и все они были красивыми, здоровыми и смелыми.

Никто не живет вечно. Настал день, когда король умер. Несиха стала королевой, а Там – принцем-консортом, то есть мужем королевы. Несиха никогда не принимала решений, не посоветовавшись с мужем, – ведь чем бы Там ни занимался, у него все получалось отлично.

Что же до Камцана, то он так расстроился, что запил. Он так и остался скрягой, поэтому околачивался по кабакам, дожидаясь, когда кто-нибудь его угостит. Те, кто прежде перед ним заискивал, первыми от него отвернулись.

Шлимазл хоть и очнулся некоторое время спустя от забытья, к Таму больше близко не подходил. Вино забвения обладало такой силой, что он и не вспомнил о его существовании. Шлимазл всегда благоволил пьянству и пьяницам, поэтому теперь привязался к Камцану. Мазл, конечно же, продолжал помогать Таму. На самом деле Таму уже не было особой нужды в его помощи – разве что изредка. Там понял, что удача сопутствует усердным, честным, искренним и готовым помочь ближнему. Человек, обладающий этими качествами, всегда будет счастлив.

Оле и Труфа

Сказка о двух листьях

Лес был большой, густо заросший всевозможными лиственными деревьями. Случилось это в ноябре. Обычно в эту пору уже холодно, нередко даже снег выпадает, но тот ноябрь выдался довольно теплым. Про ночи, правда, такого не скажешь – и зябко, и ветрено. Но стоило взойти солнцу, как сразу теплело. Казалось, будто лето задержалось, если бы не листья, что весь лес усыпали, – желтые, как шафран, красные, как вино, а еще золотые, а еще разноцветные... Их срывали дождь и ветер – и днем, и ночью, – и они лежали на земле толстым ковром. Сок в палых листьях высох, но приятный запах сохранился. Сквозь еще живые ветки на них светило солнце, по ним ползали червяки и букашки, которым удалось пережить осенние бури. Под листьями прятались сверчки, мыши-полевки и прочие существа, искавшие защиты в земле. Птицы, которые не улетают на зиму в теплые края, а остаются на месте, скакали по голым ветвям. Среди них были воробьи – птички крохотные, но очень храбрые и впитавшие опыт тысяч поколений. Они прыгали, чирикали и искали пищу, которую мог предложить лес в это время года. За

последние недели множество червяков и насекомых погибло, но эту утрату никто не оплакивал. Б-жьи твари знают, что смерть – это всего лишь часть жизни. С наступлением весны лес снова заполнится травами, зеленой листвой, цветами. Перелетные птицы вернуться из дальних краев и отыщут свои заброшенные гнезда. Даже если гнездо пострадало от ветра или дождя, его легко починить.

На верхушке дерева, потерявшего все листья, осталось только два: Оле и Труфа, так их звали. Они висели на одной веточке. Поскольку росли они на самой верхушке, то им доставалось много солнца. По неизвестным Оле и Труфе причинам они пережили все дожди, все холодные ночи и ветра. Разве кто-нибудь знает, почему одни листья падают, а другие держатся? Однако Оле и Труфа считали, что причина – в их великой любви друг к другу. Оле был чуть больше Труфы и на несколько дней старше, а Труфа была покрасивее и поизящнее. Когда дует ветер, льет дождь или идет град, один лист мало чем может помочь другому. Бывает, листок падает даже летом, а уж когда приходят осень и зима, тут вообще ничего не поделать. И все же Оле при каждой возможности подбадривал Труфу. Когда бушевала гроза, гремел гром, сверкала молния и ветер срывал не только листья, но и целые ветви, Оле умолял Труфу:

– Держись, Труфа! Держись изо всех сил!

Порой, холодными ненастными ночами, Труфа жалобно стонала:

– Оле, пришел мой час, но ты уж держись!

– Зачем? – отвечал Оле. – Без тебя мне нет смысла жить. Если ты упадешь, я упаду с тобой вместе.

– Нет, Оле, не надо! Пока лист может держаться, он не должен сдаваться...

– Все это возможно, пока ты со мной, – говорил Оле. – Днем я смотрю на тебя и восхищаюсь твоей красотой. Ночью я вдыхаю твой аромат. Остаться единственным листом на дереве? Нет, никогда!

– Оле, твои слова прекрасны, но это неправда, – сказала Труфа. – Ты же отлично видишь, что я уже не такая хорошенькая. Посмотри, сколько у меня морщин! Все мои соки высохли, даже перед птицами стыдно. С какой жалостью они на меня смотрят! Мне порой кажется, что они смеются над тем, как я сморщилась. Я все потеряла, только одно у меня осталось – любовь к тебе.

– Разве этого мало? Из всех сил любовь – самая высокая, самая прекрасная! – воскликнул Оле. – Пока мы любим друг друга, мы останемся здесь, и ни ветер, ни дождь, ни ураган нас не погубят. Вот что я хочу тебе сказать, Труфа: я никогда не любил тебя так сильно, как люблю сейчас.

– Почему, Оле, почему? Я стала вся желтая.

– А кто сказал, что зеленое красиво, а желтое – нет? Все цвета одинаково привлекательны.

Не успел Оле это сказать, как случилось то, чего Труфа боялась уже несколько месяцев: ветер налетел и сорвал Оле с ветки. Труфа задрожала-затрепетала, сама чуть не

сорвалась вниз, но удержалась. Она смотрела, как падает, кружась, Оле, и кричала ему на языке листьев:

– Оле, вернись! Оле, Оле!

Но Оле миг исчез из виду. Он упал на землю, к другим листьям, и Труфа осталась на дереве одна.

Пока еще было светло, Труфа хоть как-то сдерживала горе. Но когда стемнело и похолодало, когда полил дождь, она впала в отчаяние. Труфа считала, что во всех несчастьях листьев виновато дерево со своим стволом и могучими ветвями. Листья падали, а дерево стояло, высокое, толстое, крепко укоренившееся. Ему были не страшны ни ветер, ни дождь, ни град. Какое дело дереву, которое живет чуть ли не вечность, до какого-то листочка? Для Труфы дерево было богом. Оно на несколько месяцев покрывало себя листьями, а потом сбрасывало их. Труфа молила дерево вернуть ей Оле, вернуть лето, но дерево не внимало или не хотело внимать ее мольбам.



Труфа и не подозревала, что ночь может быть столь долгой, темной и холодной. Она обращалась к Оле и надеялась услышать ответ, но Оле молчал и ничем не выказывал своего присутствия.

– Раз ты забрало у меня Оле, – сказала Труфа дереву, – забери и меня.

Но дерево осталось глухим и на этот раз.

Наконец Труфа задремала. Это был не сон, а какое-то странное забытье. Очнувшись, она с удивлением обнаружила, что уже не висит на дереве. Пока она спала, ветер сдул ее оттуда. Новое чувство было совсем не похоже на то, что она испытывала, просыпаясь с рассветом на дереве. От страхов и тревог не осталось и следа. Очнувшись, она ощущала себя по-новому. Она уже не зависела от любого порыва ветра – Труфа стала частью Вселенной. Она более не была маленькой, слабой, недолговечной, но присоединилась к вечности. Каким-то таинственным образом Труфа осознала, какое это чудо – все ее молекулы, атомы, протоны и электроны, мощнейшая энергия, которую она в себе воплощала, тот Б-жественный замысел, частью которого была и она. Рядом с ней лежал Оле, и они приветствовали друг друга с любовью, о которой прежде и не догадывались. Это была не та любовь, которая зависит от случая или каприза, но любовь великая и могучая, как и сама Вселенная. То, чего они так боялись все дни и ночи с апреля

до ноября, оказалось не смертью, а избавлением. Ветерок поднял Оле и Труфу в воздух, и они парили в блаженстве, известном лишь тем, кто освободился и слился с вечностью.

Перевод с английского Веры Пророковой

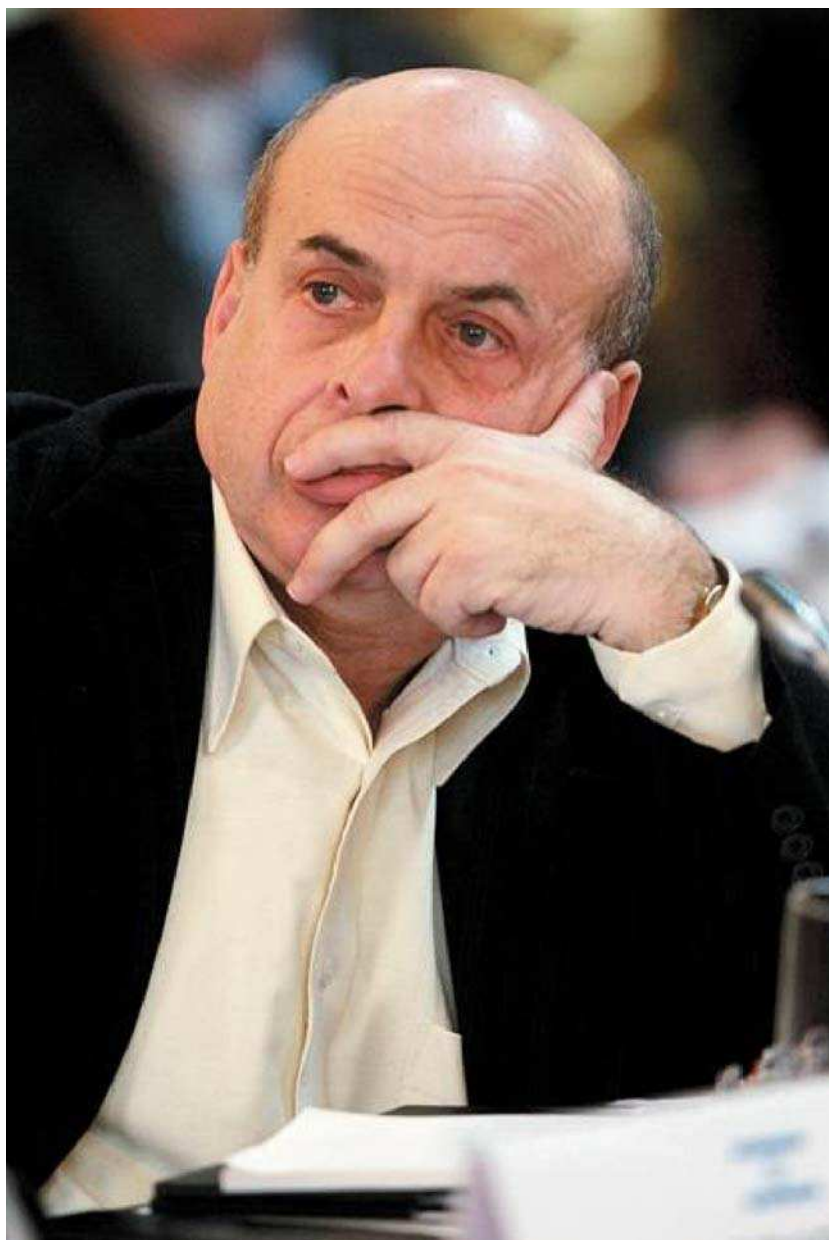
В издательстве «Текст/Книжники» в новой серии «Кешет/Радуга» в ближайшее время выйдет в свет книга И.Б. Зингера «Рассказы для детей».

ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2010 ТЕВЕТ 5770 – 1(213)

О ВАЖНОСТИ КОРНЕЙ: IDENTITY И ЕЕ РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ В ЗАЩИТЕ ДЕМОКРАТИИ

Ī àòàí Úàðàí ĩèèé

Активист борьбы за эмиграцию советских евреев, соратник академика Сахарова по демократическому движению в СССР, политзаключенный, израильский министр Натан Щаранский выпустил свою третью книгу (написанную при участии Ширы Волоски-Вайс)¹. Она развивает и дополняет идеи, высказанные в его предыдущей книге «В защиту демократии». Если та, как явствует из названия, была посвящена доказательству преимуществ демократической формы правления, то теперь автор постулирует недостаточность «голой» демократии – только опираясь на идентичность, культурную, национальную, религиозную, демократия становится силой, способной преобразить мир к лучшему. «Я написал эту книгу в защиту identity. Я написал ее, чтобы разъяснить, почему identity не только никак не враждебна демократии, а напротив, необходима для сохранения ее. Я написал эту книгу, стремясь разъяснить, почему для здоровья общества и для обеспечения мира на земле необходимо, чтобы identity держалась в рамках демократии, а демократия была привязана к земле узами identity. Identity без демократии способна стать фундаменталистской и тоталитарной. Демократия же без identity может превратиться в поверхностную и лишённую смысла», – поясняет замысел своей книги автор.



Н. Шаранский

Русский перевод книги готовится к выходу в издательстве «Мосты культуры / Гешарим». «Лехаим» предлагает своим читателям те фрагменты, где речь идет о соотношении еврейской и израильской идентичности в современном мире. (Ключевой термин «identity» совместным решением автора и переводчика Романа Полонски оставлен без перевода.)

Демократические процессы постепенно подрывали основы идеологии Израиля как плавильного котла, но решающий удар по ней был нанесен с прибытием в Израиль большой волны новых репатриантов из России в начале девяностых годов XX века. С падением железного занавеса менее чем за десять лет более миллиона советских евреев прибыли в Израиль, что в масштабах США пропорционально 60 млн эмигрантов за тот же период. Новые олим были высокообразованными и амбициозными людьми. Для советских евреев хорошее образование издавна было единственным способом хотя бы частичной защиты от дискриминации. И поэтому они старались быть первыми в математике, в других науках, в технике.

С появлением новой волны алии число врачей, инженеров и математиков в Израиле увеличилось всего за несколько лет вдвое, а число музыкантов и шахматистов – во много раз.

По своему печальному опыту советские евреи знали, что это значит – жить без самоидентификации, и многие приехали в Израиль, надеясь обрести ее здесь. Им было трудно принять модель «нового еврея», лишённого культурных и исторических связей с прошлым. Один репатриант в беседе со мной сформулировал это следующим образом: «Я думал, что приезд в Израиль добавит мне три тысячи лет моей истории. Вместо этого я потерял тридцать – советская история начиналась с 1917 года, в Израиле она начинается с 1948 года».

Репатрианты из СССР хотели обрести новую жизнь в Израиле, но не были готовы расставаться со всеми богатствами впитанной ими русской культуры. Они бережно сохраняли русский язык, настаивали на высоком уровне общего образования, организовывали группы взаимопомощи и приняли активное участие в политической жизни, создав со временем свою собственную партию, председателем которой я был избран. Благодаря своему упорству и энергии они открыли для себя многие двери израильского общества, которые прежде являлись фактически закрытыми для репатриантов в первом поколении.

Основавшие Израиль социалисты придерживались принципа, согласно которому первое поколение иммигрантов было обречено являться «поколением пустыни», подобно тем евреям, которые вышли из Египта и в течение сорока лет бродили по Синайской пустыне, пока не добрались до Земли обетованной. Согласно этой логике, только дети новых репатриантов, родившиеся и выросшие в Израиле, могли стать полноценными и полноправными членами общества.

Но русские репатрианты желали сами непосредственно войти в Землю обетованную. Проведя в СССР всю свою жизнь в качестве граждан второго сорта, они захотели сразу же стать равноправными гражданами в Израиле. Лозунгом первой и очень успешной избирательной кампании «русской» партии, которая прошла в 1996 году под моим руководством, было: «Нет интеграции без представительства». Новая репатриантская партия завоевала семь из 120 мест в израильском парламенте, что позволило ей играть важную роль в довольно раздробленной политической системе, где для создания правительства правящая партия вынуждена идти на коалицию со своими партнерами. На муниципальных выборах сотни новых репатриантов прошли в местные советы и стали активно участвовать в процессах интеграции на уровне школьного образования, на своих рабочих местах и в своих общинах.

Столкнулись не только разные подходы к алии и интеграции, но и разные концепции строительства израильского общества в целом. Репатрианты на деле претворяли концепцию израильского общества, каким его видел Герцль, – «Моисеевой мозаики» разнообразных культур, в которую каждая община вносит свой уникальный опыт и традиции, основанные в то же время на древней, общей для всех identity.

Театр «Гешер» – это маленький, но очень характерный пример того, как такое плюралистское видение изменило сам подход к построению израильской identity. В начале большой волны алии, в 1990 году, мне позвонили несколько известных московских евреев – театральных деятелей, актеров и продюсеров. В то время я возглавлял Сионистский форум советского еврейства – организацию, созданную новыми репатриантами и состоявшую из новых репатриантов, которая инициировала и поддерживала проекты в

сфере интеграции. Театральные деятели из России сказали мне, что хотели бы репатриироваться в Израиль, но не знают, смогут ли они здесь работать и участвовать в театральной жизни страны. В этой связи они спрашивали: поддержит ли правительство создание в Израиле театра на русском языке?

Идея мне очень понравилась, я был уверен, что она хороша не только для театра, но и для алии в целом. Переезд из России в Израиль некоторых видных деятелей культуры покажет многим другим сомневающимся, что в Израиле они будут чувствовать себя как дома.

Я был совершенно уверен, что официальные израильские лица разделят мой энтузиазм. Но их реакция меня шокировала. Мое предложение о создании израильско-русского театра натолкнулось на решительный отказ как со стороны чиновников Министерства образования и культуры, так и со стороны профсоюза театральных работников. «Мы по принципиальным соображениям никогда не соглашались на открытие театров на других языках – румынском, болгарском и даже идише», – сказали они мне. «Иврит, который на протяжении многих веков был мертвым языком, необходим для укрепления единства страны, чудо его возрождения нельзя ставить под угрозу. Разве ты как сионист не понимаешь, что мы должны укреплять связь евреев с нашим древним языком?» – спрашивали они. «Всякий, кто приехал сюда, должен первым делом учить язык. То, что предлагаешь ты, помешает репатриантам успешно интегрироваться в Израиле», – заявляли эти люди.



Одни из первых израильских поселенцев. Каньон Петры. 1929 год

Возрождение иврита было действительно чудом, которое сыграло решающую роль в создании общей ивритской культуры. Но я полагал, что сионизм достаточно силен не только для того, чтобы сохранить и восстановить прошлое, но и для того, чтобы включить в себя новые формы и культуры. Я чувствовал, что репатрианты из России нуждаются в платформе для самовыражения, что благодаря этому они, в полном соответствии с герцлевским образом пересаженного, а не выкорчеванного растения, смогут внести свой неопределимый вклад в общую израильскую культуру. Кроме того, это был совершенно конкретный способ показать другим русскоязычным евреям, что для них и их культуры есть место в Израиле. Поэтому я задался целью собрать деньги на этот проект у людей, которые отнесутся к этой идее с большей симпатией.

Еврейская федерация Нью-Йорка выделила деньги для нескольких первых представлений, а Сионистский форум собрал достаточно средств для того, чтобы профинансировать бюджет театра в течение первого года его существования. В итоге мы стали свидетелями фантастического успеха этого эксперимента. Вначале на представления приходили только русскоязычные зрители, но со временем актеры стали играть на иврите. Театр «Гешер», что означает «Мост», состоит сегодня из русскоязычных актеров, играющих на иврите, и ивритских актеров, говорящих по-русски. С самых разных уголков Израиля приезжают сюда школьники, чтобы посмотреть спектакли высочайшего качества; театр завоевывает высшие призы на самых престижных международных театральных фестивалях. Это и есть культурный, экономический и сионистский вклад в израильскую жизнь.

Русская алия показала, что, помимо плавильного котла, есть альтернативная модель строительства общей израильской identity, намного более близкая к концепции «мозаики Герцля», чем модель отцов-основателей. В этой модели общественное пространство служит разным группам для выражения всего богатства их особой, уникальной культуры. Газеты, телевидение и радио на русском языке, существующие сегодня в Израиле, вовсе не загоняют новых репатриантов в гетто. Напротив – они являются своего рода переходной «кессонной станцией», помогая вновь прибывшим быстрее понять особенности их новой родины и облегчая им трудности первого периода абсорбции.

Многие опасались, что алия из СССР, на протяжении десятилетий насильно оторванная от своих корней и в значительной степени ассимилированная, будет способствовать ассимиляционным процессам и в самом Израиле. На самом деле она приблизила израильское общество к еврейству диаспоры благодаря большому количеству людей, которые, как и я, чувствовали себя одновременно частью Израиля и частью диаспоры. Есть немалая доля иронии в том, что созданная еврейскими революционерами из России модель «плавильного котла» была окончательно разрушена четырьмя поколениями позже их соотечественниками, прибывшими сюда после развала СССР.

Несмотря на всю критику и немалые трудности, история интеграции русской алии в Израиле была огромным успехом. Израильское общество справилось с этим огромным вызовом, не стирая «дефисность» культур, а усиливая ее; не уничтожая, а, наоборот, поощряя связи между различными identity. Без конкретной, определенной культуры и истории, будь то марокканская, йеменская, русская, французская или американская, израильская культура не более чем абстракция. Без истории культура не существует, стереть ее означает стереть культуру в целом.

Русский еврей, таким образом, – это один из видов израильянина, наряду со многими другими «дефисными» видами: американо-еврейским, мароккано-еврейским, йеменско-еврейским, франко-, англо- и немецко-еврейским израильянином. Вообще, разнообразие еврейских этнических групп – одна из самых поразительных особенностей Израиля. На двух-трех прилегающих к моему иерусалимскому дому улицах расположены марокканская, турецкая, английская, французская и многие другие синагоги. В кафе рядом с местом моей работы можно встретить американского программиста, французского фармацевта и русского врача, которые как будто вышли из мечты Герцля. Их различное прошлое создает богатую и разнообразную мозаику, то, что их объединяет, – это единая еврейская культура.

Ультраортодоксальные последователи Гаона из Вильно, приехавшие в Израиль в XVIII веке, сионисты-социалисты конца XIX века и ассимилированные российские

евреи, боровшиеся за свое право репатриироваться в Израиль в конце XX века, не имеют, казалось бы, ничего общего с точки зрения отношения к еврейской традиции. Однако все они ощущали себя соратниками в осуществлении древней мечты – возвращении на Землю Израиля и воплощении в жизнь мольбы пророка Ирмеяу: «Обнови дни наши, как древле».



Русские иммигранты. Иерусалим. 1992 год

Миры еврейского самосознания

Патерналистский подход отцов-основателей к проблеме новой израильской identity создал два типа проблем: одна состоит во взаимоотношениях между израильтянами и новыми репатриантами, вторая – во взаимоотношениях между Израилем и диаспорой. Первая решается благодаря демократическому характеру израильского общества, со второй дело обстоит сложнее.

Демократия сама по себе не ведет к трансформации этих отношений, в рамках которых глубоко противоположные взгляды на identity и ее роль напрямую сталкиваются друг с другом. Шансы на выживание и сохранение тех внутренних сил, которые поддерживали наш народ на протяжении многих веков изгнания, зависят от того, насколько новая израильская identity питается своими еврейскими корнями, насколько глубоко уходят эти корни в историческую почву еврейского народа. Именно эту «почвенность» идеологи создания «нового еврея» и пытались уничтожить.

Глубокие разногласия в этом вопросе вырвались наружу в связи с выступлением А.Б. Иегошуа на заседании Американского еврейского комитета, которое состоялось 1 мая 2006 года в ознаменование столетнего юбилея со дня его основания. Представлявший на этой встрече израильских интеллектуалов и весь Израиль в целом известный израильский писатель заявил своей аудитории в Вашингтоне нечто, что их не на шутку встревожило:

Моя израильская identity и есть истинная еврейская identity. Она основана на географии, языке, структуре израильского общества. Территория, ее запах, ощущение языка – все это моя identity. Общение на иврите определяет мою культурную identity, жизнь в Израиле – мое национальное самосознание. Вне всего этого невозможно иметь сколько-нибудь значимую еврейскую identity.

Американские организаторы конференции были шокированы. Они относились к Израилю как к важной части их собственной еврейской identity, они видели в Израиле свой авангард, а в израильтянах – пионеров, которые воплощают в жизнь их мечту о еврейском государстве. Однако в своем выступлении Иегошуа объявил о разводе между Израилем и евреями диаспоры. Он решительно отмел общее еврейское наследие, три тысячи лет совместной культуры, молитв, ритуалов, традиций, – словом, все то, что заключено в понятии «иудаизм».

Но слова Иегошуа не должны никого удивлять: они – логическая кульминация бен-гурионовского видения «нового еврея», создающего новую нацию практически на пустом месте. Для Иегошуа, как и для многих в Израиле, единственная жизненно важная с еврейской точки зрения вещь – это то, что происходит в самом Израиле. Века до возвращения в Сион и жизнь вне его не имеют никакого значения, они не важны. Израильское видение нового еврея оставляет не слишком много места для связи с общинами диаспоры: пусть они и остаются еврейскими по своей культуре и религии, но их члены все равно не живут в Израиле.

В откликах на речь Иегошуа авторы были озабочены в основном тем влиянием, которое она окажет на евреев диаспоры. В отличие от них, меня эта позиция больше всего беспокоила в связи с израильской identity.

Обсуждение нашего права на землю и жесткое противостояние между нашим и палестинским подходами к этому вопросу – это не абстрактная философская дискуссия, что ясно показывает отношение к этой проблеме палестинских лидеров. Когда руководители «Хамас», как в свое время и Ясир Арафат, готовы рассмотреть вопрос о признании факта, но не права Израиля на существование, они не играют в словесные игры. Арафат не случайно отрицал всякую связь между Храмовой горой и еврейским народом. Ему было ясно, что глубокая историческая связь, основанная на еврейской традиции, является основой для существования Государства Израиль и что без этой связи оно попросту исчезнет. Разница между израильской и еврейской identity, по Иегошуа, – это в точности разница между фактом нашего существования и нашим правом на существование. Это разница между группой людей, которые, так уж случилось, вместе живут на одном участке земли и говорят на одном языке, и потомками людей, которые вернулись на свою историческую родину через тысячи лет рассеяния.

Если мы, не дай Б-г, оторвем себя от той цепи, которая связывает нас с еврейским народом, если мы откажемся от трех тысяч лет иудаизма, если откажемся от того, что мы продукт двухтысячелетней мечты еврейского народа оказаться «в будущем году в Иерусалиме», – тогда мы потеряем святое право на наше существование здесь, а потеряв это право, мы продержимся недолго.

Возможно, евреи диаспоры были оскорблены прямыми замечаниями Иегошуа. Но восстать против них должны в первую очередь мы, евреи Земли Израиля, так как они напрямую касаются самого нашего права на существование здесь.

Как только мы отделяем себя от мирового еврейства, от его истории и превращаем себя в «новых евреев», чья история начинается лишь с момента создания современного Государства Израиль, взгляд на еврейское государство как на типичную колониальную державу завоевывает все больше сторонников не только за рубежом, но и в самом Израиле.

Много лет тому назад в Москве, в один из самых напряженных периодов нашей борьбы в качестве еврейских диссидентов, один американский турист сказал мне: «Ты выглядишь и действуешь как настоящий “сабра” (уроженец Израиля)». Я воспринял это как огромный комплимент: Израиль был для нас источником силы и лучом надежды, наши судьбы были нераздельно связаны с его судьбой.

Но с тех пор как я приехал в Израиль, я чувствую себя все больше и больше евреем диаспоры. Свои силы я черпал из связи с еврейской историей, из преданности нашего народа его уникальной identity. Мои неоднократные заявления на заседаниях правительства о том, что Израиль принадлежит не только израильтянам, но и всем евреям мира, нередко воспринимались моими коллегами с удивлением и непониманием. С другой стороны, мои слушатели в диаспоре не всегда приветствовали мои заявления о том, что самое подходящее место для тех, кто хочет влиять на будущее еврейского народа, – это Израиль, а мои замечания о важности Израиля для еврейской identity Америки и всего мира далеко не всегда находили поддержку в американских университетских кампусах. Со временем это разделение между старым и новым, древней еврейской историей и современным государством кажется мне все более и более искусственным, а сам выбор между тем и другим – абсолютно неприемлемым. Я не могу разделить себя на «старого» и «нового» еврея и очень надеюсь, что в конце концов этот пресловутый «новый» еврей, несмотря на все присущие ему достоинства, окажется на свалке истории точно так же, как оказалась на ней породившая его марксистская идеология.

Бывшая министр просвещения и одна из лидеров левой партии Мерец Шуламит Алони защищала Иегошуа следующим образом: «Я – израильтянка без “дефисов”, у меня нет той двойственности самосознания, которая существует у евреев диаспоры».

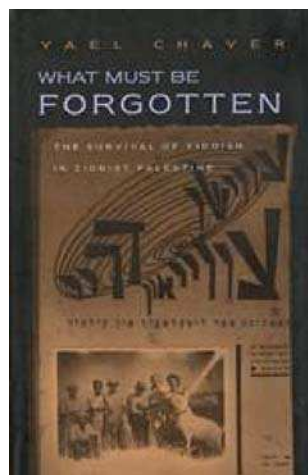
Алони не понимает, что именно эти дефисы, эти многогранные и переплетающиеся identity дают смысл и цель израильской жизни. Дефис, который она так презрительно отбрасывает, – это то, что связывает нас с нашими братьями во всем мире, то, что объединяет нас с поколениями евреев, мечтавших о возвращении в Сион, то, что устремлено в будущее, связывая всех евреев вместе в их общей судьбе.

ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2010 ТЕВЕТ 5770 – 1(213)

ИЗРАИЛЬ, ГОВОРЯЩИЙ НА ИДИШЕ

Àéàéíá àð Èíéèéí

Монография профессора Калифорнийского университета Яэль Хавер «То, что должно быть забыто. Выживание идиша в сионистской Палестине»[\[1\]](#) по своему содержанию и ясно выраженной позиции примыкает к израильской так называемой постсионистской историографии. Постсионистские или, как их еще называют, «новые» историки заявили о себе уже в конце 1980-х годов. Их работы были направлены на ревизию бытовавшей интерпретации узловых моментов израильской истории, традиционного сионистского дискурса – например, отношения лидеров еврейской общины (ишува) к Холокосту, возникновения израильского государства, Войны за независимость 1948–1949 годов, проблемы беженцев, Шестидневной войны...[\[2\]](#)



Традиционный сионистский императив состоял, среди прочего, в том, что прибывшие в Палестину новые поселенцы полностью отказались от всего знакомого и привычного им на старой родине, в тех странах, где они жили на протяжении столетий. Ключевым моментом для переселенцев из Восточной Европы, по мысли историков-традиционалистов, был отказ от идиша в пользу иврита, исключительность которого подчеркивал сионизм. Сионистские идеологи исходили из того, что в Эрец-Исраэль должна быть сформирована новая нация, ничего общего не имеющая с галутными евреями. Идиш же осмыслялся как «жаргон», связанный с культурой отвергаемого галута. О личном и коллективном отказе халуцим-пионеров от языка диаспоры как важнейшем элементе сионистского «рождения заново» пишет целый ряд ведущих израильских исследователей[\[3\]](#).

Между тем, Хавер отмечает, что и в диаспоре иврит был составным компонентом многоязычной еврейской культуры и занимал в ней более престижное место, чем идиш или какой-либо другой еврейский разговорный язык – например, иудео-испанский (джудезмо) или иудео-арабский. Показательно, что именно древнееврейский язык стал основой для новой израильской культуры. Автор ставит вопрос, на который, собственно, и призвано ответить ее исследование: «Что же произошло с идишем, с его культурой и носителями этого языка» в стране Израиля?

Европейские евреи говорили на идише более тысячи лет. В начале XX века литература, созданная на этом языке, представлялась ряду еврейских теоретиков некоей «территорией» для народа, не имевшего родины. Появилось такое понятие, как идишланд – особое еврейское отечество. Впервые этот термин ввел идишист и общественный деятель Хаим Житловский, писавший, что духовно-национальный дом – это то место, где «присутствует наш народный язык и где каждое дыхание и каждое слово помогают поддерживать национальное существование нашего народа»[4].

Однако в Палестине евреи, чьей «родиной» до тех пор был текст, создавали физический дом, который идентифицировался с одним из языков. Таким образом, часть выдавалась за целое. Выбор иврита как национального языка стал непосредственным результатом избирательного подхода раннесионистских идеологов к различным периодам истории еврейского народа. Ореолом романтизма оказалось окружено додиаспоральное существование, доизгнаннический период. Древность стала источником легитимизации и предметом восхищения. Язык Библии воспринимался как часть эпохи чистых помыслов и целей[5]. Культура же «идишланда» подверглась решительной переоценке. Одним революционным ударом она была лишена того места, которое занимала.

Идиш отвергался не только как язык галута, но и как язык старого ишува, с которым пионеры-сионисты не желали иметь ничего общего. Действительно, евреи европейского происхождения, жившие в Эрец-Исраэль в середине XIX века, в массе своей разговаривали на идише. Они существовали за счет халуки – системы сборов и пожертвований, совершаемых еврейскими общинами за пределами Страны. Идишеязычный старый ишув разительно отличался от того образа независимого и инициативного еврейского сообщества, который стремились создать сионисты.

Отвержение идиша ранними сионистами было настолько тотальным, что на каком-то этапе они готовы были предпочесть ему не только иврит и связанный с ним комплекс культурных представлений, но даже арабскую культуру. Ведомые романтическими европейскими ориенталистскими представлениями, халуцим рассматривали некоторые ее элементы (одежду, пищу, отдельные обычаи) как диаметрально противоположные еврейской диаспоральной жизни и, следовательно, подходящие для «внедрения» в среду «новых евреев».

В связи с тем, что гебраистская идеология отрицательно относилась к использованию в иврите фраз и слов из других еврейских языков, идишские выражения «прикидывались» иностранными. Таким путем множество заимствований из идиша относительно «бесконфликтно» вошло в современный литературный иврит, а также в ивритский сленг 1940-х и 1950-х годов. Хавер цитирует Йосефа Гури, который отмечает, что около четверти из тысячи идиом разговорного иврита являются кальками с идиша. (Впрочем, Хавер не касается всей сложности менявшегося отношения к идишу в ишuve после Катастрофы европейского еврейства.)

К 1914 году языком преподавания в еврейских учебных заведениях в Эрец-Исраэль был объявлен исключительно иврит. В 1923 году мандатные власти назвали иврит одним из официальных языков Палестины, наряду с английским и арабским. Лидеры и идеологи ишува уверенно создавали господствующий нарратив, в котором существование альтернативной культуры или даже субкультуры со своим языком было недопустимо, ибо ставило под сомнение полноту успеха сионистского проекта.

Казалось, победа иврита была полной. Официальная установка на «забывание» идиша была настолько тотальной, что даже сам длительный конфликт между ивритом и

идишем оказался вытеснен из коллективной памяти. Так, один из столпов израильской историографии Шмуэль Этингер в своем основополагающем труде (см. примеч. 3) в качестве ключевого события, приведшего к победе иврита в школах ишува, упоминает... иврито-немецкий «языковой спор» 1913 года (тогда еврейско-немецкая благотворительная организация «Эзра» выступила за введение немецкого языка в качестве языка преподавания в технических школах ишува, что вызвало резкую ответную реакцию).



Залмен Брехес

Но идиш в Эрец-Исраэль, как показала на широком и разнообразном историческом материале Хавер, не исчез. Большинство жителей нового ишува (еврейской общины после 1880-х годов) в первые десятилетия его существования оставались естественными носителями идиша и продолжали говорить на этом языке. В то время ишув еще не был способен полноценно функционировать, используя один лишь иврит. Ни основатели Тель-Авива, ни сионистские иммигранты в новых поселениях не заговорили в одночасье на иврите. Впрочем, это не мешало им зачастую пользоваться прилагательным «ивритский» вместо «еврейский»: Тель-Авив – «ивритский» квартал Яффы, «ивритские» рабочие и т. п.

Тот порядок, когда идиш и иврит сосуществовали в еврейских общинах Европы и каждый из них занимал свое место в устоявшейся веками системе, в сионистской Палестине был радикально трансформирован. Иврит был предназначен для повседневного использования, но при этом оставался также и языком высокой культуры, а идиш был полностью делегитимизирован. Официально он стал аномалией, хотя де-факто оставался языком многих, если не большинства, включая и 1930-е годы. Симптоматичны слова Бен-Гуриона, что в пропаганде сионисты вынуждены использовать многие языки, но для «нашей культурной работы единственным языком остается иврит». По сути такой подход возвращал ситуацию к традиционному разделению на язык высокой культуры (иврит) и утилитарный язык повседневности (идиш).

Двойственное положение идиша состояло в том, что это был родной язык, одновременно любимый и отвергаемый по идеологическим мотивам. Ведущие израильские историки обыкновенно игнорируют психологические трудности «врастания» выходцев из Восточной и Центральной Европы в иврит. Исследование же Хавер

позволяет говорить о культурном и ментальном расколе, произошедшем на пересечении идеологии и личного опыта.

Хавер отмечает, что израильские историки литературы, занимающиеся историей ивритской культуры, по сути игнорируют существование в Палестине идишской литературы. Между тем, в период второй алии (1904–1914 годы) литература на идише в Эрец-Исраэль достаточно бурно развивалась. Возможности же тогдашней ивритской словесности были весьма ограничены, так как нормативный стиль новой прозы на иврите возник в конце XIX века, то есть еще до того, как стал реальностью разговорный иврит.

Творчество немалого числа литераторов ишува не укладывается в сионистский нарратив. Они писали на идише либо одновременно на идише и на иврите. Живучесть идишской литературы в ишuve объясняется, среди прочего, тем, что в сравнении с ивритской литература на идише отличалась разноплановостью, гибкостью и давала больше возможностей для отображения социальных и идеологических различий в обществе. Это позволяло идишским писателям Палестины, разделявшим сионистские устремления, создать полифонию, отражавшую гетерогенность раннего ишува.

Писатели, чье творчество анализируется в книге, отражают различные поколенческие, идеологические и эстетические тенденции. Автор рассматривает творчество Залмена Брехеса – писателя периода второй алии, чьи ранние работы носили в основном несионистский характер и предлагали более сложное и разнообразное видение Палестины, чем книги некоторых его (да и наших) современников, идеализирующих сионистскую идентичность первопоселенцев. Другой герой Хавер, Авром Ривес, также стремился отразить культурное и идеологическое многообразие ишува, его произведения «населены» арабами и христианами. Вплоть до своей кончины в середине 1960-х годов писала на идише и поэтесса Рикуда Поташ...

Более того, ивритская литература также была несвободна от идишских влияний. Анализируя построение предложений и фраз у таких безусловных израильских классиков, как Йосеф-Хаим Бреннер и ранний Агнон, Хавер отмечает определяющее влияние на них языковых структур идиша. Бреннер вообще был одним из немногих публичных деятелей ишува, позволявших себе говорить об идише как о «сионистском языке», «языке наших матерей, который клопочет в наших устах».

Хавер не просто возвращает читателю идишскую культуру ишува и вводит в оборот по сути неизвестные тексты – она прочерчивает непрерывную линию, предлагает альтернативный общепринятому взгляд на историю израильской литературы, выстраивает ее «теневую» версию. Ей удастся доказать, что идишская литература была весьма популярна и широко распространена в ишuve – достаточно сказать, что в период между 1928 и 1946 годами в Эрец-Исраэль выходили 26 литературных журналов на идише. Более того, в конце 1920-х годов идишская культура в ишuve переживает своеобразный «ренессанс» (в том числе и в новом «ивритском» городе Тель-Авиве – в 1927 году число читательских запросов на газеты на иврите и идише в публичной библиотеке Тель-Авива было примерно одинаковым). Отчасти это связано с прибытием иммигрантов четвертой алии (1924–1928 годы) (так называемая «алия Грабского» из Польши), которые широко пользовались идишем и зачастую были далеки от сионизма (не случайно некоторые современники и исследователи обвиняли их в привнесении в палестинскую действительность галутных ценностей).

Тогда же, в 1927 году, советом директоров Еврейского университета в Иерусалиме был одобрен план создания в университете кафедры идиша. Но в то время

реализовать этот проект оказалось невозможным. Против открытия кафедры выступили влиятельные сионисты (в том числе Менахем Усышкин), а также радикальная организация Мегиней а-Сафа а-Иврит («Бригада защитников языка иврит»), состоявшая в основном из учащихся гимназии «Герцлия», организовавших травлю Хаима Житловского во время его визита в Палестину еще в 1914 году. «Бригада», основанная в 1923 году, активно действовала до 1936 года, особенно активно в Тель-Авиве и Иерусалиме. В общественном мнении она связывалась с правыми сионистами-ревизионистами. Ее деятельность была направлена главным образом именно против использования идиша (показательно, что английский язык не вызывал у членов «бригады» какой-либо негативной реакции). В связи с предполагаемым открытием кафедры были выпущены плакаты в траурных рамках: «Кафедра жаргона – уничтожение Ивритского университета» и «Кафедра жаргона – идол в Ивритском Храме» (Еврейский университет во многих тогдашних публикациях и выступлениях сравнивался с Храмом). Как видим, юные светские ревнителю иврита писали об идише как о целом ба-хейхал – языческом идоле в Храме, – то есть использовали раввинистические источники, чтобы сравнить намерение основать кафедру идиша с осквернением Храма греко-сирийскими завоевателями и римскими императорами в I веке н. э. Идиш, язык тысячелетней культуры, демонизировался как чужой незаконный «жаргон», угрожающий единству, представляющий опасность для формирования новой ивритской нации, символом которой был университет – ее «храм».



Плакат «Бригады защитников языка иврит» гласит: «Кафедра жаргона – уничтожение Ивритского университета». 1927 год

И только в 1951 году, после уничтожения идишской культуры в результате Холокоста и политики государственного антисемитизма в Советском Союзе, а также после создания Государства Израиль, когда идиш уже не представлял более опасности для иврита, кафедра идиша наконец была открыта. Ее создание знаменовало начало легитимизации идиша в израильской культуре. Дов Садан, выступая на открытии кафедры, говорил, что идиш помог сохранить иврит. Впрочем, даже здесь идиш низводился к статусу второстепенного культурного явления, существующего на службе у иврита. Очевидной становилась иерархия двух языков, когда иврит являлся господином, а идиш – слугой.

Однако, как показала Хавер, роль идиша в жизни ишува явно выходила за пределы функции сохранения возрожденного иврита. Тот же Дов Садан, который описывал идиш как прислужника иврита, в 1970 году использовал уже совсем иные термины. Говоря о еврейском двуязычии перед идишской аудиторией в Нью-Йорке, Садан описывал уникальное видение идишских писателей ишува: «Эта особая группа имела

важное значение – она открыла новые горизонты и новую землю для литературы на идише: Землю Израиля, не как ностальгию по детству или туристическую тему, а как осязаемый каждодневный опыт развития и борьбы ишува».

Хавер не касается периода существования Государства Израиль. Но мы знаем, что идиш так и не был изгнан из коллективной памяти и не был забыт. С началом большой алии из СССР/СНГ, совпавшим с пробуждением в израильском обществе интереса к своим корням и культурному наследию диаспоры, язык европейского еврейства получил государственную поддержку. В настоящее время по всей стране действуют идишские клубы, в Тель-Авиве работает идишский театр, на идише пишет целый ряд израильских авторов (большинство из них выходцы из Советского Союза), в Еврейском университете в Иерусалиме и в Университете Бар-Илан ведется изучение идиша и художественной литературы на этом языке. В некоторых школах Израиля идиш включен в учебную программу.

[1] Yael Chaver. What must be forgotten. The survival of Yiddish in Zionist Palestine. Syracuse University Press, 2008.

[2] См.: History & Memory. Studies in Representation of the Past. Special Issue. Israeli Historiography Revisited. Vol. 7. № 1. Spring/Summer 1995. Об одной из знаковых фигур этой школы см.: Эпштейн А. Барух Киммерлинг и его интеллектуальные искания // Израиль глазами «русских». М.: Наталис, 2008.

[3] Эрец Й. (ed.) Сефер а-Алия а-Шлишит (Книга третьей алии). Тель-Авив: Ам Овед, 1964; Эттингер Ш. Тодот Ам Исраэль (История еврейского народа). Т. 3. Тель-Авив: Двир, 1969; Карми Ш. Ам Эхад ве Сафа Ахат: Техият а-Сафа а-Иврит бе Рейя Бейн-техумит (Один народ и один язык. Возрождение языка иврит в междисциплинарной перспективе). Тель-Авив, 1997; и др.

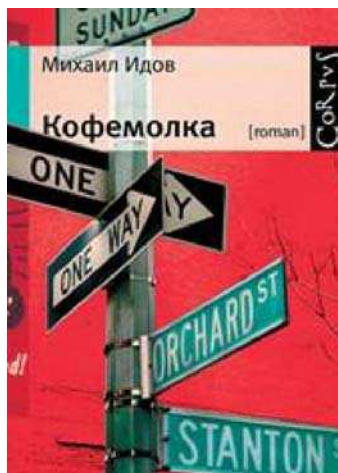
[4] Житловский Х. Черновицер Шпрах-конференц ун Паризер Культур-конгрес. Нью-Йорк, 1953. С. 403.

[5] Избирательная реконструкция сионизмом прошлого требовала признания иврита в качестве единственного языка будущей новой общины. Но иврит, как замечает Хавер, не был единственным языком, на котором говорили жители Иудеи до изгнания. Библия дает один из самых ранних примеров билингвизма (иврит плюс арамейский). Таким образом, выбор сионизмом иврита как языка еврейского будущего в немалой мере опирался на воображаемое прошлое.

**МИХАИЛ ИДОВ:
«Мой эмигрантский опыт не вполне типичный»**

Аייזע אײזען איז אַן איינציגער אַרײַנזאָרער

Михаил Идов – успешный американский журналист, сотрудник «New York Magazine». Роман «Кофемолка» (в оригинале «Ground up») он написал по-английски, а затем сам перевел на русский. Роман рассказывает о молодой нью-йоркской паре, представляющей своего рода артистическую богему. Марк – журналист, пишущий книжные рецензии. Нина – юрист и актуальный художник. Оба из благополучных семей. Она происходит из малайских китайцев. Он – из еврейской семьи, приехавшей из России. В один прекрасный момент молодые люди (почти, но именно почти в духе героев романа «Что делать?») решают заняться настоящим делом и открывают маленькое кафе. Точнее, венскую кофейню с настоящим духом «старой Европы». Кофейня, разумеется, рассчитана в первую очередь на людей их же круга. В этом начинании им оказывают поддержку самые разные люди. В частности, сдает помещение и дает массу бесплатных советов выходец из Израиля Ави Сосна, сделавший деньги на продаже спортивных костюмов для негритянской молодежи Нью-Йорка. Но предприятие, что очевидно с первых же страниц, обречено на провал, герои разоряются. Впрочем, роман ценен не сюжетом или не только им. Во-первых, любопытен сам случай автоперевода с английского на русский, а во-вторых, не менее замечателен нью-йоркский мир, выведенный в этой легкой, ироничной книге, детали, реалии, шутки, остроты, песенки и стишки.



– Насколько автобиографичен ваш роман?

– Не более, чем среднестатистический первый роман. Я действительно в какой-то момент был совладельцем маленького кафе. Но на этом, мне кажется, вся автобиографичность и заканчивается. То есть некоторые аспекты этого занятия мне знакомы, ну, так же, как Джону Ле Карре знакомы кулуары британской разведки. Это придает какую-то достоверность происходящему, но ни в коем случае не обуславливает сюжет. Я долго думал, в какой момент роман становится автобиографией, и вывел такую формулу: ты можешь изображать в романе свои жизненные обстоятельства, но не свои действия в этих обстоятельствах.

– **Ну а характеры персонажей, характер главного героя – эмигранта Марка?**

– Он же не эмигрант, он сын эмигрантов. Марк вообще человек с завышенным самомнением, в том числе и по поводу своего владения русским языком. (Впрочем, мое самомнение по этому поводу тоже завышено.) К тому же мой опыт – не вполне типичный эмигрантский опыт. Есть люди, которые с гораздо большим успехом разрабатывают эту тему.

Марк – это, конечно, все мои худшие черты и свойства характера. Кстати говоря, не все это замечают, но и в жене Марка, Нине, много моих собственных черт. И потом, всем известно, что в первый роман, как правило, входит все наработанное, нажитое, по крайней мере, лет за десять: остроты, записные книжки. И если приглядеться, все лучшие шутки отпускает Нина. Мне важно было, чтобы внимательный читатель заметил: Нина, хотя и не выпячивает этого, на самом деле поумнее Марка.

А насчет моей ассимиляции и прочего – в романе этого немного. Более того, я могу сказать, что в первом варианте романа Марк не был русским. Я сдал рукопись, и единственная серьезная просьба моего редактора была сделать главного героя русским. Потому что Марк изначально в романе был славистом, в его шутках, замечаниях это отражалось, и редактор решила, что это будет выглядеть более органично, если он окажется русским. Я, кстати, жалею, что я это сделал, поскольку это позволяет смотреть на роман как на автобиографию. Да, в его родителях есть какие-то черты моих родителей, но нужно учитывать, что разница между романом, когда Марк не был русским, и вариантом, когда он русским стал, – ровно десять страниц. Иными словами – это не так важно. А важно то, что Марк и Нина – дети успешных эмигрантов. Это значимо для структуры, поскольку в финале они оказываются без копейки денег на нижнем Ист-Сайде. То есть они проходят путь «американской мечты» в обратном направлении, возвращаются к тому, с чего начинали их дедушки и прадедушки. А к каким национальностям они принадлежат – имеет очень небольшое значение.

– **Да, это видно, поскольку мир романа вообще подчеркнуто мультикультурный. А как складывалась судьба этой книги?**

– В Америке, как правило, все определяют отношения писателя и его агента. Я отдал рукопись своему агенту, и она буквально за две недели продала ее в «Farrar, Straus and Giroux». Это одно из крупнейших издательств. Например, в 2007 году из пяти финалистов Национальной книжной премии трое были авторами этого издательства. Так что я оказался в хорошей компании, куда, кстати, входит Бродский, что забавно, поскольку у меня в романе есть цитата из Бродского и не нужно было «очищать» права.

– **Как складывалась ваша судьба в Нью-Йорке?**

– Я окончил киношколу и хотел стать кинокритиком. Писал рецензии на фильмы в университетскую газетку, параллельно сочинял пьесы, и их даже ставили в Мичигане. А пьесы я писал, потому как считал, что моего английского не хватает на прозу (его действительно не хватало). И драматургия мне показалась остроумным выходом из положения. Потому что все, что ты делаешь в пьесе, – это имитируешь чужую речь.

Я приехал в Нью-Йорк, пытался устроиться куда-то со своими пьесами, а плюс к тому отдал пачку своих рецензий в несколько изданий. И так я попал в еженедельник «Village Voice» (последний оплот хиппи 60-х годов) в качестве стажера. Стажировался

там год. Затем три месяца работал ресторанным критиком в журнале «Time Out» – меня выгнали за неподчинение редактору. После чего я совершил великую ошибку и начал работать на НТВ (проработал три года). Кроме того, я писал музыкальные рецензии в такой портал «Pitchfork Media», в «Slate». И после публикации двух статей в «Slate» меня пригласили в «New York Magazine», где я и работаю до сих пор. Во всей этой цепочке нет ни одного личного знакомства. Только письма редакторам.

– **Такое впечатление, что ваш роман во многом вырос из вашего журналистского опыта...**

– Это только отчасти так. Правда, когда роман был уже написан, отдельные фразы, мысли, шутки из него я использовал в своих статьях. Но с другой стороны, я, например, ничего не знал про кофе. Пришлось предпринять целое исследование и внимательно изучить эту тему. Или такой персонаж, как Ави Сосна, своего рода воплощение духа капитализма. Его прототипом – в некоторых чертах – послужил Jacob the Jeweler. Его на самом деле зовут Яков Арабов. Это бухарский еврей, который приехал в 80-х годах и стал самым знаменитым ювелиром в Нью-Йорке. До него дошло, что, скажем, на золотые часы можно насовать на сто пятьдесят тысяч бриллиантов, сделать их размером с чайное блюдечко и продавать рэперам. То есть он разбогател на том, что стал ориентироваться на вкусы обалдевшей от легких денег нуворишской клиентуры. Он культовый персонаж в рэпе, то есть ему посвящены песни и так далее.

– **Как складывалась судьба ваших родителей?**

– Они живут под Детройтом. Отец занимается тем же, чем занимался в Латвии, – он инженер. В принципе, когда мы приехали в США в 1992 году, мой отец сделал совершенно правильный выбор. Мы жили в Кливленде, штат Огайо, и был страшный соблазн сразу бросаться что-то зарабатывать. И я видел множество людей серьезных профессий, с образованием, которые начинали развозить пиццу, работали таксистами. И через пять лет у них было все то же самое. Мой отец полгода не делал ничего, только очень интенсивно учил английский, а следующие полгода работал бесплатно в одной лаборатории – просто для того, чтобы в резюме у него значился какой-то американский опыт. И все это время семья практически голодала. Мы сидели на государственном пособии, расплачивались талонами и так далее. И по сравнению с другими эмигрантскими семьями все это смотрелось не очень. После чего отец разослал резюме (в нем не было указано, работал он бесплатно или нет) и по истечении года уже работал по своей специальности – прикладная физика, шумы, вибрации, только в Советском Союзе он занимался железными дорогами, а здесь автомобилями.

– **Насколько Нью-Йорк – это Америка?**

– Он стал больше Америкой в связи с общим полевением. В романе есть момент, когда один персонаж спрашивает главных героев: вы американцы? – а Нина отрезает: мы нью-йоркцы. Это очень характерный момент, потому что действие происходит в 2006 году, – в эру Буша это было важное разграничение. Нью-Йорк проголосовал за Керри 75 против 25, а за Обаму – 89 к 11. Разумеется, в период имперского бряцания оружием было ощущение, что нас никто не слышит и что Нью-Йорк существует совершенно отдельно. Сейчас это ощущение прошло. Хотя да, конечно, Нью-Йорк – это такой шлюз между Европой и Америкой.



– Роман можно рассматривать как своего рода «нью-йоркское перемалывание» мультикультурного опыта. Насколько это свойственно Нью-Йорку?

– Я не задавался этой целью. Просто когда начинаешь описывать район, где живут главные герои, то неминуемо получается такое разноцветное полотно. Но я не собирался выпячивать этот аспект. Нью-Йорк как-то естественным образом таким получился. Я не думал: давай-ка я сделаю другом главного героя итальянца, жену его азиаткой. На самом деле, гламурная азиатская девушка и еврейский гуманитарий – это такое нью-йоркское клише. Эти два типажа почему-то сразу тянутся друг к другу. Эта взаимная фетишизация происходит, и она очень забавна. Но в нью-йоркском контексте это сразу узнаваемая парочка. Тот же Гарри Штейнгарт, например, – у него тоже долгое время была азиатская девушка. То есть я руководствовался какими-то уже существующими спайками, которые со стороны могут смотреться искусственными.

– Какую нишу в современной литературе занимает ваш роман?

– Мне кажется, он слишком интеллектуален для легкого чтения и слишком легковесен для интеллектуального романа. То есть нечто среднее. Что меня вполне устраивает. Ранний Мартин Эмис, Ивлин Во или Вудхаус – вот ориентиры. Мне нравятся писатели, которые умеют развлекать, не оскорбляя интеллектуальных способностей читателя. Я не встречал упреков в запутанности или сложности стиля. Умничает больше Марк, но не я.

Вообще же, можно сказать, что сегодня в Америке не существует феномена интеллектуального бестселлера в той степени, в какой это было 20–30 лет назад. Телевидение полностью игнорирует литературу, писателей перестали приглашать на телепрограммы. Но читают люди не меньше.

РОМАН «ПОГРЕБЕННОЕ СЕРДЦЕ» И ЕВРЕЙСКАЯ ФЭНТЕЗИ

Áëáí à Ðèì ïí

Существует ли еврейская фэнтези? Ну, конечно, существуют евреи, в том числе израильтяне, которые пишут фэнтези на разных языках. Среди них достойное место занимают русскоязычные авторы: Песах Амнуэль («Люди Кода», «Тривселенная», «Каббалист»), Даниэль Клугер и Александр Рыбалка («Тысяча лет в долг»). Рыбалка, кстати, написал и «Путеводитель по миру каббалы» – интересный обзор материала для будущих сочинителей еврейских фантазийных сюжетов (недавно он присовокупил к нему нечто вроде руководства по практической магии – зря). С другой стороны, существуют авторы, довольно бездарно описывающие на весьма среднем иврите фантастические приключения в каком-то отдаленном будущем, в космосе или в Америке (Эйтан Исраэли, «Связь амазонок»; Михаэль Омер, «География края Вселенной»; Ранит Хамцани, «Драконы на чердаке»).



Но вот ивритской фэнтези на израильском материале довольно мало. «Не удивительно ли, что, имея богатейшую литературную традицию, имея колоссальный по объему фольклорный материал – частью собранный в мидрашах, частью содержащийся в хасидской литературе и тому подобное, – еврейские писатели-фантасты обращаются за образцом для подражания к англоязычной литературе?» – спрашивает Клугер. Действительно, мало разве у нас было интересных исторических личностей? Прямо готовые романы! Где же наши израильские Толкиены и Желязны?

Могу подарить любому желающему замечательные эпизоды из XVIII–XIX веков. Приключения поэта и драматурга р. Моше-Хаима Луццато, которому в юности ангел-вестник диктовал трактаты об Избавлении (по настоящему совету падуанских раввинов, опасавшихся новой вспышки саббатанской ереси, Луццато перестал встречаться с ангелом, поместил свои записи в архив, куда по сию пору нет доступа

исследователям, и уехал из Падуи в Амстердам, а оттуда в Акко, где и умер совсем молодым)... Живописное противостояние хасидов и митнагедов на фоне вздымающегося и опадающего Просвещения и зарождающегося сионизма... Голландский марран, каббалист и апостат Геррера вдохновляет Гегеля на создание «Феноменологии духа» и новой историософской концепции единства и борьбы противоположностей... Рационалист Ахад а-Ам в конце XIX века организует мистический орден, цель которого – поощрение сельского хозяйства в Палестине...

А через каждые четыре страницы сюжет будет перемещаться с континента на континент, из Европы куда-нибудь в Цфат XVII века, куда только что прибыл из Египта Ари и привез с собой неогностические идеи, озаряющие новым светом книгу «Зоар». По узким и крутым улочкам вслед за ним толпой бегут ученики и ищут... что же они ищут? Код! Код, конечно, что они еще могут искать? Код для чего? Ну, ясно, для нового толкования Писания – что же еще могут искать евреи? В крайнем случае, код для нового толкования какого-нибудь старого тайного толкования Писания. Вот это и будет единая ниточка, на которую нанижется весь интеллектуальный детектив.

Ах, какой материал! Эко с Павичем отдыхают! Дэн Браун даже близко не стоял! Под этим соусом запросто можно скормить читателю целые страницы из исторических справочников, учебников и путеводителей, а самое главное – из Писания. Хоть пару кусочков.

Да, но только вот... что герои найдут в конце концов? Клад? Ключ от квартиры, где деньги лежат? Тайный меридиан с затонувшими изумрудами, как у Переса-Реверте? Живую бабушку, как в «Коде да Винчи»? Как-то все это мелко... Как-то все это будет блекло выглядеть на фоне аутентичных хасидских комментариев и трагической мистерии мироздания, как ее представлял себе Ари. Стоит ли размениваться на такие пустяки? Фэнтези – это же современный вариант мистерии. Ее тема – полное и окончательное спасение мироздания и уничтожение персонифицированного источника вселенского зла. Борьба сынов света с сынами тьмы в семи томах, как в эпопее про Гарри Поттера. Да хоть в двадцати семи – главное, чтобы в конце маячил эсхатологический апофеоз. Кольцо Всевластья по меньшей мере. Иначе не стоило вставать с дивана.

Однако в рамках еврейской истории никакой такой эсхатологии быть не может, поскольку наш Машиах еще не пришел. Предлагать же евреям Гарри Поттера в качестве Спасителя (или хотя бы прообраза Спасителя) было бы все-таки затруднительно. Кроме того, в современной еврейской картине мира отсутствует такой важный персонаж, как деятельный источник абсолютного зла. Не просто Обвинитель или даже Соблазнитель, но Антихрист. Кто у нас будет Волан-де-Морт – Бен-Ладен, что ли? А кем тогда быть Ахмадинежаду?

Мифологические и теологические основы, на которых строится европейская фэнтези, евреям не слишком подходят. Поэтому, хотя материалов для настоящей еврейской фэнтези полным-полно, объединить их в единый сюжет очень трудно. Тем более когда у фэнтези есть такой мощный конкурент, как политика. Израильяне всецело погружены в перипетии ближневосточной политики именно потому, что это самый захватывающий триллер, какой только может быть. Он захватывает в буквальном смысле слова, потому что мы в нем живем и потому, что он вышит по канве древних текстов, которые дети каждый день учат в школе, а взрослые хотя бы листают по субботам. Возможно, израильская жизнь настолько тесно переплетена с фантастикой и гротеском, что для фэнтези остается мало свободного пространства...

В ту субботу, когда я начала обдумывать эту статью, читали недельную главу «Лех-Леха», в которой рассказывается о важнейшем событии еврейской истории – акеда, жертвоприношении Авраама. Вне всякой видимой связи с жертвоприношением в этой главе упоминалась война четырех царей севера под предводительством Амрафела, владыки страны Шинар, и Тидаля, царя многих народов, против пяти царей юга, живших в районе нынешнего Мертвого моря. Северная коалиция победила и разграбила города Сдом и Амора. Из комментариев Раши явствует, что мидраши отождествляли Амрафела со строителем Вавилонской башни Нимродом, который преследовал Авраама за его монотеистические идеи и бросал его в огненную печь. (На исходе субботы я зашла в Интернет и узнала, что на днях кто-то проверил гематрию полного имени Барака Хусейна Обамы и она совпала с гематрией имени Тидаля, царя многих народов, которое тут же было отождествлено юзерами с именем Амрафел.) Впрочем, поверженные южные цари тоже были злодеями и царствовали над городами, погрязшими в пороках.

Авраама (тогда еще Аврама) все это не касалось, он был не царь города, а глава небольшого кочевого пастушеского племени, и в то время ему было не до политики: эта небольшая ближневосточная война случилась как раз в промежутке между важнейшими пророческими видениями, в которых Всевышний заключил вечные заветы с ним и его потомками. Но дело в том, что северяне увели в плен племянника Аврама Лота – то ли в числе других пленных, то ли потому, что, как утверждает мидраш, они приняли Лота за Авраама, на которого тот был похож, а Аврам-то и был целью похода Нимрода-Амрафела. Так или иначе, Аврам вместе со своими родственниками и учениками, количеством 318, погнался за ними, разгромил армию северной коалиции и освободил Лота. Впрочем, некоторые комментаторы утверждают, что сражались с армией Амрафела всего двое – Аврам и его верный слуга Элиэзер (гематрия имени которого – 318), и победили они в битве благодаря магии Б-жественных имен, открывшихся Авраму в первом пророчестве.

Вот этот краткий и довольно загадочный эпизод из Книги Бытия и стал мифологическим фоном для романа Шимона Адафа «Погребенное сердце»[\[1\]](#).

В начале романа перед нами – самый обычный израильский мальчик, который живет в самом обычном израильском городке, скучном южном городке посреди пустыни, под непонятным названием Мево-Ям («Врата Моря»), очень похожем на Сдерот, в котором вырос сам Адаф. Завязка сюжета приходится на сакральное время: начало учебного года. В классе, где учится застенчивый, флегматичный, немного заторможенный и очень дисциплинированный 11-летний Эмир, появляется новенькая – энергичная, любопытная и болтливая Талья. На первый взгляд самое обычное распределение ролей... Казалось бы, единственные проблемы, которые волнуют этих детей, – засилье вредных одноклассниц Сиван и Шани и трудные контрольные. Казалось бы, главное, что волнует их родителей, – найдет ли работу Тальин отец...

Но все это только кажется. На самом деле в жизни Эмира с каждым днем разверзаются новые бездны и открываются новые тайны, которые он может доверить только своей бесстрашной подруге. Под кроватью у него находится коробочка, в которой хранится перо залетевшего к нему в комнату одноглазого ворона, хребет от рыбы, которую обглодала одноглазая кошка, и зеркальце, в которое смотрелась таинственная дама в заколдованном саду, куда привела его собака Эвен-Шошан (отец мальчика, влюбленный в иврит, назвал пса по имени составителя известнейшего ивритского Толкового словаря). Все эти сведения очень пригодятся Талье, когда Эмир вдруг исчезнет и ей придется пуститься на поиски.

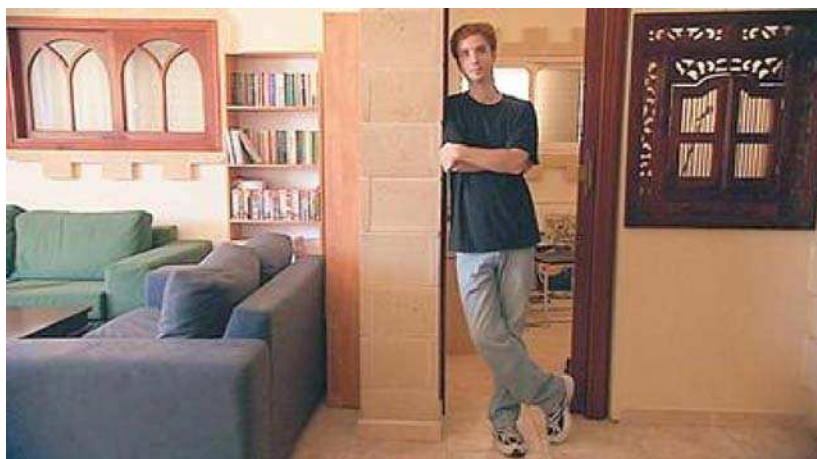
Наконец логические рассуждения и подсказки Интернета приведут ее в поместье Шинар, владения ужасного Амрафела. Оказывается, Амрафел вынудил Эмира отправиться вместе с ним в его замок путем дьявольского шантажа: сначала навел на родителей Эмира непонятную болезнь, потом, в качестве выкупа за их здоровье, потребовал от мальчика вырезать себе сердце волшебным ножом и похоронить под старым эвкалиптом в саду, – а еще потом, когда оказалось, что мальчик-без-сердца ненавидит тех, в чьей любви нуждается, и сам от этого немисливо страдает, лукаво предложил ему отрастить новое сердце в волшебном поместье Шинар.

Путешествия на огненных конях из Лунной сферы (в которой, оказывается, обитаем мы все) в Шинар и другие библейские места, через разнообразные и очень живописные круги мироздания, описаны весьма живо. В конце концов Талье удастся найти Эмира, и они вместе, пройдя через тяжкие испытания, возвращают сердце и родительский дом.

Похоже на сказку Андерсена, да? Но это не сказка, а фэнтези, и поэтому, чтобы вернуть себе сердце, Эмир должен заодно спасти всю Вселенную от Амрафела, задумавшего погубить Лунную сферу, дабы насладиться страданиями и кошмарными снами ее обитателей. Оказывается, в свое время праотец Эмира и Тальи Аврам магическими заклятиями лишил Амрафела его черной силы, но тот постепенно наращивал ее вновь, тысячи лет со страхом ожидая рождения Избранника, которому предназначено Великое сражение. Этот избранник – Эмир.

В подсознании Эмира хранится знание магического «среднего языка», которому когда-то ангелы научили первых представителей человеческого рода. Слова этого языка были живыми, и, произнося их, можно было создавать живых существ. Люди, как и следовало ожидать, употребили свое знание во зло, ангелы заставили их забыть колдовской язык, но он сохранился в человеческих снах. По этим снам путешествует Эмир, разыскивая волшебные слова и собирая таким образом армии призраков, которые помогут ему в решающей схватке с Амрафелом. А Талья, как и положено отважной девице в рыцарском эпосе, в последний момент приносит ему чудесный меч, который хранил для нее слуга Аврама на краю мира...

Покрытые пылью, исцарапанные и обожженные, но живые и здоровые, Эмир и Талья возвращаются домой, и – о чудо из чудес! – любящие родители не встречают деток упреками за то, что те не ночевали и не позвонили. Дело в том, что в ночь Великого сражения все жители Меве-Яма в коллективном сновидении наблюдают за ним с трибун некоего исполинского стадиона. Проснувшись, эти простые люди не делятся друг с другом впечатлениями от жуткого сна, но молча отдают должное своим спасителям – Эмиру и Талье.



Шимон Адаф

Кроме впечатляющих описаний последней битвы, в которой чудовища сражаются с обнаженными мужчинами верхом на медведях и женщинами, гарцующими на львицах, в романе есть очень поэтические фантастические пейзажи. Например: «Сад! Внутренний сад! Сад в самом сердце поместья Шинар! Целую вечность Эмир мечтал пробраться в этот сад. У него перехватило дыхание, он задыхался от счастья и неясного томления. Перед ним распростерся сад. Растения захлестывали его, как морские волны, воздух был сладок до боли. Животные и птицы танцевали и пели... Разумные деревья, похожие на мужчин и женщин, принимали его взгляд и мысль. Колдовское очарование сада затопило его, как солнечный свет. Ему хотелось раствориться в этом сиянии. Не слыша, как Талья тормозит его, пытаясь вывести из забытья, Эмир упал на колени и прошептал: “Я пришел к источнику жизни...” Слова, слова на забытом языке, он почти видел, как они звучали и пели... или, наоборот, он слышал голос сада? Эмир знал, как направить эти слова и слить их в единое существо, ужасающее и прекрасное... но ему еще нужно было учиться! У всего был смысл и назначение, смыслы прятались в листве, цвели в вечном летнем сиянии сада и ждали его. Воспоминание всплывало и устремлялось к нему сквозь детство, сквозь все его одиннадцать лет, мощное и пугающее воспоминание...» и т. д.

Описанное, как можно догадаться, и было преображенным и наконец найденным сердцем Эмира. Но найти сердце оказалось недостаточно – нужно было еще отвоевать его в бою с чудовищным Амрафелом. Это, очевидно, должно означать инициацию, а символ сада-сердца, вероятно, восходит к символике рыцарского романа и имеет своим источником западноевропейский фольклор. Как же это все сочетается с Книгой Бытия?

Шимон Адаф родился в Сдероте, учился в религиозной школе и в ешиве движения восточных евреев ШАС. Затем круто поменял идеологию и образ жизни, уехал в Тель-Авив, создал рок-группу «Ацула», в которой был автором текстов и музыки, гитаристом и певцом, выпустил диск, два поэтических сборника и книгу рассказов, стал преуспевающим редактором тель-авивского издательства и, наконец, автором бестселлера «Погребенное сердце». В романе он использовал некоторые сведения из еврейской средневековой космологии и теории языка – в основном из книги великого философа и поэта Йеуды Галеви «Сефер а-кузари», из тех ее глав, где обильно цитируется «Сефер Йецира» («Книга Творения»), в которой, в свою очередь, комментируется первая глава Книги Бытия. Кстати, средневековая традиция приписывает авторство «Сефер Йецира» Аврааму.

Любопытно, что в «Погребенном сердце» праотец еврейского народа именуется исключительно Аврам. Действительно, так звали победителя Амрафела во время войны девяти царей. Но впоследствии Всевышний дает ему имя Авраам и клянется: «И скреплю Я союз между Мной и тобой со всеми потомками после тебя – вечный союз». Логично было бы предположить, что победа юных потомков Авраама над силами зла имеет какое-то отношение к этому союзу и вообще к тому, что евреи называют «ашгаха», «провидение». Но роман Адафа написан так, будто вся еврейская мифология как раз и заканчивается на 14-й главе Книги Бытия, то есть на войне девяти царей, а Завета никакого не было. Иначе говоря, основа сюжета в этом романе – причудливая смесь еврейской и европейской мифологии без монотеизма. Ангелы в ней есть, а Всевышнего – нет.

Тут, мне кажется, самое время задаться вопросом, с которого мы начинали: а возможна ли вообще еврейская фэнтези? Можно ли вообще построить более или менее связный сюжет так, чтобы в нем были приключения, мистика, мистерия и мифология с элементами луна-парка, но сохранить при этом идею единого Б-га (то есть не превращать Авраама обратно в Аврама)? Мидрашам это удавалось, но ведь мидраши – это не роман, в них связного сюжета нет в принципе... А первый роман на иврите появился в середине XIX века – как раз на две тысячи лет позже первых греческих образцов. Может быть, это значит, что не только фэнтези, но и вообще роман – жанр не аутентичный для иудаизма?

К этому вопросу мы вернемся в одном из следующих очерков, когда будем говорить об особом израильском тренде – женской фэнтези на еврейском мифологическом материале.

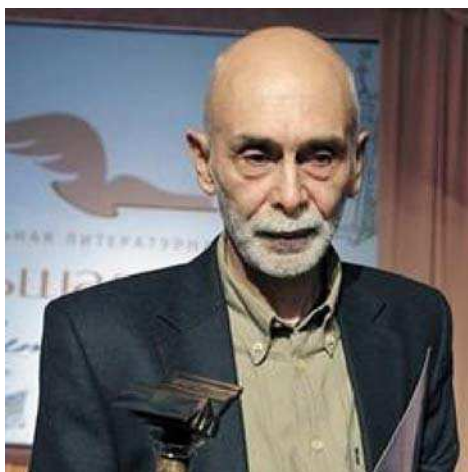
ЖУРАВЛИ И КАРЛИКИ НА КАМЕННОМ МОСТУ

יֵשׁוּעַ יֵשׁוּעַ

Закончился литературный сезон. Те, кто на раздаче, вручили тем, кто на приеме, всевозможные премии, в том числе две самые престижные – «Большую книгу» и «Русский Букер». В шорт-листы обеих премий вошли три романа: «Журавли и карлики» Леонида Юзефовича, «Вчерашняя вечность» Бориса Хазанова (см. о них: Лехаим. 2009. № 8) и «Каменный мост» Александра Терехова. Во всех трех отчетливо ощутим еврейский субстрат, но еще интереснее другое: и Хазанов, и Терехов, и Юзефович, при всех их очевидных различиях, собственно, об одном и том же – о недоверии к истории. Не в том смысле, что им не нравится тот или иной исторический период или даже история как таковая, нет. Просто они сомневаются в самом существовании истории как реальности, имеющей четкие очертания. (В советских учебниках философии этот недуг назвали бы субъективным идеализмом.) Наверное, тот факт, что подобное ощущение становится массовым, мало что говорит об истории, зато много о современности.



Е. Чижова



Л. Юзефович



А. Терехов

Какие еще выводы и наблюдения можно сделать при прочтении произведений, составивших в этом году премиальные шорт-листы? Самое простое и очевидное: за последние несколько лет русский роман стал вдвое толще. Еще в начале 2000-х казалось, что дело Набокова, чьи романы редко переваливали за 200 страниц, живет и побеждает. Помню, как года четыре назад покойный Василий Аксенов, в тот сезон председатель букеровского жюри, уверял пришедших на пресс-конференцию, что роман должен быть существенного размера, не бывает романов толщиной с палец, – и в доказательство показывал присутствующим палец. Теперь мечта Аксенова сбылась, романы объемом в 600 или даже в 800 страниц отнюдь не редкость. На фоне книги Терехова, «Победителя» Андрея Волоса или «Дома, в котором» Мириам Петросян почти 500-страничные «Журавли и карлики» кажутся едва ли не брошюрой. Симптом тоже скорее социальный, чем чисто литературный, – на переломе от эпох революционных к стабильности (сколь угодно мнимой) книги всегда толстеют.

Еще один заметный момент: едва ли не в большинстве главных романов сезона наличествует фантастический элемент, далеко не всегда, впрочем, оправданный. И «Каменный мост», и книга Петросян, на мой вкус, весьма выиграли бы, отказавшись от такового. Даже «Малая глуша» Марии Галиной, фантастическая насквозь, и то, право слово, не стала бы хуже, оставь автор некоторую часть своего мистико-фэнтезийного антуража за порогом.

Кому что досталось? «Большая книга» (и это уже становится доброй традицией) отошла по назначению. Первые две премии получили Юзефович и Терехов, третья досталась Леониду Зорину за сборник повестей «Скверный глобус». Напомню, что жюри «Большой книги» составлено по непривычному для отечественного премиального процесса принципу: критики и издатели пополам с общественными деятелями и банкирами, всего около ста человек. Вот ведь что интересно: чуть не десять лет ломали головы над вопросом, как добиться от российских премий хотя бы минимальной вменяемости. А оказалось достаточно всего лишь разбавить профессиональных читателей людьми «со стороны». Неладно что-то – и не в датском королевстве, а куда как ближе.

Но на все премии бизнесменов и прочих «посторонних», увы, не хватает. А что бывает, когда награды раздают литературные люди, наглядно демонстрирует история «Русского Букера». В этом году он вручался в восемнадцатый раз и достался питерской писательнице Елене Чижовой за роман «Время женщин». В ее предыдущем романе «Преступница» интеллигентная полукровка Маша, помнится, оказывалась ближе к концу чистым уберменшем и вервольфом и после ряда уголовно наказуемых деяний краля прах двух соседок-антисемиток, дабы закопать на еврейском кладбище: ей казалось, что это лишит ненавистных Фросю и Паньку шансов на будущее воскресение. На сей раз, к счастью, обошлось без мистики, но как непритязательный бытовой роман из жизни ленинградской коммуналки 60-х мог приглянуться судьям больше соседствовавших с ним в шорт-листе книг Юзефовича или Терехова, остается загадкой.

Со 2 по 6 декабря финалистов и лауреатов обеих премий можно было наблюдать на различных мероприятиях книжной ярмарки «Non/fiction», проходившей, как обычно, в Центральном доме художника. Леонид Юзефович обсуждал с фантастом Сергеем Лукьяненко проблему консерватизма и новаторства в литературе, Александр Терехов рассказывал краеведу Рустаму Рахматуллину об образе Большого Каменного моста в литературе, а Рахматуллин Терехову – о месте этого моста в истории.

Почетным гостем ярмарки была Чехия, подошедшая к своей роли со всей ответственностью. Традиционно сильную программу представили Скандинавские страны. Еврейская же составляющая на этот раз была несколько беднее, чем обычно, – а может, мы просто избаловались, привыкнув за последние годы к массивированному еврейскому присутствию на всех мало-мальски значимых книжных форумах. Впрочем, большой выбор литературы по иудаике (в самом широком понимании термина) был представлен на стендах издательств «Книжники», «Текст», «Гешарим/Мосты культуры», Дом еврейской книги и др.

Главным хитом ярмарки по умолчанию считался «неизвестный роман» Набокова «Лаура и ее оригинал», выпущенный «Азбукой». Увы, заглянувшие внутрь с недоумением обнаруживали, что никакого романа там нет, а есть немножко связанного текста плюс стопка карточек с обрывочными заготовками – не Набоков, а Лев Рубинштейн какой-то. Дело в том, что мэтр умер, не успев дописать роман, зато успев завещать уничтожить все наброски к нему. Но сын писателя, поразмышляв 20 лет, жечь или не жечь, в конце концов все же предал неоконченную рукопись тиснению.



На детском утреннике «Почему Ной выбрал голубя»

Вторая громкая премьера – книга Лилианны Лунгиной «Подстрочник» (издательство «Corpus»). Здесь все проще – это «расшифровка» одноименного 15-серийного документального фильма Олега Дормана, прошедшего не так давно по «России» (см. о нем: Лехаим. 2009. № 5, 10).

Наконец, главный гость ярмарки – Клод Ланцман, автор документальной ленты «Шоа» о Катастрофе европейского еврейства в годы нацизма. Фильм этапный, законченный больше 20 лет назад, породивший гигантскую литературу и во многом определивший современный европейский взгляд на Холокост. Идет он девять часов, показывали его в ЦДХ порциями – три дня по три часа. Вы можете представить себе современного москвича, который, как бы ему ни хотелось посмотреть «Шоа», два будних дня и один выходной ходил бы на просмотр фильма как на работу?..

В общем, есть в этом нечто странное, чтоб не сказать символическое: центральные события ярмарки – роман, которого нет, великий фильм, который мало кто увидит, и подстрочник замечательной документальной ленты, которую, наоборот, все интересующиеся уже посмотрели.

Впрочем, все эти двусмысленности не отменяют очевидного. Книга Набокова, оконченная, неоконченная, да пусть даже не начатая, – все равно событие. Мемуары Лунгиной должны были в конце концов выйти книгой, пусть изначально и существовали только на киноплёнке. А приезд Ланцмана важен сам по себе, вне зависимости от того, сколько людей досмотрели в дни ярмарки «Шоа» до конца, – хотя бы потому, что сомасштабных ему визитеров на нынешнюю ярмарку попросту не завезли.

Из других событий, не столь громких, но по-своему тоже значимых, отмечу презентацию энциклопедии «Холокост на территории СССР» (издательство «Росспэн»), ранее уже представленной в Украине и в Израиле. Это продолжение энциклопедии «Холокост», изданной «Росспэном» четыре года назад. В огромный том, работа над которым велась семь лет, вошли статьи обо всех населенных пунктах на территории Советского Союза, где было уничтожено не менее 100 евреев либо созданы гетто и рабочие лагеря, а также о еврейском сопротивлении нацизму и о «праведниках мира» – людях, спасавших евреев во время войны.

Грандиозный проект представило издательство «Мосты культуры», подготовившее первый том «Истории еврейского народа в России». Всего планируется

четырёхтомник – с древнейших времен до наших дней (первый том доведен до раннего Нового времени). Попытки такого рода предпринимались до революции и в раннесоветские годы (вспомним знаменитый «полуторатомник» издательства «Мир» или фундаментальный труд Юлия Гессена), но нынешнее издание, подготовленное академическим коллективом из Израиля, России, США и Европы, по уровню и объёму не имеет аналогов.

Завершилась еврейская программа ярмарки детским утренником «Почему Ной выбрал голубя», организованным проектом «Эшколь». История строительства ковчега, пересказанная Исааком Башевисом Зингером для детей, была инсценирована артистами московских театров. После спектакля малолетних зрителей ждал мастер-класс по строительству корабликов – на случай новых капризов погоды, видимо. Я все вертел головой, ожидая увидеть где-нибудь неподалеку Сергея Шойгу, но он отчего-то так и не появился.

ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2010 ТЕВЕТ 5770 – 1(213)

Погребенная легенда

Стефан Цвейг

Погребенный светильник

Перевод с немецкого Э. Венгеровой

М.: Текст; Книжники, 2010. – 157 с.



Кто из born in USSR не зачитывался в юности Стефаном Цвейгом, чей роман с Советским Союзом начался еще в 1920-х годах, когда Цвейг, антифашист по праву рождения (сын венского еврейского мануфактурщика), видел в СССР единственную силу, способную противостоять нацизму, приезжал в Москву и очень радовался русскому изданию своего собрания сочинений, предисловие к которому написал Горький. Его книги в фашистской Германии жгли, в СССР охотно издавали, и редкая барышня не рыдала над его «Амоком», «Письмом незнакомки» или «24 часами из жизни женщины». Бежав от фашизма в далекую Бразилию, «самый сентиментальный европейский беллетрист» покончил жизнь самоубийством, будучи в депрессии и оплакивая судьбу европейской культуры.

Среди его новелл и беллетризованных биографий исторических деятелей, часто и в разных комбинациях издаваемых в России, «Погребенный светильник» не числился – до сих пор эта легенда на русский не переводилась. И – при всем уважении к прекрасному переводу Эллы Венгеровой, – думается, это было не великое упущение.

Как сообщает Иосиф Флавий, храмовый семисвотельный светильник (менора) был захвачен при взятии Иерусалима Титом и отправлен вместе с другими трофеями в Рим. Касательно дальнейшей его судьбы существует несколько противоречивых свидетельств. По одной версии, семисвечник перевезли из Рима в Константинополь, и там в 1204 году крестоносцы пустили его на переплавку; по другой, Елена, мать императора Константина, отправила менору в Иерусалим, а когда Иерусалим захватили персы, ее постигла та же участь. Цвейг выбрал третью версию, вводящую новую движущую светильник силу – вандалов и новый перевалочный пункт – Карфаген, и предложил эзотерическую концовку, при которой погибает подделка, а подлинная менора погребается в Земле Израиля в никому не ведомом месте.

Полученную историю Цвейг оформляет в фирменном стиле своих новелл: в центре сюжета странствие героя, а все важные мысли раскрываются в его пространных

монологах. В результате получилась не новелла и не легенда, а некая новеллизированная легенда – жанр, возможно, полезный для детей, но для сколько-нибудь требовательного читателя явно непригодный. Дело даже не в исторических неточностях. Не в том, что «седобородому старцу» папе Льву I было на тот момент лет пятьдесят. Не в том, что менора высотой в полтора метра и весом в 30 кг не может «подвернуться под ногу» и ее нельзя «отшвырнуть». Не в том, что ни маленькой шелковой, ни какой другой кипы на голове итальянского еврея VI века не было. Дело в том, что изящная в своей лаконичности легенда здесь обрастает громоздкими историческими экскурсами и теологическими размышлениями, лишними героями, приторными портретами возвышенных старцев, их ни к чему не ведущими прозрениями и бесполезными для сюжета совпадениями, избыточными подробностями и надуманными мотивациями, которые лишают читателя свободы толкований, присутствующей в аскетичном фольклорном тексте, не доставляя взамен знакомого удовольствия от чтения психологической новеллы, ибо слишком уж чужд материал.

ÀàÀ Æääèèíííää

«Человек не собьется с пути, потому что не знает дороги...»

Сергей Костырко

На пути в Итаку

М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 272 с.



Слова, вынесенные в название этой заметки и принадлежащие московскому поэту Дмитрию Веденяпину, перекликаются с «пафосом» книги путевой прозы известного новомирского критика Сергея Костырко, вышедшей в относительно недавней серии «НЛО» «Письма русского путешественника».

Несомненной удачей автора стал выбор «точки говорения». Прекрасно отдающий себе отчет, что глубокое постижение чуждых миров, развернувшихся перед ним на краткие недели путешествий – Тунис, Польша, Испания, Египет, – невозможно по определению (ведь путешествие всегда скольжение, а не проникновение), Костырко воспринимает путешествие как «способ дотянуться до себя через чужое», поэтому каждое дорожное впечатление встраивает в тонкую рамочную конструкцию: люди, судьбы, лица, жесты, реплики, пейзажи ценны в его прозе как знаки жизни, человеческого бытия, «другие» – как повод к «самоидентификации».

Путешественник подчеркивает, что он «воспитанник Железнодорожной слободки города Уссурийска», человек советской ментальности, для которого «бытие определяет сознание», но демонстрирует внятное чувство метафизической полноты восприятия: все «случайное» воспринимается им как «данное свыше», поэтому отрицается понятие «экзотического» – все, что нам дано увидеть, «экзотическое», был бы соответствующим образом настроен модус созерцания. Проблематика «другого» как «себя» и «себя» как «другого» – ось, на которую нанизаны практически все запечатленные картинки, которые благодаря этому и приобретают в лучших главах книги экзистенциальную объемность. Вся книгу можно воспринимать как некий философский двойной постскрипtum: с одной стороны, к элементарному жанру путеводителя, а с другой – к проблематике большой русской литературы («как грустна наша Россия» – к этой максиме мы возвращаемся из любого путешествия).

Понимая, что ложными друзьями писателя-путешественника оказываются страницы прочитанных книг и кадры фильмов, формирующие в культурном сознании образ иноплеменной земли задолго до того, как выпадает реальная возможность проверить его на зубок, автор ставил перед собой задачу уйти от «готовых эмоций», не дать им заслонить собою «реальность». Отправляясь в Израиль, он полагал, что и тут «понадобятся специальные усилия, чтобы очистить то, что увижу я, от ожидаемого». Однако – вопреки ожиданиям – «никаких усилий не потребовалось».

Глава, называемая «Дорожный Иврит», состоит из двух частей: «Израиль как испытание для материалиста» и «Про “израильскую военщину”». Одной из главных метафор Израиля, где автор оказался впервые в своей жизни, стал для него образ Дороги, амбивалентно сочетающей «физическую мощь» «промышленного сооружения» с культурно-мифологическим шлейфом: Дорога проложена «не только через эту землю, но и – через нашу культурную память». Прозой эти – в общем-то, тривиальные – умозаключения делают детали («виноградники, на низеньких шпалерах, с редко торчащими резными листьями, просвечивающими на солнце алым, как уши первоклассника 1 сентября»). Израильский солдат, с автоматом на плече, набивающий в ноутбуке текст, сидя на полу в здании тель-авивского автовокзала, и еще некоторое количество подобных картинок приводят автора к мыслям о том, что армия в Израиле – «это среда», где «заводятся знакомства, обозначаются жизненные перспективы, определяется будущая профессия и деловая карьера», иначе говоря, квинтэссенция самой жизни. Композиционно такой «израильской военщине» в книге противостоит образ «челябы» – из совершенно другой главки, где совковый оборонно-военный пейзаж становится символом остановившегося времени: «остановившиеся жизни людей, ставших сырьем оборонной промышленности». И здесь уже не разлепить не только «архитектурные и пейзажные микросюжеты», но и встроенные в них – экзистенциальные.

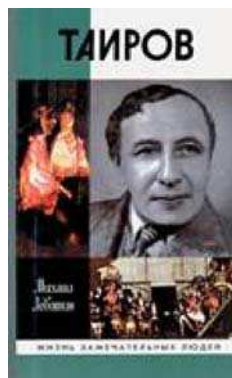
Ὀδὸς Ἀιθιοπίας

Родовитый космополит

Михаил Левитин

Таиров

М.: Молодая гвардия, 2009. – 359 с. (Серия «Жизнь замечательных людей».)



Этой книге – радуешься. И до, и после прочтения. Миссия автора и воля к ее написанию – беспримерная. Глава Камерного театра Александр Таиров, один из пяти великих режиссеров первой половины XX века, сделавших русский театр мировой знаменитостью (еще – Станиславский, Немирович, Мейерхольд, Вахтангов), наименее изученная и описанная в литературе фигура. Книг о Таирове ничтожно мало, если говорить честно – почти нет. Раз театроведы о Таирове не пишут, то пусть напишет действующий режиссер, сказал сам себе Михаил Левитин, глава московского авторского театра «Эрмитаж», а также признанный прозаик. И стыдно за театроведов, и особенно гордо за режиссерский цех, ведающий свое родство.

Книга удалась. Это беллетризованная биография в лучших традициях «ЖЗЛ» (хотя в последние годы серия изрядно пополнилась откровенной шелухой) – насыщенная фактическим и чувственным материалом, книга проходит вскользь по знаменитым спектаклям Таирова, не слишком углубляясь в художественные достоинства и детали работ режиссера-эстета, но довольно внятно описывает путь мытарств уникального художника. Таирову было нелегко, он все время терял свои театры, начиная всякий раз заново, с нуля. Его судьба может подсказать алгоритм поведения в эпоху кризиса – как жить и работать под регулярной угрозой закрытия и уничтожения своего театра. И тут автор все время сворачивает на свою сторону, проводя параллели с собственной судьбой. Это не запрещенный прием, но, к сожалению, параллели касаются не эстетики Таирова, а лишь судьбы гонимого творца. В аккуратно сотканном образе непризнанного, недоласканного мастера больше биографии сочинителя, чем его героя.

Сашенька Коренблит в описании Левитина уж слишком часто предстает перед нами бедным преследуемым несчастным евреем – и вот это уже явная неудача романа. Левитин насильственно культивирует в Таирове его еврейство, самим режиссером, кажется, почти не замечаемое. В творчестве, по крайней мере, это не отразилось совсем, совершенно: режиссер Таиров, избравший себе армянский псевдоним, мыслил себя космополитом, культурным перебежчиком, серфингующим по стилям и эпохам, мировоззрениям и символам веры. Таиров был человеком мировой культуры – одним из первых в России увлекся стилизацией восточного театра, ставил французскую оперетту и жесткий немецкий театр эпохи экспрессионизма, проникал в недра классицизма и на

территорию советского революционного искусства. Эстетическая неразборчивость, дичайшая эклетика, культурный глобализм и царство испорченного, словно перенасыщенного, пересоленного вкуса как раз и были главным свойством Таирова, за которое его и любили, и презирали в Москве первых революционных десятилетий.

Левитин, кстати говоря, очень старается показать интернациональный, «вавилонский» дух труппы: потомца фламандца Алиса Коонен, родственник бухарских эмиров Церетели, грузин Марджанов и другие – эту слившуюся воедино кровь народов, разбуженных мнимыми свободами мировой революции. Показывает автор и другую сторону свободу, о которой не слишком шумно говорили до сих пор, – плотные гомосексуальные связи в актерской среде Камерного. Также много сказано о причинах относительного благополучия театра в конце 1920-х – начале 1930-х, частых европейских гастролей: младший брат режиссера, Леонид Коренблит, был крупным работником ОГПУ, а Камерный театр стал своего рода клубом для руководящих работников молодого государства, военной и партийной элиты.

Левитин начинает книгу со свидетельств современников о театре Таирова, и среди них – жесткий выброс агрессии от Всеволода Мейерхольда. Называя последнего «великим растлителем», Левитин явно пытается с помощью биографии Таирова поломать твердо утвердившееся доминирование Мейерхольда в истории советского театра. По крайней мере, много изысканных тычков в сторону мэтра в этой книге позволят себе и Таиров, и Левитин. Погруженный в жизнь духа и эстетическую разголосицу эпохи, Александр Таиров явно теснит прямолинейного, громогласного Мейерхольда с его революционной поступью и прогрессирующей мизантропией.

Ĭ âââĚ ĐŭŭĬ ââ

Играй гривой, миг скор!

Григорий Марговский

К вам с игрой – игрой игр

М.–Владимир: Транзит Икс, 2008. – 160 с.



Григорию Марговскому повезло с именем. Зовись он иначе – и не получилось бы у сборника его стихов многозначительно-«концептуального» названия. Но – изящная анаграмма преподносит, как на блюде с голубой каемочкой: угощайтесь, гости дорогие, вот вам Гессе, вот Хейзинга, а уж если копнуть...

Марговский мотыльком пепла порхает от аллюзии к аллюзии, от высокого штиля к блатняку, от океанологии к астрономии, от «Мадонны Корреджо» к

«рубенсовским дамам», через века и утраченные надежды. Его поэзия сродни тропическому лесу по бурной густоте жизни – гроздь образов, запутанные лианы рифм, замысловатый звукописный посвист-перестук:

*Í à Í ëÿñä'Èò àèè,
Èõ ìëÿñì ìéáíÿñì ì ù
Èàì àèè ìéáíí àçì ù
Èç éàì àèÿ ìéáèè...
(«Ááí àèèÿ»)*

Или:

*Í àì áðàì ÿ àèèèòñÿ ñèçíáí èè,
Ì ìé áááí ùé Òàèéáááááá, ìíéà
Ðíéàì áíá ðàçòì á èóí ìé ñèèÿí éá
Í ðíòáèè èááò ìáéáéá...
(«Ñò ðáò ñèì áíéíá
è ñáí'áááí èé...»)*

Цитировать можно с любой строчки. К слову, тропический лес – это вам не Центральный парк, так просто на вечерний променад не выйдешь: заросли непролазные и воздух что жидкий мармелад.

Если же вслед за легкокрылым поэтом скользнуть от ботаники к литературоведению, то Марговский доводит текст до джойсовской насыщенности. Книга для истинных кастальцев, способных расшифровать игровые коды и расставить по полочкам расшалившиеся имена, знаки и прочие симулякры. Для простых смертных, пожалуй, понадобятся примечания-комментарии.

Помимо новых стихов и произведений из прежних сборников, в книгу вошла поэма «Илья Зерцалин». Здесь автор, изъясняясь державным пятистопным ямбом, сначала виртуозно поливает изысканной и не очень грязью сослуживцев по тель-авивской библиотеке и местную богему, а потом и вовсе ударяется в многокрасочное описание этакой интеллигентской оргии, где герои в промежутках между выпивкой, анашой и свободной любовью рассуждают о высоких материях. И все ради чего? Ради вопроса, сокрытого до поры в имени героя, – «Ценя ль Израиль?» И отчаянного ответа: «Ценя-а-а!!!»

В общем, играй гривой, миг скор, поэт.

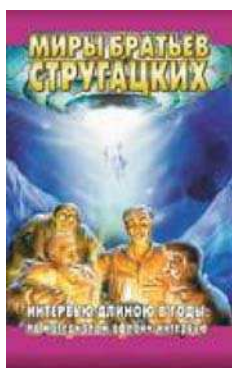
Àèèà Ñíèñíáí éí

ИЗЯ КАЦМАН, ПОТЕРЯННЫЙ И ВОЗВРАЩЕННЫЙ

Борис Стругацкий

Интервью длиной в годы: по материалам офлайн-интервью

М.: АСТ, 2009. – 512 с.



«Я – русский по самосознанию своему и своему “самоопределению”. Однако же, если кто-то вознамерится общаться со мной как с евреем, в ущерб моей чести и в поношение мне и еврейской нации вообще, я немедленно признаю себя евреем и буду носить это самоназвание с гордостью и, если угодно, с вызовом, и не потому, что так уж люблю евреев (я никакую национальность не выделяю ни в смысле любви, ни в смысле неприязни – это было бы дико и глупо), а потому, что ненавижу антисемитизм и вообще любое проявление агрессивного национализма...»

После того как на интернет-сайте www.rusf.ru были выложены – в режиме офлайн – первые ответы фантаста Бориса Стругацкого на присланные ему читательские вопросы, прошло более одиннадцати лет. Все эти годы Борис Натанович терпеливо и, по возможности, уважительно делится суждениями (как писательскими, так и чисто житейскими) по самому широкому кругу тем, «вечных» и более чем злободневных. Он высказывает свое мнение, однако никому его не навязывает. Количество ответов ныне перевалило за семь тысяч, а в числе участников интернет-форума – люди едва ли не со всей планеты: из Рязани и Мельбурна, Петербурга и Питсбурга, Лидса и Лысьвы, Саранска и Сакраменто, Торонто и Темрюка, Буэнос-Айреса и Йошкар-Олы, Канзас-сити и Комсомольска-на-Амуре. Наряду с российской наиболее представительна украинская аудитория, и, конечно же, активна израильская читательская «диаспора» (среди обратных адресов – Иерусалим, Хайфа, Реховот, Ашдод и др.).

Прекрасно зная цену собственным популярности и авторитету и не кокетничая ложной скромностью, Стругацкий вместе с тем не впадает в соблазн быть умудренным гуру, который с высоты жизненного опыта будет снисходительно одарять публику крупными накопленной истины. Писатель беседует с читателем о своем понимании истории и религии, о свободе слова и ксенофобии, о Гайдаре и Ходорковском, о кино и литературе и, конечно же, о своей биографии и своих книгах – тех, что писались вместе со старшим братом, и тех, которые родились уже после кончины Аркадия Натановича в 1991 году.

Есть в книге воспоминания о детстве (сверстники приставали к мальчику: «Скажи “кукуруза”!» – проверяли на картавость), есть рассказ о любимых книгах юности, первых литературных опытах и научной среде, благодаря которой возник замысел повести «Понедельник начинается в субботу». Однако, печально замечает автор уже в начале третьего тысячелетия, «мы очень давно перестали идеализировать интеллигенцию – с тех пор, как была проиграна, едва начавшись, битва за свободу в первой половине 60-х». Как известно, первые произведения Стругацких увидели свет еще во времена хрущевской «оттепели», а самый плодотворный их период пришелся на брежневскую эпоху. Космические приключения уступали место земным проблемам, ребяческий оптимизм сменялся скепсисом, прекрасный мир коммунистического «полудня» становился в книгах литературным антуражем, а каждое новое произведение все труднее преодолевало редакторское и цензорское сито.

В одном из ответов на вопрос о «Пикнике на обочине» писатель вспоминает, что при подготовке книжного издания авторы вынуждены были вносить более четырехсот поправок, уродуя собственную повесть (коллективный образ «лейб-гвардейцев» в «Хромой судьбе», как замечает автор, имел прямое отношение к «русским нацистам, кучковавшимся в те времена вокруг издательства “Молодая гвардия”...»). Порой из текстов выпалывались опасные – либо казавшиеся таковыми – аллюзии и намеки, но гораздо чаще претензии были скорее бредовыми, чем осмысленными. Вместо водки приходилось вписывать минералку, вместо «антисемитский» – писать «антинаучный», китайцы превращались в японцев, Максим Ростиславский из журнального варианта «Обитаемого острова» вдруг обретал арийские черты Максима Каммерера, а в первом же опубликованном фрагменте «Града Обреченного» один из самых обаятельных персонажей романа, неугомонный и проницательный Изя Кацман, внезапно становился Изяславом Шереметьевым (к счастью, полная версия вышла уже в годы перестройки, и изначальные «анкетные данные» персонажа были восстановлены). «Для авторов Иосиф Кацман – фигура знаковая, – вспоминает Борис Натанович, – если угодно – эпохальная. В некотором роде – символ целой эпохи. Прототип этого героя существует, прошел через “свои круги” и живет сейчас в Израиле». В застойные времена у «Града Обреченного» не было, понятно, ни одного шанса дойти до читателя: одна только тема трогательного братания нациста Фрица Гейгера с убежденным сталинистом Андреем Ворониным заранее отсекала все надежды на публикацию в СССР...

Среди не осуществившихся творческих замыслов, о которых пишет Борис Натанович, особенно жаль идею совместного произведения четырех братьев – двух Стругацких (самых влиятельных в СССР фантастов) и двух Вайнеров (бесспорных лидеров в жанре детектива). Трудно сказать, смогли бы два тандема превратиться в «квартет», но в любом случае эксперимент был бы уникальным.

Di ai Adae oi ai

«И спасся я один, чтобы рассказать тебе»

Щоденник львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане

(Дневник Львовского гетто. Воспоминания раввина Давида Каханэ)

Составитель Жанна Ковба

Киев: Дух і літера, 2009. – 276 с.



Цитатой из Книги Иова, вынесенной в заголовок, предваряет свой дневник раввин Давид Каханэ – один из 3% львовских евреев, уцелевших в годы Холокоста.

Охота на остальные 97% оказалась успешной... После отступления Красной Армии в конце июня 1941-го местные крестьяне стали нападать на еврейских соседей. Так погибли три брата Каханэ и его племянник. «Я не могу этого понять, – писала Давиду 86-летняя мать из местечка Гримайлов. – ...Ведь это были те же крестьяне, приходившие к нам, часто остававшиеся на ночь, дружившие с моими детьми, а теперь эти же люди забрали моих сыновей и немилосердно убили их».

В «просвещенном» Львове нравы были не гуманнее. Чего стоит описание погони за двумя еврейскими детьми, которых полицаи не настигли бы, если бы не дружная помощь горожан, всем миром – от мала до велика – помогавших преследовать малолетних «преступников»...

Первым заданием юденрата, где в религиозном отделе служил Каханэ, стал сбор контрибуции, возложенной на еврейскую общину – 20 млн рублей. Для жителей окрестных сел это означало грандиозную распродажу еврейского добра. Крестьяне тысячами приезжали в город, где за копейки одевались как лорды и увозили домой дорогую мебель. Бедные евреи отдавали столовую посуду или единственную драгоценность – обручальное кольцо. И в то же время... Некоторые женщины-христианки приходили к пунктам сбора денег, чтобы внести свою лепту, демонстрируя таким образом симпатию к евреям.

На протяжении двух лет немцы планомерно и методично, с дьявольской изобретательностью проводя все новые акции, уничтожали гетто и его обитателей. Трагична участь человека, лишённого выбора, но еще страшнее судьбы тех, кого поставили перед кровавым выбором.

Первый глава юденрата, д-р Парнас, отказавшись выполнить распоряжения гестапо, был расстрелян. Его преемник д-р Ландесберг, напротив, не выдержал испытания. Когда в марте 1942 года немцы затребовали адреса всех евреев,

поддерживаемых общиной, стало очевидно, что цель очередной акции – уничтожение нетрудоспособных. Делегация раввинов направилась к Ландесбергу. Базируясь на изречении мудрецов Талмуда: «Кто сказал тебе, что твоя кровь краснее? Не замещает одна душа другую, и нет человека, которому было бы разрешено спасти свою жизнь благодаря убийству другого», они потребовали не выдавать ни одного еврея врагу. Председатель, однако, не собирался рисковать и... прожил еще несколько месяцев.

Кафкианская реальность гетто требовала от религиозных авторитетов решения новых для общины проблем. Одна из них – фиктивные браки, ведь замужняя домохозяйка приравнивалась по статусу к своему работающему мужу и могла избежать депортации. Отдел религии был завален брачными заявлениями, и никогда нельзя было с уверенностью сказать, о настоящем браке идет речь или о фиктивном. И здесь каждый раввин принимал решение согласно своей совести...

А Львов, треть населения которого до войны составляли евреи, был уже почти юденрайн. Целые семьи кончали жизнь самоубийством, чтобы не попасть в руки немцев. За ампулу цианистого калия люди отдавали все, что у них оставалось.

В последний Судный день Львовского гетто – Йом Кипур 1942 года – молитвы звучали как вызов: «Творец, за что? За какие грехи?» На Небе решали, кому суждено жить, а кому...

Семья раввина избежала страшной участи: благодаря помощи митрополита Шептицкого жену Каханэ обеспечили украинскими документами, а трехлетнюю дочку устроили в детский дом. Сам же раввин попадает в страшный Яновский лагерь, где отказывается от побега, зная, что это будет стоить жизни многим товарищам. «Побег в таких обстоятельствах противоречит еврейской морали и еврейским законам», – пишет Каханэ, снова цитируя трактат «Сангедрин».

Бежит он только в день ликвидации лагеря. Чтобы уже через несколько часов сидеть перед Андреем Шептицким, рассказывая об уничтожении гетто и ужасах Яновского лагеря. Слезы катятся по лицу митрополита Галицкого – того самого митрополита, который всегда помогал бедным евреям перед Песахом купить мацу, прилагая к чеку записку на изысканном библейском иврите с заверениями в дружеских чувствах к еврейскому народу. Того самого митрополита, который в июле 1941-го приветствовал немецкую армию как освободительницу от произвола НКВД и депортаций. Отрезвление наступило быстро. После первых акций Шептицкий, единственный представитель церкви в Европе, обращается с письмом к Гиммлеру, протестуя против геноцида евреев, и публикует пастырское послание «Не убий».

«Если немцы найдут вас, один из монахов должен взять ответственность на себя и спасти монастырь от уничтожения, а монахов – от смерти», – сказал однажды Каханэ опекавший его брат Теодозий. И добавил, что, когда настоятель спросил: «Кто готов это сделать?» – все, как один, сделали шаг вперед.

Автору дневника судьба подарила долгую жизнь. В послевоенные годы он возглавляет совет раввинов Польши, затем становится главным раввином Польской армии в чине полковника. После репатриации в течение 15 лет генерал Каханэ – главный раввин Военно-воздушных сил Израиля.

В последние годы жизни он много размышлял над смыслом Холокоста, призывая смириться с тем, что Катастрофа останется тайной, постичь которую дано лишь

Творцу. Отведя себе при этом роль Свидетеля. Свидетеля честного, мужественного и благодарного.

ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2010 ТЕВЕТ 5770 – 1(213)
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
«KLEZMATICS»

אי עוֹדֶה אַזױען

В ноябре в Камерном зале Московского международного дома музыки дала концерт всемирно известная группа «The Klezmatics» – единственные среди музыкантов стиля клезмер обладатели премии «Грэмми». Американские музыканты приехали в Москву при поддержке посольства США, чтобы выступить на фестивале «Арт-ноябрь».



Лорин Скламберг



Лиза Гуткин

Лет двадцать назад, когда группа только начинала свое существование, для музыки, которую играют «Klezmatics», был принят термин «фьюжн». Это слово в переводе означает «сплав» и подразумевает соединение элементов джаза, рок-музыки и

народных мелодий. Идея синтеза жанров в 80-х годах буквально носилась в воздухе. Великий скрипач Иегуди Менухин музицировал в компании индийских музыкантов, трубач Майлс Дейвис играл в сопровождении электроинструментов, саксофонист Пол Уинтер аккомпанировал песням китов.

Именно в такой атмосфере всеобщего равенства музыкальных течений в богемном нью-йоркском районе Ист-Виллидж родились «Klezmatics». Случилось это в 1986 году. Индивидуальной чертой группы стало обращение к традициям клезмерской музыки – искусству еврейских музыкантов Восточной Европы. Своеобразная мелодика и ритмические фигуры клезмера определили стилевую основу музыки «Klezmatics». Однако здание, возведенное на этом фундаменте, оказалось причудливым и эклектичным.

В наши дни часто говорят о world music, и это название отлично подходит для того, чем занимаются нью-йоркские музыканты. Больше, чем на сплав, их стиль похож на калейдоскоп: из ограниченного набора инструментов всякий раз складывается новый узор. Звучание «Klezmatics» меняется от композиции к композиции, и попытка как-то формализовать, зафиксировать их стиль, скорее всего, приведет в тупик. Концерт в Москве удивил своей принципиальной фрагментарностью и незавершенностью. На первом плане поочередно оказывается то один, то другой из клезматиков. Музыканты перебрасывают друг другу инициативу, как резиновый мячик. На сцене нет строгой иерархии: ведущий вокалист группы Лорин Скламберг, к примеру, не находится постоянно в центре внимания, а занимает место в левой части сцены, порой поворачиваясь к публике спиной и утыкаясь в клавиатуру рояля. Фрэнк Лондон после виртуозного соло на трубе в лучших джазовых традициях может вернуться к синтезатору и наигрывать незамысловатый аккомпанемент в духе уличного шансона. Изначально присущее клезмерской музыке сочетание танцевального начала и виртуозности доведено музыкантами до предела. Темпераментные балканские ритмы никого не оставили равнодушными. Зал моментально принял правила игры, хлопая в такт и хором подпевая простые припевы.



Фрэнк Лондон

Зато человек, пришедший минут через сорок после начала, уже мог бы подумать, что попал на концерт музыки кантри. Этот блок программы был посвящен

песням знаменитого американского фолксингера Вуди Гатри. Скрипачка Лиза Гуткин, играющая в открытой и бесшабашной манере американских фермеров, оказалась также обладательницей очень подходящего для кантри голоса – свободного, сильного. Ее единственный сольный номер, баллада Вуди Гатри «Gonna get Through This World» («Я пройду через этот мир»), стал первой кульминацией вечера. В свое время Пит Сигер, услышав эту песню в исполнении «Klezomatics», назвал ее подлинно гениальной.

Звонящая гитара в руках Лорина Скламберга и голос Лизы Гуткин – что может быть общего у них со звучавшим только что балканским фолком? Только одно: это разные лица многоликих «Klezomatics». Плюс одна существенная деталь: если в исполнении традиционного еврейского репертуара группа выходит за рамки конкретного стиля, то в случае с песнями Вуди Гатри, наоборот, стилю кантри прививается толика медитативного нигуна – в каждой песне появляется распевный рефрен, состоящий из одного слога. Благодаря ему незамысловатое перечисление-повтор всего того, что собирается делать в этом мире герой песни, – работать, гулять, разговаривать, наконец, почистить этот мир и покинуть его – обретает магическую силу заклинания. Когда после полутора часов без антракта группа заиграла одну из жемчужин своего репертуара – песню «Шниреле Переле» («Нитка жемчуга»), показалось, что вечер на этом закончится. На сцене остались два лидера «Klezomatics», вокалист Лорин Скламберг и трубач Фрэнк Лондон. Лондон подошел к открытой крышке рояля и заиграл на трубе. Рояльные струны зазвенели далеким эхом. Высокий голос Лорина Скламберга затянул протяжный еврейский мотив. Постепенно на сцену вернулись все участники концерта и поочередно присоединились к общему гимну, слыша который просто невозможно усидеть на месте – настолько властно подчиняет себе экспрессия высказывания, облеченная в четкий мерный ритм.



Пол Уинтер

Но это было лишь окончание первого отделения. Минут через пятнадцать музыканты вернулись на сцену и сыграли еще несколько композиций, уже сугубо танцевальных. Зал, утихомирившийся было за время антракта, снова оживился. Припев популярной песни «Але Бридер» («Все братья») публика пела уже хором, равнодушных практически не осталось.

Концерт окончился как-то вдруг, многоточием вместо восклицательного знака. Ощущение от него осталось как от хорошего ужина в хорошей компании, когда встаешь из-за стола всласть поговорив, но с чувством легкого голода – хорошо бы еще, но уже пора по домам. Ведь мы скоро увидимся снова?..

ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2010 ТЕВЕТ 5770 – 1(213)

МИХОЭЛС И ВОКРУГ

Итоги IX Московского международного фестиваля искусств имени С. Михоэлса

Î àéŸ Âîê-âé

Про Соломона Михоэлса все знают, что он великий актер, председатель ЕАК и еврей. Еще – что убит по личному приказу Сталина. В сущности, у большинства на этом знания и заканчиваются. Меньшинство же может добавить, что Михоэлс был столпом и олицетворением (меньшинство, как правило, выражается пафосно) идишской культуры, ныне, увы, умерщвленной. Однако есть совсем уж малочисленная горстка людей, которые утверждают: дело Михоэлса живое, его нужно продолжать, расширять, на худой конец, реанимировать. Благодаря им в Москве уже 10-й год проходят фестивали искусств имени Соломона Михоэлса. Нынешний фестиваль, проходивший с 23 ноября по 8 декабря, был посвящен 90-летию со дня открытия и 60-летию уничтожения ГОСЕТа.



Фильм «Осколки убиенного театра» о трагической истории ГОСЕТа был показан зрителям во время VI Международных Михоэлсовских чтений

Как и в прошлые годы, организаторы фестиваля пытаются тематически и географически следовать за своим героем. Герой, как известно, родился в местечке (в прошлом – Двинск, Витебская губерния, ныне – Даугавпилс, Латвия), позже исколесил полмира, побывал в Германии и Америке, работал в театрах самых разных направлений – от оперы и балета до драмы (это помимо ГОСЕТа), был председателем Еврейского антифашистского комитета, оставил ряд теоретических работ. Оттого в программу фестиваля логично вписываются все виды еврейской музыки, от литургии до клезмерского ансамбля, опера и джаз, драматические премьеры, документальное кино, научный семинар. И так же логично, что представляют эти программы артисты и ученые из России, Белоруссии, Литвы, Германии, Америки, Польши, Эстонии, Израиля – все равно список не полный.

Открытие фестиваля состоялось в Театре на Малой Бронной, в здании, где с 1919 по 1949 год располагался ГОСЕТ. Показывали «Позднюю любовь» – постановку Евгения Арье, ученика Гончарова, главного режиссера израильского театра «Гешер». Спектакль этот не новый, москвичи его видели на одном из прошлых михоэлсовских

фестивалей, однако организаторы, взявшие за правило показывать только премьеры, формально принципа не нарушили, поскольку 23 ноября в «Поздней любви» дебютировал Даниил Спиваковский, сменивший в роли Марка Эммануила Виторгана. Ну а в ролях Гарри и Этель выступили бессменные участники проекта – Леонид Каневский и Клара Новикова. Занятная параллель: и открывшая фестиваль «Поздняя любовь» (в оригинале пьеса называется «В тени виноградника»), и показанная в конце постановка Большого театра кукол «Тойбеле и ее демон» созданы по рассказам классика литературы, нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера. То, что у зрителей появилась возможность в рамках одного просмотра сравнить две абсолютно не похожие по тематике и стилю постановки, созданные по произведениям своеобразнейшего писателя прошлого века, – дополнительная «вишенка на торте», интрига, без которой ни один фестиваль не может считать себя состоявшимся.

Наиболее широко была представлена музыкальная часть: концерт в Консерватории, на котором выступил известный тенор, кантор самой знаменитой нью-йоркской синагоги на 5-й авеню Йозеф Маловани, собрал ценителей еврейской литургической музыки, а выступление казанского ансамбля «Симха» во Дворце на Язуе порадовало любителей клезмера, шансона и режиссера Львовича. По словам последнего, его дед, клезмер, утверждал, что вся советская музыка вышла из «семь сорок». Ведущий вечера в Консерватории Артем Варгафтик от обобщений удержался, хотя мог бы: после выступления Маловани стало очевидно, что еврейскую и итальянскую музыку роднит нечто большее, чем любовь к тенорам и некоторой аффектации в исполнении.



Звезда вечера в Консерватории кантор Йозеф Маловани и его публика

Но, может быть, самым необычным музыкальным экспериментом фестиваля стал вечер джазовой импровизации. На сцене творческого центра «Дом» собрались трое очень известных музыкантов: российская пианистка и композитор Марал Якшиева за роялем, Клаус Кугель из Германии – ударные и перкуссия, литовец Петрас Вишняускас – саксофон. Этот интернациональный джаз-банд взял на себя роль коллективного тапера и заново озвучил знаменитое «Еврейское счастье» – фильм 1925 года, главную роль в котором сыграл Михоэлс. Надо напомнить, что тем, кто хочет увидеть создателей ГОСЕТа «за работой», нужно в обязательном порядке смотреть «Еврейское счастье». Поскольку ставил фильм основатель ГОСЕТа Алекс Грановский, художником-постановщиком выступил много работавший в еврейском театре Натан Альтман, роли играют артисты ГОСЕТа, ну и так далее. Кроме того, стоит отметить, что снята картина по рассказу Шолом-Алейхема, а титры к «Счастью» написал Бабель («Хотите найти радость в жизни, застрахуйтесь на случай смерти» – прелесть какая!). Единственным «пострадавшим» на фестивальном вечере стал, разумеется, автор музыки к фильму Лейб

Пульвер. Как сказала арт-директор фестиваля Ирина Горюнова: «Перед композитором Пульвером мы извиняемся, потому что музыку его сегодня не услышим». Да простит меня композитор Пульвер и другие создатели фильма: «Счастье» их невероятно затянулось. И живое, остроумное джазовое сопровождение, пожалуй, единственное, что может заставить современного зрителя досмотреть до конца череду забавных, но однообразных мытарств местечкового еврея столетней давности. Зато если подсократить фильм (как предлагала Горюнова), оставив джазовый аккомпанемент, – точно будет хит. Причем не для фестиваля, а для ТВ – канал «Культура» с руками оторвет.

Традиционно в рамках фестиваля прошли Михоэлсовские чтения, организованные Российской государственной библиотекой по искусству. В этот раз помимо научной конференции «Национальный театр в контексте многонациональной культуры» в библиотеке прошла уникальная выставка «Расстрелянная литература. Еврейские писатели в графике Лазаря Рана». Работы Рана в Москву привезла директор Музея истории и культуры евреев Белоруссии Инна Герасимова. Вот что она рассказала: «После распада Советского Союза интерес к еврейской культуре активно возобновляется. В начале 1998 года в Москве прошел I Международный фестиваль искусств им. С. Михоэlsa. Однако язык идиш, погибший вместе с миллионами евреев в огне Холокоста, так и не возродился. Сегодня редко можно встретить человека, читающего на идише, но история культуры сохраняет имена тех, кто создавал еврейскую национальную литературу.

Одним из первых это понял художник Лазарь Ран (1909–1989), живший в Белоруссии и создавший уникальный цикл литографий “Еврейские писатели”. Эта серия вобрала в себя весь спектр имен, лиц и судеб еврейской культуры на языке идиш, представителем которой он был. В цикл “Еврейские писатели” вошли портреты известных писателей и поэтов, живших и творивших в разные эпохи. Все они внесли весомый вклад в развитие еврейской культуры. Портреты (а их более двадцати) размещены на традиционных резных надгробных камнях (“мацевах”). Открывает серию рисунок надгробия, на камне которого изображен лев (сюжет традиционного еврейского народного орнамента, символ храбрости), держащий зажженную свечу над надписью “Еврейские писатели”. Затем перед зрителем предстают образы классиков еврейской литературы, раскрывших красоту родного языка: Шолом-Алейхема, Менделе Мойхер-Сфорима, Семена Ан-ского, Шауля Черняховского, Иццока-Лейбуша Переца».

8 декабря прошла московская премьера импровизационного проекта «Моно Опера». Сплав фри-джаза и академической музыки (определение исполнителей) прозвучал в исполнении эстонских музыкантов – вокалистки с уникальным диапазоном Анн-Лиис Полл и пианиста-виртуоза Анто Петта. Нетрудно представить, как рисковали организаторы фестиваля им. Михоэlsa, поставив на закрытие программу, вроде бы мало соотносящуюся с тематикой форума, к тому же очевидно непростую для восприятия. Риск, однако, обернулся настоящим триумфом: Петт и Полл оказались невероятно близки к Михоэlsу и его театру, поскольку настоящее искусство всегда выходит за национальные, конфессиональные, социальные и прочие рамки. В ГОСЕТ приходили зрители, не имеющие отношения к еврейству и не знавшие идиша. На концерты Анн-Лиис Полл и Анто Петта можно смело отправлять людей, привыкших вздрагивать от одного словосочетания «современная музыка». Про кого-то из великих пианистов говорили: «Да, мажет мимо нот, но как гениально мажет!» Так вот, это точно не про Петта. Не очень понятно как (да и неважно), этот невероятный импровизатор умудряется каждую ноту сыграть внятно, каждый звук сделать осмысленным, а каждую фразу – музыкально необходимой. Что касается Полл, она помимо действительно выдающегося певческого мастерства обладает артистическим даром, которому может позавидовать драматическая

актриса. То, что фестиваль закончился таким музыкальным событием, заставляет обсуждать его как явление живое, ищущее и развивающееся. А это не может не радовать.

В один из дней фестиваля мы побеседовали с его организаторами – художественным руководителем Культурного центра им. С. Михоэlsa Ириной Горюновой и генеральным директором Центра Михаилом Глузом.



Звезда вечера в Консерватории кантор Йозеф Маловани и его публика

Ирина Горюнова. Это самый скромный фестиваль, а были масштабнейшие. Сокращение программ связано в первую очередь с финансированием: кризис есть кризис, но мимо этих дат – основания и уничтожения ГОСЕТа – мы пройти не могли. Хотя ситуация крайне, крайне тяжелая. А раньше у нас работали и секция кино, и секция хореографии. Борис Эйфман знаменитый «Мой Иерусалим» начал ставить к нашему первому фестивалю, а десять лет спустя он показал новую редакцию, опять-таки в рамках нашего форума. На третьем фестивале в 2000 году был большой конкурс клезмерской музыки, Оскар Фельцман был председателем жюри. Был кинофестиваль. Сейчас мы стараемся сохранить концепцию, но с точки зрения масштаба и количества все гораздо скромнее.

Вторая, после многожанровости, позиция, которую мы стараемся оставлять неизменной, – это премьеры. Мы первыми показали в Москве «Позднюю любовь», сейчас привезли «Тойбеле», отметили юбилей наших лауреатов – «Симхи» – коллективу исполнилось 20 лет...

М. В. Вы упомянули кризис, но разве имя Михоэlsa не открывает любую дверь? Причем во всем мире?

Михаил Глуз. Да что вы! Тот мир, для которого имя Михоэlsa – святыня, не имеет денег, мы приглашаем их бесплатно, для нас это миссия. Много общественных организаций: узников концлагерей, ветеранов войны. А новым русским и новым евреям... Им все равно.

М. В. Но список спонсоров у вас впечатляющий: Юрий Глоцер, Яков Уринсон, Александр Либерман, Андрей Хазин...

И. Г. Это люди, поддерживающие существование Центра. Ведь наша организация, с одной стороны, некоммерческая, а с другой – не получает государственного финансирования. А ведь помимо фестиваля мы подготовили и провели

порядка 500 мероприятий: антитеррористический марафон в трех странах, встречи ветеранов из 13 стран, стараниями Михаила Семеновича (Глуза. – М. В.) был поставлен памятник расстрелянным членам Антифашистского комитета на Донском кладбище, ну и так далее.

М. Г. Еще мы выпускаем очень много книг, дисков. Издательская деятельность – наше приоритетное направление...

М. В. А как в члены попечительского совета вашего фестиваля попал Никола Саркози?

И. Г. Известный французский дирижер Миша Кац, участник наших международных проектов, передал нам письмо Саркози, в котором тот согласился войти в попечительский совет фестиваля имени Михоэлса. Это, скорее, моральная поддержка, хотя, конечно, очень важная для нас: мы не можем похвастаться тем, что в нашем попечительском совете есть президенты других стран.

М. В. В марте исполняется 120 лет со дня рождения Михоэлса. Как будете отмечать эту дату?

М. Г. Отметим обязательно, но как – пока не очень понятно. Скорее всего, проведем X фестиваль: начнем в Москве, а потом отправимся в регионы. Люди, которые каждый год приезжают из разных городов на наш фестиваль, очень просят, чтобы мы, в свою очередь, приехали к ним.

М. В. А с финансовой стороны на чью помощь рассчитываете?

М. Г. Да все те же: председатель попечительского совета МКЦ Андрей Хазин, Юрий Глоцер, Александр Либерман... Одной руки хватит, чтоб пересчитать.

М. В. Кто для вас Михоэлс в первую очередь – гениальный актер и постановщик, антифашист, еврей?

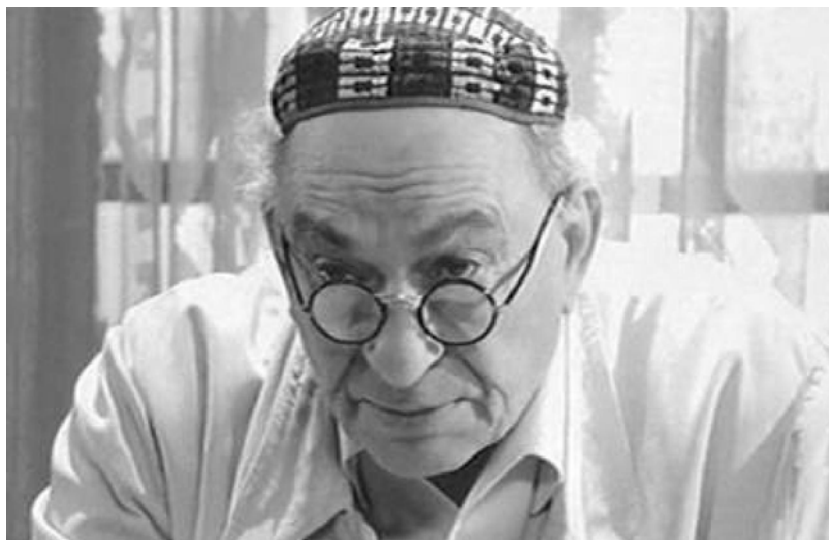
М. Г. Знаете, про Рахманинова говорили, что у него три свечи, зажженные с разных сторон. Так и Михоэлс для нас интересен всем сразу.

ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2010 ТЕВЕТ 5770 – 1(213)

ТРОЙНАЯ УХА ОТ ДЯДИ ВАЛИ

Èëüü Èàðí àí èí

Кто ж спорить будет: организовать барбекю на зеленой лужайке – развлечение весьма и весьма приятное. Но разве может сравниться это во всех смыслах приятное времяпрепровождение с настоящей рыбацкой ухой, приготовленной на костре, на живописном берегу реки? Причем ухой не простой, а тройной!



В. Козачков в фильме «Ликвидация»

Чего хочется зимой? Лета! Вы мечтаете оказаться где-нибудь на берегу моря или реки, под жарким солнышком, чтобы рядом были друзья, а на костре в котелке аппетитно булькала ароматная уха...

Когда я говорю слово «уха», я сразу вспоминаю потрясающего человека – Валентина Козачкова. Или дядю Валу, как его называла и называет вся Одесса – и когда ему было тридцать, и когда ему стало семьдесят пять... Дядя Валя – настоящий, стопроцентный одессит. Скажу больше, он – воплощение Одессы, он ее «квинтэссенция».

Помните фильм «Дежа вю» и колоритного Абрама Семеновича Шлема, «кооператора с Владивостока», и его фразу: «Скажите, товарищ интэрвэнт, а погромы будут?»?

Так вот, роль Абрама Семеновича, как и роли во многих других фильмах («Ликвидация», «Мальчишник», «Сочинение ко Дню Победы»...), играл дядя Валя, замечательный одесский режиссер-постановщик. Причем режиссер именно детских фильмов – профессия, ныне канувшая в вечность.

Все советские актеры и режиссеры – его друзья или по меньшей мере приятели. Кого только, бывало, не встретишь в его одесской «однушке»: Высоцкий, Абдулов, Говорухин, Садалский... Да разве перечислишь всех? Целая эпоха советского кино 70–80-х! А какие застолья устраивались в гостеприимной квартирке дяди Вали!

Следует сказать, что кроме всех перечисленных достоинств дядя Валя обладает еще одним: он большой гурман и крупный спец по а идише кулинарии!

«В каждом блюде должен быть аромат и настроение!» – говаривал дядя Валя со своим смачным одесским выговором.

Рыба, мясо, зелень и разнообразные овощи в его талантливых руках превращались в замечательные и невероятно вкусные блюда. Но главная их составляющая – одесско-еврейский ни с чем не сравнимый аромат, настроение, которыми пропитаны все блюда неунывающей Южной Пальмиры! А с его неподражаемыми майсами эти блюда становились вдвойне вкуснее.

Дядя Валя все делает, как говорят в Одессе, смачно: смачно пьет, кушает (вы же помните, что тут никто не ест, а все исключительно кушают), смачно рассказывает анекдоты и свои потрясающие майсы.

А как дядя Валя готовит! А какую он варит уху! И на берегу моря, в Аркадии, из свежешвыловленных головастых бычков и плоских нежных глосек, и на берегу реки – из карпа, карася, красноперки, шуки...

Вспоминаю неповторимый вкус тройной ухи на берегу реки Турунчук – есть под Одессой такая. Именно после той памятной рыбалки, на берегу той самой речки и научил меня дядя Валя варить настоящую рыбацкую тройную уху! Делюсь с вами рецептом ее приготовления.

...Самое главное для тройной ухи – разнообразие используемой в ее приготовлении рыбы. Потому что чем больше сортов рыбы вы возьмете, тем наваристее и вкуснее будет ваша уха. И рыбу можно брать самую на первый взгляд непрезентабельную – хороши и колючие ершики, и серебристые окуньки, и красавица красноперка.

Вполне подойдет сладенький жирный карасик, и мелкий пескарь, и плоский подлещик, и костлявая щучка. Можно взять и более предпочтительные для вяления, но годные также и в уху тарань и воблу. Хорош для ухи беломясый бескостный судак – его мясо вы с удовольствием будете потом выбирать из горы отваренной рыбы. И конечно же, не обойтись без короля пресноводных водоемов – карпа!

Единственная речная рыба, составляющая исключение, – это сом. Он для ухи не годится, во-первых, в силу своей некошерности, а во-вторых – смотрите «во-первых»...

Почему уха называется тройной? Да потому, что мы закладываем туда не одну и даже не две, а целых три порции рыбы! И получаем, соответственно, как сказали бы в Одессе, «тройной навар»... Но самое главное, что варится тройная уха из рыбы, выловленной собственноручно. И готовится прямо у воды, в котелке, на костре. И в хорошей компании!



В первой «закладке» мы используем самую мелкую рыбу. Ее нужно выпотрошить, но от чешуи не очищать. Можно рыбу поместить в марлю – тогда бульон будет легче освободить от присутствия чешуи. Варить 30–40 минут и осторожно слить готовый бульон.

Во второй и третьей «закладках» использовать рыбу более крупную (почищенную, выпотрошенную и тщательно промытую), причем в третью вместе с кусками крупной рыбы в котелок кладут промытые рыбки-пузыри, кусочки жира и полоски рыбьих брюшек, аккуратно вырезанные при разделке и потрошении – они дадут и жирность, и навар.

Перед второй «закладкой» (как мы сказали, крупной рыбы) в котелок доливается вода, в уху кладут луковицу, морковь, корешок петрушки или сельдерея, чеснок (все это после варки выбрасывается), добавляют соль. (Гурманы утверждают, что луковица должна вариться в шелухе, это сделает бульон прозрачным.) Варят минут 30, после чего рыбу вынимают и присаливают.

С третьей «закладкой» рыбы (варить также минут 30) в уху добавляют черный молотый перец. Но со специями в приготовлении тройной ухи важно не переборщить: чем больше рыбы и меньше специй, тем вкуснее получается рыбацкая уха. Некоторые специалисты советуют положить потом в нее листочек щавеля, кусочек лимона или соленого огурца. Но эти ингредиенты – на любителя.

При варке крупной рыбы нельзя мешать ее в котелке ложкой – рыба может развалиться. А после приготовления хорошо бы накрытый крышкой котелок укутать во что-нибудь теплое (одеяло, ватник, бушлат) и дать немного настояться. Настоящая рыбацкая уха готова.

Ну и, конечно же, – классика жанра! – в каждую тарелку нашей ухи вливаем по рюмке водки!



Впрочем, можно и зимой, в обычной городской квартире устроить себе лето. И даже если вы не можете сходить на рыбалку, но хотите вкусить хорошей ухи, есть выход: готовим приблизительно по тому же самому дяди-Валиному рецепту.

Берем в магазине мелких рыбок – ершей, окуньков, пескарей. Кладем их в марлевый мешок и варим минут 40 в бульоне, в котором уже варится луковица в шелухе, морковь, корень петрушки, сельдерея. Потом головы и плавники от больших рыб (судак, линь) варим примерно полчаса. Потом туда кладем тела больших рыб хвостами вверх.

Как только они утонули (пройдет минут 20–25), берем пучок березовых или осиновых палочек, поджигаем, даем разгореться над ухой и... гасим.

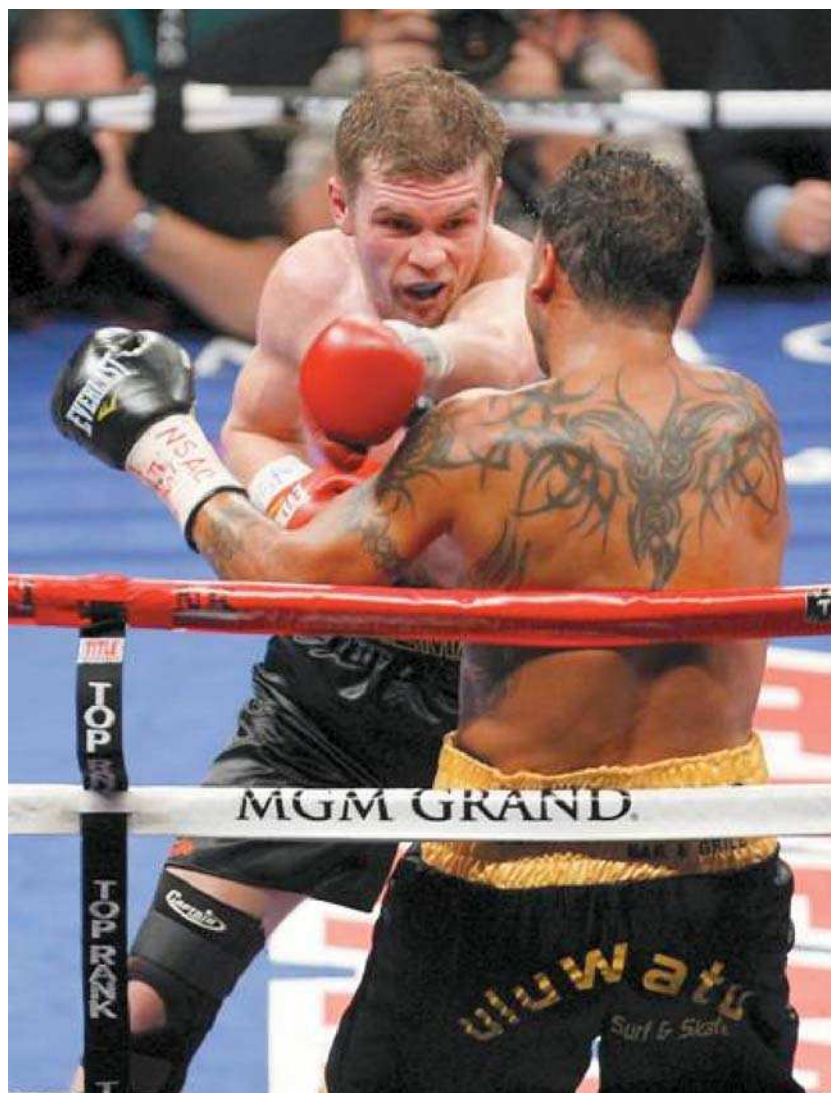
Приходят гости, кушают, дивятся: «Где уху варил? Костер на балконе разводил?..» «В Одессу слетал, к дяде Вале», – говорите вы и подмигиваете.

ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2010 ТЕВЕТ 5770 – 1(213)

«РАВВИН ПО БОКСУ» ЧИТАЕТ ПСАЛМЫ

יְאֹדֶה צְאֵרֶּהֶ

В середине ноября в Лас-Вегасе израильский боксер Юрий Форман дрался за звание чемпиона мира во втором полусреднем весе (до 70 кг) против пуэрториканца Даниеля Сантоса. В исходе боя Сантос был уверен как никогда: он левша и нокаутер, умеет в боксе практически все. На ринге Сантос действительно выглядел внушительнее и как-то массивнее своего соперника. Но далеко не всегда уверенность в себе и кажущаяся массивность положительно влияют на исход боя. Именно так и случилось на этот раз. Израильский боксер оказался лучше в чемпионском поединке. Два раза Форман сажал соперника в нокаун. После 12 раундов боя все три боковых судьи отдали предпочтение Форману: 117:109, 116:110, 117:109. В победе по очкам преимущество неоспоримое.



Бой Юрия Формана с Даниелем Сантосом.
Лас-Вегас. 2009 год

На профессиональном ринге Юрий Форман провел до титульного боя за звание чемпиона мира по версии WBA 27 поединков, все выиграл, причем 26 из них – нокаутом.

В 1991 году семья чемпиона мира по боксу в версии WBA Юрия Формана репатрировалась в Израиль из белорусского города Гомеля. Обосновались Форманы в Хайфе. Жили тяжело – отец зарабатывал на хлеб мойщиком стекол высотных зданий.

В израильской школе маленькому Юре частенько приходилось драться, порою сразу с несколькими противниками. Характер у мальчика был решительный, кулак – тяжелый, короче, оппонентам Формана доставалось от его быстрых и точных ударов. Еще в Гомеле мама отвела Юру в секцию бокса для того, чтобы он мог постоять за себя. Юрий рассказывал, что в детстве несколько раз страдал от нападений матерых взрослых хулиганов: «Их было много на улицах города».

Хайфский тренер по боксу Михаил Козловский быстро разглядел способности и непримиримый характер ребенка. Вычислил в мальчике все, что нужно будущему первоклассному боксеру: крепкие суставы, подвижность, пластичность, длинные руки...

Тренировал Юру Михаил Козловский у себя на балконе, благо место позволяло: специализированных боксерских залов тогда в Израиле не было, как, впрочем, нет их и сейчас. Боксом в стране занимаются в основном репатрианты из России и бывших республик СССР, а также сложная арабская молодежь. И только изредка среди тренирующихся попадаются коренные израильтяне. В основном израильская молодежь предпочитает из боевых видов спорта карате и дзюдо. Почему так происходит, не совсем ясно, хотя объяснения этому факту, наверное, есть, и, наверное, это связано с отсутствием традиций бокса. Хотя – тут следует оговориться – евреев, добивавшихся успехов на международном ринге, было немало. Но в основном боксерскую карьеру они делали за пределами Страны Израиля.

Юра сравнительно быстро добился успехов на боксерском поприще, осваивая неудобную для него левую руку (Форман правша), движение в бою, отходы, уклоны, блоки и прочее. Три раза он становился чемпионом Израиля по боксу. Через восемь лет после репатриации Юрий в возрасте 19 лет перебрался из Хайфы в Америку, в Бруклин. Билет на самолет юноше купил его отец.

В Америке Юрий стал заниматься в ешиве, изучать Закон, параллельно тренироваться. Все это молодой человек делал почти исступленно: нравилось и то и другое. Об Израиле Юрий Форман всегда высказывается с неизменной нежностью и любовью, это его страна, в ней живут близкие и родные люди. Юрий рассчитывает вернуться в Израиль вместе с женой. Да, большой еврейский чемпион женат и прислушивается к мнению своей жены, она тоже всегда выслушивает мужа со вниманием. Считается, что своими успехами Форман немало обязан и ей. А еще... «Перед боем я читал “Псалмы Давида”, и это, конечно же, помогло мне, сработало наверняка», – признается боец.

В Бруклине он открыл для себя Тору, стал регулярно и настойчиво ее изучать. «Мне это необходимо, такая гимнастика для ума и сердца», – говорит Форман. Тору он изучает ежедневно, так же ежедневно тренируется: «Не могу без этого». Пожалуй, стоит упомянуть, что учителем 28-летнего ешиботника является раввин Дов-Бер Пинсон.

В будущем году Форман должен получить диплом (смиха), чтобы стать раввином. Да, всякое можно было услышать про увлечения профессиональных боксеров...



**Юрий Форман – чемпион.
Лас-Вегас. 2009 год**

Вот и однофамилец Юры, легендарный Джордж Форман, «старый Джордж», основной оппонент Мухаммеда Али, в пасторы пошел и проповеди читал. Но чтобы раввином!..

«Вот получу звание раввина. Займусь любимым делом на родине, вернее, двумя делами, – говорит боксер-раввин, – я многое себе уже доказал. И не только себе, но и многим другим людям». Сейчас чемпион хочет отдохнуть подальше от суеты, восстановиться.

В его ешиве учащиеся скинулись и всем миром приобрели право на просмотр по кабельному ТВ боя Формана и Даниеля Сантоса. Вся ешива в тот вечер, на исходе субботы, молилась за успех Формана, и, по-видимому, молитвы дошли до Адресата – впервые в истории бокса израильский боксер, уроженец Гомеля 28-летний Юрий Форман, победил, став чемпионом мира по версии WBA во втором полусреднем весе.

Напомним, что несколько евреев-боксеров добивались успехов на рингах чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр, на профессиональной арене. Но обладателем почетного пояса чемпиона мира стали впервые!

ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2010 ТЕВЕТ 5770 – 1(213)

ПЕТР ВАЙЛЬ. «НАПРАСНЫЙ СМЕРТИ ЧАС...»

В одной из больниц Праги после тяжелой и продолжительной болезни на 61-м году ушел из жизни Петр Вайль – главный редактор русской службы «Радио Свобода», журналист и литератор.



Писать некролог Петру Вайлю интересно, но в известной мере бессмысленно: мало кто из современников рассказал о себе с такой тщательностью, как он сам. Однако это было не самолюбование, а самоосознание: все волновало его нежный ум – и место действия («Карта родины», «Гений места»), и время («Шестидесятые»), и единство действия («Русская кухня в изгнании»), и, само собой, русская литература от XVIII века до современности – и все служило предметом непрерывной рефлексии. Само название одной из последних его книг – «Стихи про меня» – говорит о многом. Такого еще не было: 55 стихотворений – от Анненского до Гандлевского – и все про него? Да, и в этом заключался особый талант предельно личного восприятия мира.

Однако парадокс Вайля состоял в том, что рефлексия эта нисколько не походила на саму себя. Никакого мрачного тугодумия! Напротив, удивительная легкость, помноженная на профессионализм журналиста (только друзья отмечали затаенную грусть в глубине глаз. Вайль хотел казаться раблезианцем, а был, судя по всему, скорее чеховским героем). Миллионам слушателей радио «Свобода» знаком его глуховатый говорок, такой обычный, чуждый всякой риторической оформленности. Но принадлежал он человеку с весьма необычной биографией.

Его отец был эльзасским евреем, как и все Вайли (среди дальних родственников – Симона Вайль). А вот мать происходила из молокан, оказавшихся в XIX веке в Средней Азии. Соединила его родителей война, родился он в Риге, откуда в 1977 году уехал в Нью-Йорк. «Меня не преследовали, не обижали, я просто хотел увидеть мир и читать те книжки, которые хотел читать. Разбогатеть никогда не мечтал, не верил и сейчас не верю, что могу быть богат. Но мир увидел, а книжки не только прочитал, но некоторые и написал». На Западе ему удалось сделать, говоря сегодняшним языком, хорошую литературную карьеру: работал и дружил с Бродским, Довлатовым, с 1995 года возглавлял русскую службу радио «Свобода». Однако тем, что называется «большим начальником», не стал: никто из его коллег не может сказать о нем ни одного худого слова.

Петр Вайль – один и с многолетним соавтором Александром Генисом – при всей внешней простоте сочинений создал особый жанр «разговоров по поводу», когда, отталкиваясь от города, текста, блюда, вина, рассказываешь о мире и себе. Получив после эмиграции возможность свободно путешествовать по миру, а с падением советской власти – и по бывшей своей родине, Вайль, который и в юности по полгода проводил в странствиях, смог удовлетворить страсть к путешествиям. Потомок эльзасского еврея бродил по Ашхабаду, пытаясь найти следы своих молоканских предков Семеновых и выискивая дальних родственников. Очень любил Италию. Он легко сходился с людьми и, не впадая в панибратство, сохраняя дистанцию наблюдателя, умел расположить их к себе.

Петр Вайль не был религиозен. «Жить можно по заповедям, соблюдая их по сути, а не по форме, – писал он. – Неконкретное религиозное чувство выражается у меня в безусловном и крепнущем с годами доверии к потоку жизни. Человек, обладающий организованным религиозным сознанием, – не тоньше, не глубже, не пронительнее. Вера дается интуитивно, но интуиция проявляется и другими разными способами: та, которая приводит к вере, не превосходит иную – художественную, просто человеческую, сочувственную». Однако он много думал о смерти. В книге «Стихи про меня» в главе об «Элегии» А. Введенского он размышлял, почему «смерти час» поэт назвал «напрасным»: «Может быть, как раз потому, что смерть именно окончательна, что ничего исправить нельзя, что не дано нам знать, как умрем, а без этого – нельзя понять, как мы жили»...

Ī ēōāēĭ Ī ā-Ēĭāĭ

ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2010 ТЕВЕТ 5770 – 1(213)

Авторы номера

Дмитрий Абаулин (р. 1966) музыкальный и театральный критик. Публикуется в газетах «Экран и сцена», «Культура», «Российская газета».

Николай Александров (р. 1961) филолог, литературный критик, ведущий программ на телеканале «Культура» («Разночтения», «Порядок слов») и радиостанции «Эхо Москвы» («Книжечки»).

Роман Арбитман (р. 1962) литературный критик, пишущий о проблемах массовой культуры. Автор «Истории советской фантастики» и нескольких детективных романов (под маской Льва Гурского).

Жанна Васильева арт-критик, сотрудничает в изданиях «Литературная газета», «Сегодня», «Персона» и др.

Йеуда Векслер (р. 1946) композитор, музыковед, писатель и переводчик. В его переводах издано более 40 книг.

Майя Волчек журналист, кинокритик. Публиковалась в изданиях «Цветной телевизор», «GQ», «Труд».

Матвей Ганапольский (р. 1953) журналист, теле- и радиоведущий. Лауреат многочисленных журналистских премий: финалист «Тэффи», премии Международной конфедерации журналистских союзов, премии кинофестиваля «Золотой овен», премии «Телегранд».

Ури Гершович (р. 1959) специалист по средневековой еврейской философии. Лектор Еврейского Университета в Иерусалиме и Открытого Университета Израиля.

Михаил Горелик (р. 1946) эссеист, публицист, литературный критик. Автор книги «Разговоры с раввином Адином Штейнзальцем» (2003).

Хаим Граде (1919–1982) один из крупнейших еврейских писателей XX века. Писал на идише. Получил светское и традиционное еврейское образование. Дебютировал как поэт, был членом литературной группы «Юнг Вильне». Автор сборников стихотворений, рассказов и романов «Безмужняя жена», «Цемах Атлас», «Немой миньян».

Валерий Дымшиц (р. 1959) антрополог, этнограф, литературовед, переводчик с идиша, английского и немецкого («Тяжба с ветром» [Антология еврейской литературной сказки]; Ицик Мангер, «Книга рая»). Директор центра «Петербургская иудаика».

Павел Журавель (р. 1974) филолог-гебраист, научный сотрудник архивного отдела Института иудаики (Киев).

Марк Зайчик (р. 1947) прозаик («Сделано в СССР», «Иерусалимские рассказы»). Печатался в журналах «Континент», «22».

Исаак Башевис Зингер (1904–1991) еврейско-американский писатель («Семья Мускат», «Шоша», «Сатана в Горае», «Страсти» и др.), классик литературы XX века. В 1978 году был удостоен Нобелевской премии по литературе.

Илья Карпенко (р. 1961) филолог, литературовед, журналист.

Марина Карпова преподаватель, переводчик, автор учебно-методических пособий по преподаванию еврейской традиции и классических текстов.

Борис Клиш (р. 1970) журналист, обозреватель газеты «Известия». Лауреат премии ФЕОР «Человек года – 2006».

Довид Кнут (Давид Миронович Фиксман) (1900–1955) русско-еврейский поэт («Моих тысячелетий», «Вторая книга стихов», «Парижские ночи», «Насущная любовь» и др.). Один из создателей еврейского движения Сопротивления во Франции. В 1949 году репатрировался.

Аркадий Ковельман (р. 1949) историк, заведующий кафедрой иудаики Института стран Азии и Африки при МГУ. Основные работы: «Риторика в тени пирамид: массовое сознание римского Египта», «Эллинизм и еврейская культура».

Александр Локшин (р. 1950) историк. Автор статей и публикаций по истории и культуре евреев России и СССР.

Афанасий Мамедов (р. 1960) писатель, автор романов «Хазарский ветер» и «Фрау Шрам».

Арье Ольман (р. 1969) гебраист, библеист, переводчик еврейских классических текстов. Сотрудник педагогической ассоциации «Новая еврейская школа», Института Штейнзальца, Центра Чейза по преподаванию иудаики на русском языке.

Нелли Портнова историк, литературовед, доктор философии. Автор-составитель хрестоматии «Быть евреем в России».

Елена Римон литературовед, переводчик, доцент кафедры еврейского наследия в израильском университетском центре «Ариэль», редактор и комментатор.

Ричард Штерн (р. 1928) американский прозаик. Пишет романы, рассказы, пьесы, критические статьи. Лауреат многих литературных премий. Наиболее известные из его книг: романы «Голк» (1960), «Ститч» (1965), «Отцовское напутствие» (1986); сборник рассказов «О зубах, смерти и всем прочем» (1964).

Марина Топаз журналист, тележурналист и телесценарист: автор культурологических сюжетов и программ об искусстве.

Натан (Анатолий) Щаранский (р. 1948) борец за права человека в Советском Союзе и известный диссидент, узник Сиона. После репатриации в Израиль – государственный и общественный деятель, писатель.

Леонид Юниверг (р. 1945) историк, библиограф, издатель, главный редактор и составитель альманаха «Иерусалимский библиофил».